

В. Г. КОРОЛЕНКО

**СИБИРСКИЕ РАССКАЗЫ
И ОЧЕРКИ**



Владимир Галактионович Короленко

Сибирские рассказы и очерки

Соколинец

I

Мой сожитель уехал. Мне приходилось ночевать одному в нашей юрте.

Не работалось; я не зажигал огня и, полулежа на своей постели, незаметно отдавался тяжелым впечатлениям молчания и мрака, пока короткий северный день угасал среди холодного тумана. Последние слабые лучи понемногу уходили сквозь льдины окон из небольшой юрты; густая тьма выползала из углов, заволакивала наклонные стены, которые, казалось, все плотнее сдвигаются над головой. Несколько времени маячили еще в глазах очертания стоявшего в середине юрты громадного камелька. Казалось, неуклюжий пенат якутского жилища простирает навстречу тьме широко раздвинутые руки, точно в молчаливой борьбе... Но вот и эти смутные очертания исчезли... Тьма!.. Только в трех местах тихо мерцали расплывчатые фосфорические пятна; это снаружи сквозь оконные льдины тускло заглядывал в юрту мертвящий якутский мороз.

Минуты, часы безмолвною чередой пробегали над моею головой, и я не спохватился, как незаметно подкрался тот роковой час, когда тоска так властно овладевает сердцем, когда «чужая сторона» враждебно веет на него всем своим мраком и холодом, когда перед встревоженным воображением грозно встают неизмеримою, неодолимою далью все эти горы, леса, бесконечные степи, которые залегли между тобой и всем дорогим, далеким, потерянным, что так неотступно манит к себе и что в этот час как будто совсем исчезает из виду, рея в сумрачной дали слабым угасающим огоньком умирающей надежды... А подавленное, но все же неотвязное горе, спрятанное далеко-далеко в глубине сердца, смело подымет теперь зловещую голову и среди мертвого затишья во мраке так явственно шепчет ужасные роковые слова: «Навсегда... в этом гробу, навсегда!..»

Легкий, ласковый визг, донесшийся до меня с плоской крыши сквозь трубу камелька, вывел меня из тяжелого оцепенения. Это умный друг, верный пес Цербер, продрогший на своем сторожевом посту, спрашивал, что со мною и почему в такой страшный мороз я не зажигаю огня.

Я отряхнулся, почувствовал, что изнемогаю в борьбе с молчанием и мраком, и решился прибегнуть к спасительному средству, которое было тут же под руками. Средство это — бог юрты, могучий огонь.

У якутов по зимам никогда не прекращается топка, и потому у них нет приспособлений для закрывания трубы. Мы кое-как приладили эти приспособления, наша труба закрывалась снаружи, и каждый раз для этого приходилось взбираться на плоскую крышу юрты.

Я взошел на нее по ступенькам, протоптанным в снегу, которым юрта была закидана доверху. Наше жилище стояло на краю слободы, в некотором отдалении... Обыкновенно с нашей крыши можно было видеть всю небольшую равнину, и замыкавшие ее горы, и огни слободских юрт, в которых жили давно обьякутившиеся потомки русских поселенцев и частью ссыльные татары. Но теперь все это потонуло в сером, холодном, непроницаемом для глаз тумане. Туман стоял

неподвижно, выжатый из воздуха сорокаградусным морозом, и все тяжелее налегал на примолкшую землю; всюду взгляд упирался в бесформенную, безжизненную серую массу, и только вверху, прямо над головой, где-то далеко-далеко висела одинокая звезда, пронизывавшая холодную пелену острым лучом.

А вокруг все замерло. Горный берег реки, бедные юрты селения, небольшая церковь, снежная гладь лугов, темная полоса тайги — все погрузилось в безбрежное туманное море. Крыша юрты, с ее грубо сколоченною из глины трубой, на которой я стоял с прижимавшеюся к моим ногам собакой, казалась островом, закинутым среди бесконечного, необозримого океана... Кругом — ни звука... Холодно и жутко... Ночь притаилась, охваченная ужасом — чутким и напряженным.

Цербер тихо и как-то жалобно взвизгивал. Бедному псу, по-видимому, тоже становилось страшно ввиду наступающего царства мертвящего мороза; он прижимался ко мне и, задумчиво вытягивая острую морду, настораживая чуткие уши, внимательно вглядывался в беспросветно серую мглу.

Вдруг он повел ушами и заворчал. Я прислушался. Сначала все было по-прежнему тихо. Потом в этой напряженной тишине выделился звук, другой, третий... В морозном воздухе издали неслись слабый топот далеко по лугам бегущей лошади.

Подумав об одиноком всаднике, которому, судя по слабому топоту, предстояло проехать еще версты три до слободы, я быстро сбегал с крыши по наклонной стенке и кинулся в юрту. Минута в воздухе с открытым лицом грозила отмороженным носом или щекою. Цербер, издав громкий, торопливый лай в направлении конского топота, последовал за мною.

Вскоре в камельке, широко зиявшем открытою пастью в середине юрты, вспыхнул огонек зажженной мною лучины. К этому огоньку я приставил сухих поленьев смолистой лиственницы, и в несколько мгновений мое жильё изменилось до неузнаваемости. Молчаливая юрта наполнилась вдруг говором и треском. Огонь сотней языков перебежал между поленьями, охватывал их, играл с ними, прыгал, рокотал, шипел и трещал. Что-то яркое, живое, торопливое и неугомонно-болтливое ворвалось в юрту, заглядывая во все ее углы и закоулки. По временам трескучее, разыгравшееся пламя стихало. Тогда мне было слышно, как, вылетая в короткую прямую трубу камелька, шипели, трескались в морозном воздухе горячие искры. Но через минуту огонь принимался за свою игру с новой силой, и в юрте раздавались частые взрывы, точно пистолетные выстрелы.

Теперь я уже не чувствовал себя в такой степени одиноким, как прежде. Все, казалось, вокруг меня шевелится, говорит, суется и пляшет. Оконные льдины, в которые за минуту перед тем глядела снаружи морозная ночь, теперь искрились и переливались отблеском пламени, точно самоцветные камни. Я находил особого рода отраду в мысли, что во мгле холодной ночи моя одинокая юрта сверкает светлыми льдинами и сыплет, точно маленький вулкан, целым снопом огненных искр, судорожно трепещущих в воздухе, среди клубов белого дыма.

Цербер уселся против камелька, уставился на огонь и сидит неподвижно, точно белое изваяние; по временам только он поворачивает ко мне голову, и в умных глазах собаки я читаю благодарность и ласку. Тяжелые шаги скрипят по двору у наружной стены, но Цербер остается спокоен, а только снисходительно взвизгивает; он знает, что это наши лошади, стоявшие до сих пор где-нибудь под плетнем, прижав уши и пожимаясь от мороза, вышли на огонь, чтобы стать у стены и смотреть на весело прыгающие искры, на широкую ленту теплого белого дыма.

Но вот собака с неудовольствием отвернулась от меня и заворчала. Через минуту она бросилась к двери. Я выпустил Цербера, и, пока он неистовствовал и заливался на своем обычном сторожевом посту, на крыше, я выглянул из сеней. Очевидно, одинокий путник,

которого приближение я слышал ранее среди чуткого безмолвия морозной ночи, соблазнился моим веселым огнем. Он раздвигал теперь жерди моих ворот, чтобы провести во двор оседланную и навьюченную лошадь.

Я не ждал никого из знакомых. Якут едва ли приехал бы в слободу так поздно, а если б и приехал, то, без сомнения, знал бы, где живут его догоры[1], а не повернул бы на первый огонь. Стало быть, рассуждал я, это может быть только поселенец. В обыкновенное время мы не особенно радовались подобным гостям, но теперь живой человек был очень кстати. Я знал, что скоро веселый огонь станет смолкать, пламя лениво и томно потянется по раскаленному дереву, потом останется только куча углей, и по ним, нашептывая что-то, побегут огненные змейки все тише, все реже... Тогда в юрте настанет опять безмолвие мрака, а в мое сердце опять вольется тоска. Камелек глянет в темноте слабою искоркой из-под пепла, точно из полузакрытого глаза, — глянет раз и другой, и... заснет. А я опять останусь один... один перед долгою, тоскливою, бесконечною ночью.

Мысль о том, что, быть может, мне придется провести ночь с человеком, прошлое которого запятнано кровью, не приходила мне в голову. Сибирь приучает видеть и в убийце человека, и хотя ближайшее знакомство не позволяет, конечно, особенно идеализировать «несчастненького», взламывавшего замки, воровавшего лошадей или проламывавшего темною ночью головы ближних, но все же это знакомство позволяет трезво ориентироваться среди сложных человеческих побуждений. Вы узнаете, когда и чего можно ждать от человека. Убийца не все же только убивает, он еще и живет, и чувствует то же, что чувствуют все остальные люди, в том числе и благодарность к тому, кто его приютил в мороз и непогоду. Но когда мне приходилось приобретать в этой среде новое знакомство и если при этом у нового знакомого оказывалась оседланная лошадь, а в седле болтались вьючные «сумы-переметы», то вопрос о принадлежности лошади внушал некоторые сомнения, а содержимое «переметов» вызывало на размышления о способе его приобретения.

Тяжелая, обитая конской шкурой дверь юрты приподнялась в наклонной стене; со двора хлынула волна пара, и к камельку подошел незнакомый пришелец. Это был мужчина высокого роста, широкоплечий и статный. Уже на первый взгляд можно было отличить, что это не якут, хотя одет он был по-якутски. На ногах у него были надеты торбаса из белой, как снег, конской шкуры. Широчайшие рукава якутской соны подымались складками на плечах выше ушей. Голова и шея были закутаны большою шалью, концы которой завязаны вокруг стана. Вся шаль, вместе с острою верхушкой торчавшей над нею якутской шапки (бергес), была обильно усыпана хлопьями крепкого, плотно смерзшегося инея.

Незнакомец приблизился к камельку и неловко, полузастывшими руками стал развязывать шаль, потом ремешки шапки. Когда он откинул свои трех на плечи, я увидел молодое, раскрасневшееся от мороза лицо мужчины лет тридцати; крупные черты его были отмечены тем особенным выражением, какое нередко приходилось мне замечать на лицах старост арестантских артелей и вообще на лицах людей, привыкших к признанию и авторитету в своей среде, но в то же время вынужденных постоянно держаться настороже с посторонними. Черные выразительные глаза его кидали быстрые, короткие взгляды. Нижняя часть лица несколько выдавалась вперед, обнаруживая пылкость страстной природы, но бродяга (по некоторым характерным, хотя трудно уловимым признакам, я сразу предположил в моем госте бродягу) давно уже привык сдерживать эту пылкость. Только легкое подергивание нижней губы и нервная игра мускулов выдавали по временам беспокойную напряженность внутренней борьбы.

Усталость, морозная ночь, а быть может и тоска, которую испытывал одинокий путник, пробиравшийся среди непроницаемого тумана, — все это несколько смягчило резкие очертания лица, залегло над бровями и в черных глазах выражением страдания, гармонизировавшего с моим настроением в этот вечер, и внушило мне сразу невольную симпатию к незнакомому гостю.

Не раздеваясь дальше, он прислонился к камельку и вынул из кармана трубку.

— Здравствуйте, господин, — сказал он, вытряхивая трубку об уголок и в то же время искоса окидывая меня внимательным взглядом.

— Здравствуйте, — ответил я, продолжая, в свою очередь, пытливо осматривать незнакомую фигуру.

— Вы уж меня, господин, извините, что я так прямо к вам взошел. Мне вот только обогреться маленько да трубочку покурить — я и уеду, потому что у меня тут знакомые, которые меня во всякое время принимают, в двух верстах отсель, на заимке.

В его голосе слышалась сдержанность человека, очевидно не желавшего показаться навязчивым. Говоря это, он кинул на меня несколько коротких внимательных взглядов, как будто выжидая, что я скажу, чтобы сообразно с этим установить дальнейшие отношения. «Как ты со мной, так и я с тобой», — казалось, выражали эти пристальные, холодные взгляды. Во всяком случае, приемы моего гостя составляли приятный контраст с обычною назойливостью якутского поселенца, хоть для меня и было очевидно, что если б он не рассчитывал остаться у меня ночевать, то не стал бы вводить лошадь во двор, а привязал бы ее к городьбе, снаружи.

— Кто вы такой, — спросил я, — как вас зовут?

— Меня-то? Зовут меня Багылай, то есть это, видите ли, по-здешнему, а настояще-то, по-расейски — Василий... Может, слышали? Байагантайского улусу.

— Родом с Урала, бродяга?..

На губах незнакомца чуть-чуть промелькнула улыбка удовольствия.

— Ну, вот, вот! Он самый. Вы, стало быть, обо мне маленько наслышаны?

— Да, слышал от Семена Ивановича. Вы ведь с ним жили по соседству.

— Верно. Семен Иваныч меня довольно знают.

— Ну, рад гостю, милости просим. Оставайтесь у меня ночевать, кстати же я один. Сейчас самовар поставим.

Бродяга охотно принял приглашение.

— Спасибо, господин! Ежели уж вы приглашаете, то я останусь. Надо вот переметы с седла снять, кое-что в избу внести. Оно хоть, скажем, конь-то у меня во дворе привязан, а все же лучше: народ-то у вас в слободе фартовый, особливо татары.

Он вышел и через минуту внес в юрту две переметные сумы. Развязав ремни, он стал вынимать оттуда привезенные с собою припасы: круги мерзлого масла, мороженого молока, несколько десятков яиц и т. д. Кое-что из привезенного он разложил у меня на полках, остальное вынес на мороз, в сени, чтобы не растаяло. Затем он снял шаль, шубу и кафтан и, оставшись в красной кумачной рубахе и шароварах из «бильбирета» (род плиса), уселся против огня на стуле.

— Вот, господин, — поднял он голову и усмехнулся, — стану вам правду говорить: еду этто к вашим воротам, а сам думаю: неужто не пустит меня ночевать? Потому что я довольно хорошо понимаю: есть из нашего брата тоже всякого народу достаточно, которого и пустить никак невозможно. Ну, я не из таких, по совести говорю... Да вы, вот, сказываете, про меня слышали.

— Действительно, слышал.

— Ну, вот! Живу, могу сказать, не похваставшись, честно и благородно. Имею у себя корову, бычка по третьему году, лошадь... Землю пашу, огород.

Бродяга говорил все это странным тоном, как-то раздумчиво глядя в одну точку, а при последних словах даже развел руками, как будто удивляясь: «А что, ведь и вправду все это так и есть в действительности!»

— Да, — продолжал он тем же тоном, — работаю! То есть вполне даже как следует, по божьему приказанию. Что ж, я так понимаю, что это гораздо лучше, нежели воровать или наипаче еще разбойничать. Вот скажем хоть к этому примеру: еду я ночью, увидел огонь и заезжаю к вам... и сейчас вы мне уважение, самоварчик... Я это должен ценить. Так ли я говорю?

— Конечно, — подтвердил я, хотя, в сущности, бродяга обращался больше к себе самому, себя убеждал в преимуществах своей настоящей жизни.

Я действительно знал Василия по слухам от товарищей; это был бродяга-поселенец, уже два года живший в своем домике, среди тайги, над озером, в одном из больших якутских наслегов [2]. В бесшабашной и потерянной среде поселенцев, бедствовавших, воровавших и нередко разбойничавших по наслегам, он был одним из немногих, предпочитавших трудовую жизнь, которая здесь давала легкую возможность подняться. Якуты, вообще говоря, народ очень добродушный, и во многих улусах принято, как обычай, оказывать новоприбывшим поселенцам довольно существенную помощь. Правда, что без этой помощи человеку, закинутому в суровые условия незнакомой страны, пришлось бы или в самом скором времени умереть от голода и холода, или приняться за разбой; правда также, что всего охотнее эта помощь оказывается в виде пособия «на дорогу», посредством которого якутская община старается как можно скорее выпроводить поселенца куда-нибудь на прииск, откуда уже большая часть этих неудобных граждан не возвращается; тем не менее человеку, серьезно принимающемуся за работу, якуты по большей части также помогают стать на ноги. Василий получил от наслегу избу, быка, и на первый год ему засеяли обществом шесть пудов хлеба. Урожай выдался хороший; кроме того, он выгодно нанялся у якутов косить сено, стал слегка торговать табаком, и года в два хозяйство его сложилось. Якуты относились к нему с почтением, поселенцы величали в глаза Василием Ивановичем и только за глаза звали Васькой; попы, выезжая на потребу, охотно заезжали к нему на перепутье и сами сажали его за стол, когда ему случалось приезжать к ним. Водил он также знакомство и с нашей братией, интеллигентными людьми, заброшенными судьбой в эти далекие страны. Казалось бы, всем житье бродяге — оставалось только жениться; тут, конечно, встречалось маленькое затруднение, так как бродяг обыкновенно не венчают, но в той стороне за небольшие деньги, за телку или хорошего жеребенка можно было устроить и это.

И тем не менее, вглядываясь в энергичное лицо молодого бродяги, я все яснее различал в нем какую-то странность. Теперь это лицо нравилось мне уже несколько менее, чем в первую минуту, но все же оно было довольно приятно. Темные глаза глядели по временам задумчиво и умно, все черты выражали энергию; обращение его было свободно, в тоне слышалось удовлетворенное самолюбие гордой натуры. Только по временам нижняя часть лица как-то нервно вздрагивала и блеск глаз потухал. Было видно, что Багылаю стоит некоторого усилия держать этот ровный тон, сквозь который что-то как будто силилось пробиться наружу, что-то горькое, подавляемое только напряжением воли...

Сначала я не мог отдать себе отчета, что именно это было. Теперь я уже знаю: привычный бродяга обманывал себя, уверяя, что он доволен своим спокойным существованием, своим домком, и коровкой, и бычком по третьему году, и оказываемым ему уважением. В глубине души он сознавал, — хотя и подавлял пока это сознание, — что эта серая жизнь, жизнь на

чужбине, постылой и неприветной, не про него. Из глубины души уже подымались в нем призывы тайги, его манила уже от серых будней безвестная, заманчивая и обманчивая даль. Так объяснил я себе эту черту впоследствии, но тогда я видел только, что бродягу, несмотря на кажущееся спокойствие, что-то гложет внутри, что-то прорывается наружу...

Пока я хлопотал с самоваром, Василий сидел против камелька, задумчиво глядя на огонь. Я окликнул его, когда все было готово.

— Спасибо, господин, — сказал он, подымаясь. — Много доволен и на ласковом слове. Ах, господин, господин! — обратился он вдруг ко мне как-то страстно, — поверишь ты: как завидел я твой огонек, сердце во мне взыграло, — право, не лгу! Потому что знаю: у расейского человека этот огонь горит... Ехал это лугами... темень, мороз... Юрта где задымится в сторонке, — конь так и воротит к ней, так и воротит; известно, скотина якутская, лестно ей. Ну, а у меня сердце туда не лежит. Что мне в ней, хоть бы и в юрте? Конечно, согреют, может, и водка нашлась бы. Да нет!.. А твой огонь увидал — вот, думаю, куда заезжать, если примет. Спасибо, что не прогнал. В нашем наслеге, может, когда быть доведется, — милости просим ко мне. Найдем чем угостить, слава те господи! Примем как следует, честно! II

Напившись чаю, Василий опять уселся против огня. Ему нельзя было еще лечь: приходилось выждать, пока остынет его лошадь, чтобы спустить ее к сену. Якутская лошадь не особенно сильна, зато удивительно нетребовательна; якут доставляет на ней масло и другие припасы на дальние прииска или в тайгу к тунгусам, на дальний Учур[3], проходя сотни верст по местам, где нечего и думать о запасах сена. Приехав на ночевку в дикой тайге, он разгребаёт снег, разводит костер, а стреноженных лошадей пускает в тайгу; привычный конь добывает себе из-под снега высохшую прошлогоднюю траву и наутро опять готов для утомительного перехода.

Но при этом у якутской лошади есть одна особенность: ее нельзя кормить тотчас после поездки, и перед отправлением в путь сытую лошадь тоже выдерживают без пищи иногда в течение суток и даже больше.

Василию нужно было выждать часа три. Я тоже не ложился, и мы сидели оба, изредка перекидываясь словами. Василий, или, как он уже привык называть себя, Багылай, то и дело подкладывал в огонь по одному полену. Это в нем сказывалась местная привычка, приобретенная в течение длинных вечеров якутской зимы.

— Далеко! — сказал он вдруг после долгого молчания, как будто отвечая собственной мысли.

— Что это? — спросил я.

— Наша-то сторона, Расея... Здесь вот все не по-нашему, что ни возьми. Взять хоть скотину, лошадь, к примеру: у нас лошади, ежели приехал на ней, первым делом требуется пища, а эту вот накорми горячую — подохнет. Как тепло станет, сейчас у ней в сердце сделается льдина, и кончено! Тоже и народ взять: живут по лесу, конину жрут, сырое мясо едят, падаль, прости господи, и ту трескают... тьфу! Стыда у здешнего народа нисколько нету: вынь в юрте у них кисет с табаком, и сейчас, сколько ни есть тут народу, всякий к тебе руку тянет: давай!

— Что ж, это у них обычай, — возразил я. — Зато и сами они дают. Ведь вот помогли же вам завести хозяйство.

— Помогли, правда.

— Довольны вы своею жизнью? — спросил я, вглядываясь в лицо бродяги.

Он как-то загадочно улыбнулся.

— Да, жизнь... — сказал он, помолчав и подбрасывая в огонь новое полено.

Пламя осветило его лицо: глаза глядели тускло.

— Эх, господин, ежели рассказать вам!.. Не видал я в жизни своей хорошего и теперь не вижу. Только и видел хорошего до восемнадцати лет. Ладненько тогда жил, пока родителей слушал. Перестал слушаться — и жизнь моя кончилась. С самых тех пор, я так считаю, что и на свете не живу вовсе. Так... бьюсь только понапрасну.

По красному лицу бродяги пробегают тени, и нижняя губа нервно вздрагивает, как у ребенка, точно он на это время опять возвратился к тому возрасту, когда «слушался родителей», точно вновь стал ребенком, только этот ребенок готов теперь расплакаться над собственной разбитою жизнью!

Заметив, что я пытливо гляжу на него, бродяга спохватился и тряхнул головой.

— Ну, да что тут... Не хотите ли лучше послушать, как мы с Соколиного острова бежали?

Я, конечно, согласился и всю ночь до рассвета прослушал рассказы бродяги. III

В летнюю ночь 187* года пароход «Нижний Новгород» плыл по водам Японского моря, оставляя за собой в синем воздухе длинный хвост черного дыма. Горный берег Приморской области уже синел слева в серебристо-сизом тумане; справа в бесконечную даль уходили волны Лаперузова пролива. Пароход держал курс на Сахалин, но скалистых берегов дикого острова еще не было видно.

На пароходе все было спокойно и тихо. На рубке виднелись освещенные луной фигуры лоцманов и дежурных офицеров. Огни из люков трепетали, отражаясь на темной поверхности океана.

«Нижний Новгород» шел с «грузом арестантов», назначенных на Сахалин. Морские уставы вообще очень строги, а на корабле с подобным грузом они еще строже. Днем арестанты посменно гуляли по палубе, оцепленные крепким караулом. Остальное время они проводили в своих помещениях под палубой.

Обширная камера под низко нависшим потолком... Свет проникает днем сквозь небольшие люки, которые выделяются на темном фоне, точно два ряда светлых пуговиц, все меньше и меньше, теряясь на закругленных боках пароходного корпуса. В середине трюма оставлен проход вроде коридора; чугунные столбы и железная решетка отделяют этот коридор от помещения с нарами для арестантов. В проходе, опершись на ружья, стоят конвойные часовые. По вечерам тут же печально вытянутою линией тускло горят фонари.

Вся жизнь серых пассажиров парохода проходит на виду, за этою решеткой. Стоит ли над морем яркое тропическое солнце, свистит ли ветер, скрипят и гнутся снасти, ударит ли волной непогода, разыграется ли грозная буря и пароход весь застонет под ударами шторма, — здесь, все так же взаперти, прислушиваются к завыванию ветра сотни людей, которым нет дела до того, что происходит там, наверху, и куда несется их плавучая тюрьма.

Арестантов гораздо больше на пароходе, чем конвоя, но зато каждый шаг, каждое движение серой толпы введены твердою рукой в заранее намеченную железную колею, и экипаж обеспечен против всякой возможности бунта.

Впрочем, здесь принято во внимание все, даже и невероятное: если бы в толпе прорвался ожесточенный разъярившийся зверь и она в отчаянии стала бы кидаться на явную опасность, если бы выстрелы сквозь решетку не оказали действия и зверь грозил бы сломать свою

железную клетку, — тогда в руках командира оставалось бы еще одно могучее средство. Ему стоило только крикнуть в машинное отделение несколько слов:

«Рычаг такой-то... отдать!»

«Есть!» — и вслед за этим ответом в арестантское помещение были бы пущены из машины струи горячего пара, точно в щель с тараканами. Это страшное средство предотвращало всякую возможность общего бесчинства со стороны серого населения пароходного трюма.

Тем не менее и под давлением строгого режима это серое население жило за железными решетками свою обычную жизнь. И в ту самую ночь, когда пароход шлепал колесами по спокойному морю, дробясь в мрачной зыбучей глубине своими огнями, когда часовые, опершись на ружья, дремали в проходах трюма и фонари, слегка вздрагивая от ударов никогда не засыпавшей машины, разливали свой тусклый, задумчивый свет в железном коридоре и за решетками... когда на нарах рядами лежали серые неподвижные фигуры спавших арестантов, — там, за этими решетками, совершалась безмолвная драма. Серое кандалное общество казнило своих отступников.

На следующее утро, во время переклички, три арестанта не поднялись с своих мест. Они остались лежать на нарах, несмотря на грозные оклики начальства. Когда вошли за решетку и приподняли халаты, которыми они были прикрыты, то начальство убедилось, что эти трое никогда уже не поднимутся на перекличку.

Во всякой арестантской артели все важнейшие дела вершатся более влиятельным и сплоченным ядром. Для массы, по-арестантски «шпанки», серой, безличной толпы, подобные события нередко бывают совершенною неожиданностью. Пораженное мрачною ночью трагедией, население пароходного трюма вначале примолкло; под низким потолком стояла пугливая тишина. Только плеск моря доносился снаружи, бежали с рокотом вдоль ватерлинии разбиваемые грудью парохода волны, да тяжелое пыхтение машины глухо отдавалось вместе с мерными ударами поршней.

Но скоро начались среди арестантов разговоры и толки о последствиях «происшествия». Начальство, очевидно, не намерено было замять неприятное дело, приписав смерть случайности или скоропостижным болезням. Признаки насилия были очевидны; пошли допросы. Арестанты отвечали единодушно; быть может, в другое время начальству и нетрудно было бы найти несколько человек, которых страхом или обещанием выгоды можно бы склонить к доносу, но теперь, кроме чувства «товарищества», языки были скованы ужасом. Как ни страшно начальство, как ни грозны его окрики, — «артель» еще страшнее: в эту ночь, там, на нарах, на виду у часовых, она показала свое ужасное могущество. Без сомнения, многие в ту ночь не спали; не одно ухо чутко ловило заглушенные звуки борьбы «под крышкой»[4], хрипение и вздохи, не совсем похожие на вздохи спящих, но никто ни одним словом не выдал исполнителей страшного приговора. Начальству не осталось ничего более, как приняться за официальных ответчиков: старосту и его помощника. В тот же день их обоих заковали в кандалы.

Помощником был Василий, носивший тогда другое имя.

Прошло еще дня два, и дело было обсуждено арестантами с полной обстоятельностью. На первый взгляд казалось, что концы спрятаны, виновных открыть невозможно и закованным представителям артели грозила лишь легкая дисциплинарная ответственность. На все вопросы у них был прямой и резонный ответ: «Спали!»

Однако при более тщательном рассмотрении дело стало возбуждать некоторые сомнения. Сомнения эти относились именно к Василию. Правда, в подобных случаях артель действует всегда таким образом, чтобы неприкосновенность к делу первых «ответчиков» кидалась по возможности в глаза, и в этом случае Василий мог легко доказать, что он не принимал в

ночной трагедии прямого участия. Тем не менее, обсуждая положение помощника старосты, опытные арестанты, прошедшие и огонь, и медные трубы, покачивали головами.

«Слышь, парень, — подошел раз к Василию старый, бывалый в переделках бродяга, — как приедем на Соколиный остров, запасай ноги. Дело, братец, твое неприятно. Совсем табак твое дело!»

«А что?»

«Да вот то же!.. Ты в первый раз осужден или вторично?»

«Вторично».

«То-то. А помнишь, покойный Федька на кого доносил? Все на тебя же. Ведь из-за него ты ходил неделю в наручниках, так ли?»

«Было дело».

«Ну, а что ты ему тогда сказал? Солдаты-то ведь слышали! Ты как об этом думаешь? Ведь это есть угроза!»

Василий и другие слушатели поняли, что тут было от чего почесаться.

«Ну вот! Сообрази-ка ты все это, да и готовься к расстрелу!»

В партии поднялся ропот.

«Не болтай, Буран», — заговорили арестанты с неудовольствием.

«Хлопает старик зря».

«От старости, видно, из ума выжил. Шутка ли чего сказал: к расстрелу!»

«Не выжил я из ума, — сердито заговорил старик и плюнул с досады. — Много вы, шпанье[5], понимаете! Вы судите по-расейски, а я по-здешнему. Я здешние-то порядки знаю... Верно тебе говорю, Василий: пошлют дело к амурскому генералу-губернатору, — готовься к расстрелу. А ежели за великую милость на кобылу[6] велят ложиться, так это еще хуже: с кобылы-то уж не встанешь. Потому что ты понимай: это, братец, корाप! На корабле закон против сухопутья вдвое строже. Ну, а впрочем, — глухо добавил старик, запыхавшийся от этой длинной речи, — мне все одно, хоть пропадите вы все пропадом...»

Потухшие глаза старого, разбитого незадачливою жизнью бродяги давно уже глядели на мир тускло и с угрюмым равнодушием. Он махнул рукой и отошел к сторонке.

Среди арестантских партий встречается немало юристов, и если такая партия во всем составе по тщательном обсуждении данного дела постановит свой предполагаемый приговор, то он почти всегда в точности совпадает с действительным. В данном случае все такие юристы согласились с мнением Бурана, и с этих пор было решено, что Василий должен бежать. Так как он мог пострадать из-за «артельного дела», то артель считала себя обязанной оказать ему помощь. Запас сухарей и галет, образовавшийся из «экономии», поступил в его распоряжение, и Василий стал «сбивать партию» желающих участвовать в побеге.

Старый Буран бегал уже с Сахалина, и потому первый выбор пал на него. Старик долго не раздумывал.

«Мне, — ответил он, — на роду уж написано в тайге помирать. Да оно, пожалуй, в тайге-то

бродяге и лучше. Одно вот только: годы мои не те, поизносился».

Старый бродяга заморгал тусклыми глазами.

«Ну, ин сбивай артель. Вдвоем али втроем нечего и идти — дорога трудная. Наберется человек десять — и ладно. А уж я пойду, поколе ноги-то носят. Хоть помереть бы мне в другом месте, а не на этом острове».

Буран заморгал еще сильнее, и по сморщенному, обветрелому лицу покатались старческие слезы.

«Ослаб старый бродяга», — подумал Василий и пошел «сбивать артель», подыскивать других товарищей. IV

Обогнув высокий мыс, пароход вошел в залив. Арестанты толпились у люков и с тревожным любопытством смотрели на горные высокие берега острова, все выроставшие среди сумрака приближавшегося вечера.

Темною ночью подошел пароход к порту. Очертания берега надвинулись и встали черною громадой. Пароход остановился, команда выстроилась; стали выводить арестантов.

На берегу в темноте виднелись кое-где огни; море плескалось в берег, на небе висели тучи, а на сердце у всех такая же темная, такая же мрачная нависла тоска.

«Порт это, — тихо говорил Буран, — Дуя[7] называемый. Тут на первое время в казармах жить придется».

После проверки в присутствии местного начальства вывели партию на берег. Проведя несколько месяцев на море, арестанты впервые чувствовали под ногами твердую почву. Пароход, на котором они прожили столько времени, покачивался в темноте и вздыхал среди ночи клубами белого пара.

Впереди задвигались огни. Послышались голоса:

«Партия, что ли?»

«Партия».

«Ступай сюда, в седьмую казарму!»

Арестанты двинулись на огонь. Шли вразброд, в беспорядке, и всех поражало то обстоятельство, что сбоку никто не толкает их прикладами.

«Братцы, — слышались удивленные голоса, — никак, караулу-то с нами нету?»

«Молчи! — угрюмо проворчал в ответ на это Буран. — Зачем тебе здесь караул? Небось и без караулу не убежишь. Остров этот большой да дикой. В любом месте с голоду поколеешь. А кругом острова море. Не слышишь, что ли?»

Действительно, среди влажной ночи подымался ветер; огни фонарей неровно мерцали под его порывами, и глухой гул моря доносился с берега, точно рев просыпающегося зверя.

«Слышь, как ревет? — обратился Буран к Василию. — Вот оно: кругом-то вода, посередке беда... Беспременно море переплывать надо, да еще до переправы островом сколько идти придется... Гольцы, да тайга, да кордоны!.. На сердце у меня что-то плохо; нехорошо море-то говорит, неблагоприятно. Не избыть мне, видно, Соколиного острова, не избыть будет — стар! Два раза бегал; раз в Благовещенске, другой-то раз в Расее поймали, — опять сюда...

Видно, судьба мне на острове помереть».

«Авось не помрешь!» — ободрил старика Василий.

«Молод ты, а я уж износился. Эх, море-то, море-то как жалостно да сердито взыграло!»

Из казармы № 7 вывели всех живших в ней каторжных и отвели ее новоприбывшим, приставив на первое время караул. Привыкши к тюремной неволе и крепким запорам, они непременно разбились бы по острову, как овцы, выпущенные из овчарни. Других, живших здесь подольше, не запирали: пооглядевшись и ознакомившись с условиями, ссыльные убеждаются, что побег на острове — дело крайне рискованное, почти верная смерть, и потому на это дело отваживаются только исключительные удалыцы, да и то после тщательных сборов. А таких, все равно запирай не запирай — убегут, если не из тюрьмы, то с работы.

«Ну, Буран, советуй теперь, — приставал к Бурану Василий дня через три по приезде на остров, — ты ведь у нас старший будешь, тебе впереди идти, тебе и порядки давать. Чай, ведь запас нужно делать».

«Чего советовать-то, — ответил старик вяло. — Трудно... годы мои не те. Вот видишь ты: пройдет еще дня три, караулы снимут, станут партиями в разные места на работы выводить, да и так из казармы выходить дозволяется. Ну, только с мешком из казармы не выпускают. Вот тут и думай».

«Ты придумай, Буранушка, — тебе лучше знать».

Но Буран ходил осунувшийся, угрюмый и опустившийся. Он ни с кем не говорил и только что-то бормотал про себя. С каждым днем, казалось, старый бродяга, очутившийся в третий раз на старом месте, «ослабевал» все больше и больше. Между тем Василий успел подобрать еще десять охотников, молодец к молодцу, и все приставал к Бурану, стараясь расшевелить его и вызвать к деятельности. Порой это удавалось, но даже и тогда старик всегда сводил речь на трудность пути и дурные предзнаменования.

«Не избыть острова!» Это была постоянная фраза, в которой вылилась безнадежная уверенность неудачника-бродяги. Тем не менее в светлые минуты он оживлялся воспоминаниями о прежних попытках, и тогда, в особенности по вечерам, лежа на нарах рядом с Васильем, он рассказывал ему об острове и о пути, по которому придется идти беглецам.

Порт Дуэ расположен на западной стороне острова, обращенной к азиатскому берегу. Татарский пролив в этом месте имеет около трехсот верст в ширину; переплыть его в небольшой лодочке, понятно, нечего и думать, и потому беглецы поневоле направляются в ту или другую сторону по острову. Побег, собственно на острове, не труден. «Куда хошь ступай, — говорил Буран, — коли помирать хочется: остров большой, весь в гольцах да в тайге. Гиляк-инородец на что привычный человек, и тот не во всяком месте держится. На восток ежели пойдешь — заплутаешься в камнях: либо пропадешь, расклюет тебя голодная птица, либо сам к зиме опять сюда явишься. На полдень пойдешь — дойдешь до конца острова, а там море-окиян: на корабле разве переплыть. Одна нам дорога — на север, все берегом держаться. Море-то само дорогу укажет. Верст триста пройдем, будет пролив, узкое место; тут нам и переправу держать на амурскую сторону на лодках».

«Ну только что скажу тебе, парень, — начинал Буран обычный унылый припев, — и тут трудно, потому что мимо кордонов идти придется, а в кордонах солдаты. Первый кордон Варки называется, предпоследний Панги, последний самый — Погиба. А почему Погиба? — больше всех тут нашему брату погибель. И хитро же у них кордоны поставлены: где этак узгорочек круто заворачивает, тут и кордон выстроен. Идешь, идешь да прямо на кордон и

наткнешься. Не дай господи!»

«Ну, да ведь уж два раза ходил, чай, знаешь?»

«Ходил, парень, ходил... — и потухшие глаза старика опять вспыхнули. — Ну, слушай меня, да делайте, как я велю. Станут скоро на мельницу на постройку людей выкликать, вы все в то число становитесь; станут туда провизию запасать, и вы свои сухари да галеты в телегу складывайте. На мельнице-то Петруха сидит, из каторжных. От него вам и будет ход, с мельницы то есть. Три дня здесь вас не спохватятся, такой здесь порядок: три дня можно на перекличку не являться — ничего. Доктор от наказания избавляет, потому что, говорит, больница плохая; иной это притомится на работе, занеможет: чем ему в больницу идти, лучше он в кусты уйдет да там как-нибудь на воздухе-то и отлежится. Ну, а уж если на четвертый день не явился, то прямо считают в бегах. И сам после явишься, все равно: приходи да прямо на кобылу и ложись».

«Зачем на кобылу? — сказал Василий. — Даст бог уйдем, так уж охотой не вернемся».

«А не вернешься, — глухо заворчал Буран, и глаза его опять потухли, — не вернешься, так все равно воронье тебя расклюет в пади где-нибудь, на кордоне. Кордону-то небось с нашим братом возиться некогда; ему тебя не представлять обратно, за сотни-то верст. Где увидел, тут уложил с ружья — и делу конец».

«Не каркай, старая ворона!.. Завтра, смотри, идем мы. Ты Боброву сказывай, чего надо, — артель отпустит».

Старик проворчал что-то в ответ и отошел, понутив голову, а Василий пошел к товарищам сказать, чтобы готовились. От должности помощника старосты он отказался ранее, и на его место уже выбрали другого. Беглецы уложили котомочки, выменяли лучшую одежду и обувь, и на следующий день, когда действительно стали снаряжать рабочих на мельницу, они стали в число выкликаемых. В тот же день с постройки все они ушли в кусты. Не было только Бурана.

Отряд подобрался удачно. С Васильем пошел его приятель, который «по бродяжеству» носил кличку Володьки, Макаров, силач и хват, бегавший два раза с Кары, два черкеса, народ решительный и незаменимый в отношении товарищеской верности, один татарин, плут и проныра, но зато изобретательный и в высшей степени ловкий. Остальные были тоже бродяги, искусившиеся в путешествиях по Сибири.

Артель просидела в кустах уже день, переночевала, и другой день клонился к вечеру, а Бурана все не было. Послали татарина в казарму; пробравшись туда тихонько, он вызвал старого арестанта Боброва, приятеля Василья, имевшего в среде арестантов вес и влияние. На следующее утро Бобров пришел в кусты к беглецам.

«Что, братцы, как бы мне вам какую помощь сделать?»

«Посылай непременно Бурана. Без него нам не ход. Да если чего просить станет из запаса — дайте. За Бураном у нас только и дело-то стало».

Вернулся Бобров в казарму, а Буран и не думает собираться. Суется по камере, сам с собою разговаривает да размахивает руками.

«Ты что же это. Буран, думаешь?» — окликнул его Бобров.

«А тебе что?»

«Как что? Почему не собрался?»

«В могилу мне собираться, вот куда!»

Бобров рассердился.

«Да ты что в самом деле! Ведь ребята четвертые сутки в кустах. Ведь им теперь на кобылу ложиться... А еще старый бродяга!»

Заплакал от покровов старик.

«Отошло мое время... Не избыть мне острова... Износился!..»

«Износился ты аль нет, это дело твое. Не дойдешь, помрешь в дороге, — за это никто не завинит; а ежели ты подвел одиннадцать человек под плети, то обязан идти. Ведь мне стоит артели сказать, что тогда над тобой сделают?»

«Знаю, — сказал Буран сумрачно, — сделают крышку, потому что стою... Нечестно старому бродяге помирать такую смертью. Ну, ин видно, идти мне доводится. Только вот ничего-то у меня не припасено».

«Все живую рукою будет. Что надо?»

«А вот что: первым делом неси мне двенадцать хороших халатов, новых».

«Да ведь у ребят свои есть».

«Ты слушай меня, что я говорю, — заговорил Буран с сердцем, — знаю, что есть у них по халату, а надо по два. Гилякам за лодку с человека по халату придется. Да еще надо мне двенадцать ножей хороших, по три четверти, да два топора, да три котла».

Бобров собрал артель и объяснил, в чем дело. У кого были лишние халаты, все поступились в пользу беглецов. У всякого арестанта живуче какое-то инстинктивное сочувствие смелой попытке вырваться из глухих стен на вольную волю. Котлы и ножи нашлись частью даром, частью за деньги у старожилов-ссылных. Все было готово дня в два.

Со времени прибытия партии на остров прошло тринадцать дней.

На следующее утро Бобров доставил Бурана в кусты вместе с запасом. Беглецы «стали на молитву», отслужили нечто вроде молебна на этот случай по особому арестантскому уставу, попрощались с Бобровым и двинулись в дорогу. V

— Что же, небось весело было в путь отправляться? — спросил я, вслушиваясь в окрепший голос рассказчика, вглядываясь в его оживившиеся в этом месте рассказа черты.

— Да как же не весело! Как изошли из кустов да тайга-матушка над нами зашумела, — верите, точно на свет вновь народились. Таково всем радостно стало. Один только Буран идет себе впереди, голову повесил, что-то про себя бормочет. Невесело вышел старик. Чужало, видно, Бураново сердце, что не далеко уйти ему.

Видим мы с первого разу, что командер у нас не очень надежный. Он хоть бродяга опытный и даже с Соколиного острова два раза бегал, да и дорогу, видно, знает: идет, знай, покачивается, по сторонам не глядит, ровно собака по следу, — ну, а все же нас с Володькой, с приятелем, сомнение берет.

«Гляди-ко, — говорит мне Володька, — с Бураном как бы на беду не напороться. Видишь: он не в себе что-то».

«А что?» — говорю.

«А то, что старик как будто не в полном рассудке. Сам с собой разговаривает, голова у него мотается, да и распоряжений от него никаких не видится. Нам бы давно уж хоть маленький привал сделать, а он, видишь, прет себе да прет. Неладно, право!»

Вижу и я, что неладно. Подошли мы к Бурану, окликнули:

«Дядя, мол, а дядя! Что больно разошелся? Не пора ли привал сделать, прилечь, отдохнуть?»

Повернулся он к нам, посмотрел да опять вперед пошел.

«Погодите, говорит, зачем торопитесь ложиться? Вон в Варках либо в Погибе уложат пулями — належитесь еще».

«Ах, чтоб те пусто было!» Ну все же спорить не стали, потому что он старый бродяга. И притом сами видим, что не дело и мы затеяли: в первый-то день побольше уйти надо — тут не до отдыха.

Прошли еще сколько-то. Володька опять меня толкает:

«Слышь, Василий, дело-то все же неладно!»

«Что такое опять?»

«До Варков-то, сказывали, двадцать верст; ну, уж мы восемнадцать-то верных прошли. Как бы на кордон не напороться».

«Буран, а Буран!.. Дядя!» — кричим опять.

«Что вам?»

«Варки, чай, близко».

«Далеко еще», — отвечает и опять пошел.

Была бы тут беда, да, на счастье, увидели мы — на речке челнок зачален стоит. Как увидели мы этот челнок, так все и остановились. Бурана Макар силой удержал. Уж ежели, думаем себе, челнок стоит, значит, и житель близко. Стой, ребята, в кусты!

Вот вошли мы в тайгу, а на ту пору шли мы падью по речке; по одну сторону горы и по другую тоже горы, лиственню поросли густо. С весны с самой по Соколиному острову туманы теплые ходят, и в тот день с утра тоже туман был. А как взобрались мы на гору да прошли малое место верхами, — дохнул из пади ветер, туман, как нарочно, в море и угнало. Смотрим мы: внизу за горкой кордон, как на ладонке, солдаты по двору ходят, собаки лежат, дремлют. Все мы тут ахнули: ведь без малого волку в пасть свою охотой не полезли.

«Как же, говорим, дядя Буран. Ведь это кордон».

«Кордон, — отвечает Буран. — Самые это Варки».

«Ну, — говорим мы ему, — уж ты, дядя, не прогневайся: хоть ты и старше нас всех, однако, видно, нам самим о себе промышлять надо. С тобой как раз беды наживешь».

Заплакал старик.

«Братцы! — говорит, — стар я, простите ради Христа. Сорок лет хожу, весь исходился, видно, память временами отшибать стало: кое помню, а кое вовсе забыл. Не взыщите! Надо теперь поскорей уходить отсюда: не дай бог, за ягодой кто к кордону пойдет или ветер бродяжьем

духом на собаку пахнет — беда будет».

Пошли мы дальше. Дорогой поговорили меж собой и все так порешили, чтобы за Бураном смотреть. Меня ребята выбрали вожатым; мне, значит, привалами распоряжаться, порядки давать; ну, а Бурану все же впереди идти, потому что он с дороги-то не сбивается. Ноги у бродяги привычные: весь изомрет, а ноги-то все живы, — идет себе, с ноги на ногу переваливается. Так ведь до самой смерти все старик шел.

Шли мы больше горами; оно хоть труднее, да зато безопаснее: на горах-то только тайга шумит да ручьи бегут, по камню играют. Житель, гиляк, в долинах живет, у рек да у моря, потому что питается рыбой, которая рыба в реки ихние с моря заходит, кыта называемая. И столь этой рыбы много, так это даже удивлению подобно. Кто не видал, поверить трудно: сами мы эту рыбу руками добывали.

Так все и идем, нос-то по ветру держим. Где этак безопаснее, к морю аль к речке спустимся, а чуть малость сомневаться станем, сейчас опять на верхи. Кордоны-то обходим со всякою осторожностью, а кордоны-то стоят разно: где двадцать верст расстояние, а где и все пятьдесят. Угадать никак невозможно. Ну, все же как-то нас бог миловал, обходили все кордоны благополучно, вплоть до последнего... VI

Рассказчик нахмурился и замолчал. Спустя некоторое время он поднялся с места.

— Что же дальше? — спросил я.

— Лошадь вот... Чай, уж просохла. Пора, пожалуй, спустить с привязи.

Мы оба вышли на двор. Мороз сдавал, туман рассеялся. Бродяга посмотрел на небо.

— Стожары-то высоко поднялись, — сказал он. — За полночь зашло.

Теперь юрты соседней слободы виднелись ясно, так как туман не мешал. Слобода спала. Белые полосы дыма тихо и сонно клубились в воздухе; по временам только из какой-нибудь трубы вдруг вырывались снопы искр, неистово прыгая на морозе. Якуты топят всю ночь без перерыва: в короткую незакрытую трубу тепло вытягивает быстро, и потому первый, кто проснется от наступившего в юрте холода, подкладывает свежих поленьев.

Бродяга постоял некоторое время в молчании, глядя на слободу. Затем он вздохнул.

— Вот и ровно бы село наше, право! Давно уж я села не видал. Якуты по наслегам живут, как звери в лесу, все в одиночку... Эх, хоть бы сюда мне перебраться, что ли. Может, и выжил бы здесь.

— Ну, а в наслеге разве не выживете? Ведь у вас хозяйство. Вот вы говорили, что довольны своим положением.

Бродяга ответил не сразу.

— Мочи моей нету, вот что! Не глядели бы глаза на здешнюю сторону.

Он подошел к коню, пощупал у него под гривой, потрепал по шее. Умный конек повернул к нему голову и заржал.

— Ну, ладно, ладно! — сказал Василий ласково. — Спущу сейчас. Смотри, Серко, завтра не выдай!.. В бега его завтра пушу с татарами. Конек хороший, набегал я его — теперь с любым скакуном потягается. Ветер!

Он снял недоуздок, и конь весело рысцой побежал к сену. Мы вернулись в избу.

Лицо Василья сохраняло пасмурное выражение. Он как будто забыл или не хотел продолжать свой рассказ. Я напомнил ему, что жду продолжения.

— Да что рассказывать-то, — сказал он угрюмо, — не знаю, право... Нехорошо у нас вышло. Ну, да уж начал, так надо кончать...

...Шли мы уже двенадцать ден и все еще с Соколиного острова не вышли, а по-настоящему надо бы на восьмой день уже на амурскую сторону перебраться. И все потому, что опасаемся, на командера своего надежды не имеем. Где бы ровным местом идти, берегом, а мы по верхам рыщем, по оврагам, по гольцам, да тайгой, да по бурелому... Много ли тут уйдешь? Вот и стала у нас провизия кончатся, потому что всего на двенадцать ден и запасали. Стали мы поначалу порции уменьшать; сухарей понемногу отпускали, и промышляй всяк для своей утробы как знаешь: ягоды-то по тайге много. И пришли мы таким родом к заливчику, лиман называемый. Вода в том заливчике соленая, а как припрет ину пору с Амуру, то и пресная бывает. Вот хорошо: надо в этом месте лодки добывать, на амурскую сторону переправу иметь.

Стали мы тут думать-гадать: где нам взять лодки? Приступили к Бурану: советуй! А Буран-старик притомился у нас вовсе: глаза потускли, осунулся весь и никакого совету не знает. «У гиляков, говорит, лодки добывать надо», а где они, гиляки эти, и каким, например, способом лодки у них получить, этого не объясняет.

Вот и говорим мы с Володькой ребятам: «Погодите-ка вы здесь, а уж мы по берегу пойдем, может, на гиляков наткнемся: как-нибудь лодку ли, две ли промыслим. А вы тут, ребята, смотрите, ходите с опаской, потому что кордон, надо быть, поблизости находится».

Остались ребята, а мы втроем пошли по берегу. Шли-шли, вышли на утесик, глядим, а внизу, над речкой, гиляк стоит, снасть чинит. Бог нам его, Оркуна этого, послал.

— Это что же Оркун, имя, что ли? — спросил я рассказчика.

— Кто его знает? Может, и имя, а вернее, что старосту это по-ихнему обозначает. Нам неизвестно, а только как подошли мы к нему потихоньку (не сбежал бы, думаем), окружили его, он и стал тыкать себя пальцем в грудь: Оркун, говорит, Оркун; а что такое Оркун — мы не понимаем. Однако стали с ним разговаривать. Володька взял в руки палочку и начертил на земле лодку; значит: вот нам от тебя какой предмет требуется! Гиляк сообразил сразу; замотал головой и начинает нам пальцы казать: то два покажет, то пять, то все десять. Не могли мы долго в толк взять, что такое он показывает, а потом Макаров догадался:

«Братцы, говорит, да ведь это ему надо знать, сколько нас, какую лодку готовить».

«Верно!» — говорим и показываем гиляку, что, мол, двенадцать нас всех человек. Замотал готовой, — понял.

Потом велит себя к остальным товарищам вести. Взяло нас тут маленько раздумье, да что станешь делать? Пешком по морю не пойдешь! Привели. Возроптали на нас товарищи: «Это вы, мол, зачем гиляка сюда-то притащили? Казать ему нас, что ли?..» — «Молчите, говорим, мы с ним дело делаем». А гиляк ничего, ходит меж нас, ничего не опасается; знай себе халаты пощупывает.

Отдали мы ему запасные халаты, он их ремнем перевязал, вскинул на плечи и пошел себе вниз. Мы, конечно, за ним. А внизу-то, смотрим, юртенки гиляцкие стоят, вроде как бы деревушка.

«Что ж теперь? — сумлеваются ребята. — Ведь он в деревню пошел, народ сгонять станет!..»

«Ну, так что ж, — говорим мы им. — Их всего-то четыре юрты — мною ли тут народу наберется? А ведь нас двенадцать человек, ножи у нас по три четверти аршина, хорошие. Да и где же гиляку с русским человеком силой равняться? Русский человек — хлебной, а он рыбу одну жрет. С рыбы-то много ли он силы наест? Куда им!»

Ну все-таки надо правду говорить, маленько и у меня по сердцу скребнуло: не было бы какого худа. Вот, мол, и край Соколиного острова стоим, а приведет ли бог на амурской-то стороне побывать? А амурская-то сторона за проливом край неба горами синее. Так бы, кажись, птицей снялся да полетел. Да, вишь, локоть и близок, а укусить — не укусишь!..

Вот хорошо. Подождали мы маленько, смотрим, идут к нам гиляки гурьбой. Оркун впереди, и в руках у них копыя. «Вот видите, — ребята говорят, — гиляки биться идут!» — Ну, мол, что будет... Готовь, ребята, ножи. Смотрите: живьем никому не сдаваться, и живого им в руки никого не давать. Кого убьют, делать нечего — значит, судьба! А в ком дух остался, за того стоять. Либо всем уйти, либо всем живым не быть. Стой, говорю, ребята, крепче!

Однако на гиляков мы это подумали напрасно. Увидел Оркун, что мы сумлеваемся, обобрал у своих копыя, одному на руки сдал, а с остальными к нам идет без оружия. Тут уж и мы увидели, конечно, что у гиляков дело на чести, и пошли с ними к тому месту, где у них лодки были спрятаны. Выволокли они нам две лодки: одна побольше, другая поменьше. В большую-то Оркун приказывает восьмерым садиться, в маленькую — остальным.

Вот мы, значит, и с лодками стали, а только переправляться-то сразу нельзя. Повееял с амурской стороны ветер, волна по проливу пошла крупная, прибой так в берег и хлещет. Никак нам в этих лодочках по этой погоде переехать невозможно.

И пришлось нам из-за ветру прожить на берегу еще два дня. Припасы-то между тем все прикончились, ягодой только брюхо набиваем, да еще Оркун, спасибо ему, четыре юколы дал — рыба у них такая. Так вот юколой этой еще сколько-нибудь питались. Честных правил, отличный гиляк был, дай ему, господи! И по сю пору о нем вспоминаю.

День прошел, все мы на берегу томимся. И до чего досадно было, так и сказать невозможно. Ночь переночевали, на другой день — все ветер. Тоска донимает, просто терпеть нельзя. А амурская-то сторона из-под ветру-то еще явственнее выступает, потому что туман с моря согнало. Буран наш как сел на утесике, глазами на тот берег уставился, так и сидит. Не говорит ничего и ягод не собирает; сжалится кто над стариком, принесет ему ягоды в шапке — ну он поест, а сам ни с места. Загорелось у старика бродяжье сердце. А может, и то: смерть свою увидал... Бывает!..

Наконец всем уже невтерпеж стало, и стали ребята говорить: ночью как-никак едем! Днем невозможно, потому что кордонные могут увидеть, ну, а ночью-то от людей безопасно, а бог авось помилует, не потопит. А ветер-то все гуляет по проливу, волна так и ходит; белые зайцы по гребню играют, старички (птица такая вроде чайки) над морем летают, криком кричат, ровно черти. Каменный берег весь стоном стонет, море на берег лезет.

«Давайте, говорю, ребята, спать ляжем. Луна с полночи взойдет, тогда что бог даст, поплывем. Спать уж тогда немного придется, надо теперь силы наспать».

Послушались ребята, легли. Выбрали мы место на высоком берегу, близ утесу. Снизу-то, от моря, нас и не видно: деревья кроют. Один Буран не ложится: все в западную сторону глядит. Легли мы, солнце-то еще только-только склоняться стало, до ночи далеко. Перекрестился я, послушал, как земля стонет, как тайгу ветер качает, да и заснул.

Спим себе, беды и не чаем.

Долго ли, коротко ли спали, только слышу я: Буран меня окликает. Проснулся от сна, гляжу:

солнце-то садиться хочет, море утихло, мороки над берегом залегают. Надо мною Буран стоит, глаза у него дикие.

«Вставай, говорит, пришли уж... по душу, говорит, пришли!..» — рукой этак в кусты показывает.

Вскочил я тут на ноги, гляжу: в кустах солдаты...

Один, поближе, из ружья целится, другой, подальше, подбегает, а с горки этак еще трое спускаются, ружья подымают. Мигом сон с меня соскочил; крикнул я тут громким голосом, и поднялись ребята сразу все, как один. Только успел первый солдат выстрелить, мы уж на них набежали...

Глухое волнение сдавило голос рассказчика; он понурил голову. В юрте стояла полутьма, так как бродяга забыл подкладывать поленья.

— Не надо бы рассказывать, — сказал он тоном, в котором слышалось что-то вроде просьбы.

— Нет уж, все равно, кончайте! Что же дальше?

— А дальше... да что уж тут... сами подумайте: ведь их всего-то пять человек, а нас двенадцать. Да еще думали они нас сонных накрыть, все равно как тетеревей, а вместо того мы им и оглянуться-то и собраться в кучу не дали... Ножи у нас длинные...

Выстрелили они по разу наспех — промахнулись. Бегут с горки, и удержаться-то трудно. Сбежит вниз, а тут внизу мы его и принимаем...

— Верите вы? — как-то жалостливо проговорил рассказчик, поднимая на меня глаза с выражением тоски, — и оборониться-то они нисколько не умели: со штыками этак, как от собак, отмахиваются, а мы на них, мы на них, как лютые волки!..

Пхнул один солдат штыком меня в ногу, оцарапал только, да я споткнулся, упал... Он на меня. Сверху еще Макаров навалился... Слышу: бежит по мне кровь... Мы-то с Макаровым встали, а солдатик остался...

Поднялся я на ноги, гляжу — последние двое на пригорок выбежали. Впереди-то Салтанов, начальник кордона, лихой, далеко про него слышно было; гильяки — и те его пуще шайтана боялись, а уж из нашего-то брата не один от него смерть себе получил. Ну, на этот раз не пришлось... Сам себя потерял...

Было у нас два черкеса, проворны, как кошки, и храбрость имели большую. Кинулся один к Салтанову навстречу, в половине пригорка сошлись. Салтанов в него из револьвера выпалил; черкес нагнулся, оба упали. А другой-то черкес подумал, что товарищ у него убит. Как бросится туда же... Оглянуться мы не успели, он уж Салтанову голову напрочь ножом отмахнул.

Вскочил на ноги, зубы оскалил... в руках голову держит. Замерли мы все тут, глядим... Скрикнул он что-то по-своему, звонко. Размахал голову, размахал и бросил...

Полетела голова поверх деревьев с утесу... Тишина у нас настала, стоим все ни живы, ни мертвы и слышим: внизу по морю плеск раздался — пала голова в море.

И солдатик последний на пригорке стоит, остановился. Потом ружье бросил, закрыл лицо руками и убежал. Мы и не гонимся: беги, бог с тобой! Один он, бедняга, на всем кордоне остался, потому что было двадцать человек. Тринадцать на амурскую сторону за провизией поехали, да из-за ветру не успели еще вернуться, а шестерых мы уложили.

Кончилось все, а мы испугались, никак сообразиться не можем, друг на друга глядим: что же, мол, это такое — во сне али вправду? Только вдруг слышим: сзади, на том месте, где спали мы, под деревом, Буран у нас стонет...

А Бурана нашего первый солдат из ружья убил. Не вовсе убил, — помаялся старик еще малое время, да недолго. Пока солнце за гору село, из старика и дух вон. Страсть было жалко!..

Подошли мы к нему, видим: сидит старик под кедрой, рукой грудь зажимает, на глазах слезы. Поманил меня к себе. «Вели, говорит, ребятам могилу мне вырыть. Все одно вам сейчас плыть нельзя, надо ночи дожждаться, а то как бы с остальными солдатами в проливе не встретиться. Так уж похороните вы меня, ради Христа».

«Что ты, что ты, дядя Буран! — говорю ему. — Нешто живому человеку могилу роют? Мы тебя на амурскую сторону свезем, там на руках понесем... Бог с тобой». — «Нет уж, братец, — отвечает старик, — против своей судьбы не пойдешь, а уж мне судьба лежать на этом острове, видно. Так пусть уж... чуяло сердце... Вот всю-то жизнь, почитай, все из Сибири в Расею рвался, а теперь хоть бы на сибирской земле помереть, а не на этом острове проклятом...»

Подивился я тут на Бурана — совсем не тот старик стал: говорит как следует, в полной памяти, глаза у него ясные, только голос слабый. Собрал нас всех вокруг себя и стал наставлять.

«Слушайте, говорит, ребята, что я стану рассказывать да запоминайте хорошенько. Придется теперь вам без меня по Сибири идти, а мне здесь оставаться. Дело ваше теперь очень опасно — пуще всего, что Салтанова убили. Слух теперь пройдет об этом деле далеко: не то что в Иркутске, в Расее об этом деле узнают. Станут вас в Николаевском сторожить. Смотри, ребята, идите опасно; голод, холод терпите, а уж в деревни-то заходите поменьше, города обходите подальше. Гиляка и гольда не бойтесь — эти вас не тронут. Ну, теперь замечайте хорошенько, стану вам про дорогу по амурской стороне рассказывать. Будет тут перед Николаевским городом заимка, в той заимке наш благодетель живет, приказчик купца Тарханова. Торговал он раньше на Соколином острове с гиляками, заехал с товарами в горы, да и сбился с дороги, заблудился. А с гиляками у него нелады были, ссора. Увидели они, что забрался он в глухое место, и застучали его в овраге; совсем было убили, да как раз на ту пору шли мы самым тем оврагом, соколинские бродяжки... В первый раз еще тогда я с Соколина уходил. Вот слышали мы, что русский человек в тайге голосом голосит, кинулись в овраг и приказчика от гиляков избавили; с тех самых пор он нашу добродетель помнит. «Должон я, говорит, по гроб моей жизни соколинских ребят наблюдать...» И действительно, с тех пор нашим от него всякое довольствие идет. Разыщите его — счастливы будете и всякую помощь получите».

Вот рассказал нам старик все дороги, наставления дал, а потом говорит:

«Теперь, говорит, ребята, вам времени-то терять незачем. Прикажи-ка, Василий, на этом месте домовину мне вырыть, потому что место хорошее. Пусть хоть ветер с амурской стороны долетает, да море оттуда плещет. Не мешкайте, полно, ребята! Принимайтесь за работу живее!»

Послушались мы.

Тут старик под кедрой сидит, а тут мы ему могилу роём; вырыли могилу ножами, помолились богу, старик уж у нас молчит, только головой качает, слезно плачет. Село солнце, старик у нас помер. Стемнело, мы уж и яму сровняли.

Как выплыли мы на середину пролива, луна на небо взошла, посветлело. Оглянулись все,

сняли шапки... За нами, сзади, Соколиный остров горами высится, на утесике-то Буранова кедр стоит... VII

Переехали мы на амурскую сторону, а уж там гиляки говорят: «Салтанова голова... вода». Бедовые эти инородцы, сороки им на хвосте вести носят. Что ни случись, все в ту же минуту узнают. Повстречали мы их несколько человек у моря, рыбу они ловили. Мотают головами, смеются; видно, что рады сами. А мы думаем: хорошо, мол, вам, чертям, смеяться, а нам-то каково! Из-за этой головы нам, может, всем теперь своих голов не сносить. Ну, дали они нам рыбы, расспросили мы их про все дороги, какие тут были, и пошли себе по своей. Идем по земле, словно по камню горячему, каждого шороху пугаемся, каждую заимку обходим, от русского человека тотчас в тайгу хоронимся, следы заметаем. Страшно ведь...

Днем больше в тайге отдыхали, по ночам шли напролет. К Тархановой заимке подошли на рассвете. Стоит в лесу заимка новая, кругом огорожена, ворота заперты накрепко. По приметам выходит та самая, про какую Буран рассказывал. Вот подошли мы, вежливенько постучались, смотрим, вздувают в заимке огонь. «Кто, мол, тут, что за люди?»

— Бродяжки, — говорим, — от Бурана Стахею Митричу поклон принесли.

А на ту пору Стахей Митрич, главный-то приказчик тархановский, в отлучке находился, а на заимке подручного оставил, и был от него подручному наказ: в случае придут соколинские ребята, давать им по пяти рублей на брата, да сапоги, да полушубок, белья и провизии — сколько потребуется. «Сколько бы их ни было, говорит, всех удовлетвори, собери работников, да при них выдачу и засвидетельствуй. Тут и отчет весь!»

А уж на заимке тоже про Салтанова узнали. Приказчик-то увидел нас и испужался.

«Ах, братцы, — говорит, — не вы ли же этого Салтанова прикончили? Беда ведь!»

«Ну, мол, мы аль не мы, об этом разговаривать нечего. А не будет ли от вашей милости какой помощи? От Бурана мы к Стахею Митричу с поклоном».

«А сам-то Буран что же? Али опять на остров попал?»

«Попал, говорим, да приказал долго жить».

«Ну, царство ему небесное... Хороший бродяга был, честных правил, хотя и незадачливый. Стахей Митрич и по сю пору его вспоминает. Теперь, чай, в поминанье запишет, только вот имя-то ему как? Не знаете ли, ребята?»

— «Не знаем мы. Буран да Буран, так и звали. Чай, покойник и сам-от свое имя забыл, потому что бродяге не к чему».

— «То-то вот. Эх, братцы, жизнь-то, жизнь ваша!.. Захочет поп об вас богу сказать, и то не знает, как назвать... тоже, чай, у старика в своей стороне родня была: братья и сестры, а может, и родные детки».

«Как, чай, не быть. Бродяга-то хоть имя свое крещеное бросил, а тоже ведь и его баба родила, как и людей...»

«Горькая ваша жизнь, ох, горькая!»

«Чего горше: едим прошеное, носим брошеное, помрем — и то в землю не пойдем. Верно! Не всякому ведь бродяге и могила-то достанется. Помрешь в пустыне — зверь сожрет, птица расклюет... Кости — и те серые волки врозь растащут. Как же не горькая жизнь?»

Пригорюнились мы... Хоть жалостные-то слова мы для приказчика говорим, — потому

сибиряку чем жалостнее скажешь, то он больше тебя наградит, — ну, а все же видим и сами, что правда, так оно и по-настоящему точка в точку выходит. Вот, думаем, он сейчас зевнет, да перекрестится, да и завалится спать... в тепле, да в сытости, да никого-то он не боится, а мы пойдем по дикой тайге путаться глухою ночью да точно нечисть болотная с петухами от крещеных людей хорониться.

«Ну, однако, ребята, — говорит приказчик, — пора мне и на боковую. Жертвую вам от себя по двугривенному на брата да по положению, что следует, получите и ступайте себе с богом. Рабочих всех будить не стану, — трое есть у меня понадежнее, так они и засвидетельствуют для отчета. А то как бог с вами беды не нажить... Смотрите, в Николаевский город лучше не заглядывайте. Намеднись я оттуда приехал: исправник ноне живет бойкой; приказал всех прохожих имать, где какой ни объявится. «Сороке, говорит, пролететь не дам, заяц мимо не проскачет, зверь не прорыщет, а уж этих я молодцов-соколинцев изымаю». Счастливы будете, ежели удастся вам мимо пройти, а уж в город-то ни за коим делом не заходите».

Выдал он нам по положению, рыбы еще дал несколько, да от себя по двугривенному накинул. Потом перекрестился на небо, ушел к себе на заимку и дверь запер. Погасили сибиряки огни, легли спать — до свету-то еще не близко. А мы пошли себе своею дорогой, и очень нам всем в ту ночь тоскливо было.

Ох, и люта же тоска на бродягу живет! Ночка-то темная, тайга-то глухая... дождем тебя моет, ветром тебя сушит и на всем-то, на всем белом свете нет тебе родного угла, ни приюту... Все вот на родину тянешься, а приди на родину, там тебя всякая собака за бродягу знает. А начальства-то много, да начальство-то строго... Долго ли на родине погуляешь — опять тюрьма!

Да еще и тюрьма-то иной раз раем вспоминается, право... Вот и в ту ночь, идем-идем, вдруг Володька и говорит:

«А что, братцы, что-то теперь наши поделывают?»

«Это ты про кого, мол?»

«Да наши, на Соколином острове, в седьмой казарме. Чай, спят себе теперь, и горюшка мало!.. А мы вот тут... Эх, не надо бы и ходить-то...»

Прикрикнул я на него. «Полно, мол, тебе бабиться! И не ходил бы, коли дух в тебе короткий — на других тоску нытьем нагоняешь».

А сам, признаться, тоже задумался. Притомились мы, идем — дремлем; бродяге это в привычку на ходу спать. И чуть маленько забудусь, сейчас казарма и приснится. Месяц будто светит и стенка на свету поблескивает, а за решетчатыми окнами — нары, а на нарах арестантики спят рядами. А потом приснится, и сам будто лежу, потягиваюсь... Потянусь — и сна не бывало...

Ну, нет того сна лютее, как отец с матерью приснятся. Ничего будто со мною не бывало — ни тюрьмы, ни Соколиного острова, ни этого кордону. Лежу будто в горенке родительской, и мать мне волосы чешет и гладит. А на столе свечка стоит, и за столом сидит отец, очки у него надеты, и старинную книгу читает. Начетчик был. А мать будто песню поет.

Проснулся я от этого сна — кажись, нож бы в сердце, так в ту же пору. Вместо горенки родительской — глухая тропа таежная. Впереди-то Макаров идет, а мы за ним гусем. Ветер подымется, пошелестит ветвями и стихнет. А вдали, сквозь дерев, море виднеется, и над морем край неба просвечивает — значит, скоро заря, и нам куда-нибудь в овраге хорониться. И никогда-то — может, и сами слышали, — никогда оно не молчит, море-то. Все будто говорит что-то, песню поет али так бормочет... Оттого мне во сне все песня и снилась. Пуще

всего нашему брату от моря тоска, потому что мы к нему не привычны.

Стали ближе к Николаевскому подаваться; заимки пошли чаще, и нам еще опаснее. Как-никак подвигаемся помаленьку вперед, да тихо; ночью идем, а с утра забиваемся в глушь, где уж не то что человек — зверь не прорыщет, птица не пролетит.

Николаевск город надо бы подальше обойти, да уж мы притомились по пустым местам, да и припасы кончились. Вот подходим к реке под вечер, видим: на берегу люди какие-то. Пригляделись, ан это вольная команда[8] с сетями рыбу ловит. Ну, и мы без страха подходим:

«Здорово, мол, господа, вольная команда!»

«Здравствуйте, — отвечают. — Издалеча ли бог несет?»

Слово за слово, разговорились. Потом староста ихний посмотрел на нас пристально, отозвал меня к сторонке и спрашивает:

«Вы, господа проходящие, не с Соколиного ли острову? Не вы ли это Салтанова «накрыли?»»

Постеснялся я, признаться, сказать ему откровенно всю правду. Он хошь и свой брат, да в таком деле и своему-то не сразу доверишься. Да и то сказать: вольная команда все же не то, что арестантская артель: захочет он, например, перед начальством выслужиться, придет и доложит тайком — он ведь «вольный». В тюрьмах у нас все фискалы наперечет — чуть что, сейчас уж знаем, на кого думать. А на воле-то как узнаешь?

Вот видит он, что я позамялся, и говорит опять:

«Вы меня не опасайтесь: я своего брата выдавать никогда не согласен, да и дела мне нет. Не вы, так и не вы! А только, как было слышно в городе, что на Соколине сделано качество, и вижу я теперь, что вас одиннадцать человек, то я и догадался. Ох, ребята, беда ведь это, право, беда! Главное дело: качество-то большое, да и исправник у нас ноне дошлый. Ну, это дело ваше... Пройдете мимо — счастливы будете, а покамест вот осталось у нас артельного припасу достаточно, и как нонче нам домой возвращаться, то получайте себе наш хлеб, да еще рыбы вам отпустим. Не нужно ли котла?»

«Пожалуй, говорю, лишний не помешает».

«Берите артельный... Да еще из городу ночью я вам кое-чего привезу. Надо ведь своему брату помощь делать».

Легче тут нам стало. Снял я шапку, поклонился доброму человеку; товарищи тоже ему кланяются... Плачем... И то дорого, что припасами наделил, а еще пуще того дорого, что доброе слово услышали. До сих пор шли, от людей прятались, потому знаем: смерть нам от людей предстоит, больше ничего. А тут пожалели нас.

Ну, на радостях-то чуть было беды себе не наделали.

Как отъехала вольная команда, ребята наши повеселели. Володька даже в пляс пустился, и сейчас мы весь свой страх забыли. Ушли мы в падь, называемая та падь Дикманская, потому что немец-пароходчик Дикман в ней свои пароходы строил... над рекой... Развели огонь, подвесили два котла, в одном чай заварили, в другом уху готовим. А дело-то уж и к вечеру подошло, глядишь, и совсем стемнело, и дождик пошел. Да нам в то время дождик, у огня-то за чаем, нипочем показался.

Сидим себе, беседуем, как у Христа за пазухой, а о том и не думаем, что от нас на той

стороне городские огни виднеются, стало быть, и наш огонь из городу тоже видать. Вот ведь до чего наш брат порой беспечен бывает: по горам шли, тайгой, так и то всякого шороху пугались, а тут против самого города огонь развели и беседуем себе, будто так оно и следует.

На счастье наше, жил в то время в городе старичок чиновник. Был он в прежнее время в N тюремным смотрителем. А в N тюрьма большая, народу в ней перебивало страсть, и все того старика поминали добром. Вся Сибирь Самарова знала, и как сказали мне недавно ребята, что помер он в третьем годе, то я нарочно к попу ездил, полтину за помин души ему отдал, право! Добрейшей души старичок был, царствие ему небесное, только ругаться любил... Такой был ругатель, просто беда. Кричит, кричит, и ногами топает, и кулаки сжимает, а никакого страху от него не было. Уважали ему, конечно, во всякое время, потому что был старик справедливый. Никогда от него арестанту обиды не было, никогда ничем не притеснял, копейкой артельной не прибытился, кроме того, что добровольно артель за его добродетель награждала. Не забывали, надо правду говорить, и его арестанты, потому что семья у него была немалая... Имел доход порядочный...

В то время старичок этот был уж в отставке и жил себе в Николаевске на спокойе, в собственном домишке. И по старой памяти все он с нашими ребятами из вольной команды дружбу водил. Вот сидел он тем временем у себя на крылечке и трубку покуривал. Курит трубку и видит: в Дикманской пади огонек горит. «Кому же бы это, думает, тот огонек развести?»

Проходили тут двое из вольной команды, подозвал он их и спрашивает:

«Где ноне ваша команда рыбу ловит? Неужто в Дикманской пади?»

«Нет, — говорят те, — не в Дикманской пади. Ноне им повыше надо быть. Да и то, никак, вольной команде нонче в город возвращаться».

«То-то вот и я думаю... А видите, вон огонек за рекой горит?»

«Видим».

«Кому же у того огня быть? Как по-вашему?»

«Не можем знать, Степан Савельич. Какие-нибудь проходящие».

«То-то вот и я думаю... А видите, вон огонек за рекой горит?». Подумать, все я об вас обо всех думаю... А слышали, что исправник третьего дня про соколинцев-то сказывал? Видали, мол, их недалече... Не они ли это, дурачки, огонь развели?»

«Может статья, Степан Савельич. Не диво, что и они развели».

«Ну, плохо ж их дело! Вот ведь, подлецы, чего делают!.. Не знаю, исправник-то в городе ли? Коли не вернулся еще, так скоро вернется; увидит этот огонь, сейчас команду нарядит. Как быть? Жаль ведь мерзавцев-то: за Салтанова им всем своих голов не сносить! Снаряжай-ка, ребята, лодку...»

Вот сидим мы у огня, уши дождаемся — давно горячего не видали. А ночь темная, с окянну тучи надвинулись, дождик моросит, по тайге в овраге шум идет, а нам и любо... Нашему-то брату, бродяжке, темная ночь — родная матушка; на небе темнее — на сердце веселее.

Только вдруг татарин у нас уши насторожил. Чутки они, татары-то, как кошки. Прислушался и я, слышу: будто кто тихонько по реке веслом плещет. Подошел ближе к берегу, так и есть: крадется под кручей лодочка, гребцы на веслах сидят, а у рулевого на лбу кокарда поблескивает.

«Ну, говорю, ребята, пропали наши головы... Исправник!»

Вскочили все, котлы опрокинули — в тайгу!.. Не приказал я ребятам врозь разбегаться. Посмотрим, мол, что еще будет: может, гурьбой-то лучше спасемся, если их мало. Притаились за деревьями, ждем. Пристает лодка к берегу, выходят на берег пятеро. Один засмеялся и говорит:

«Что, дурачки, разбежались? Небось выйдете все — я на вас такое слово знаю. Видишь, удалые ребята, а бегают, как зайцы!»

Сидел рядом со мной Дарьин за кедрой.

«Слышь, говорит, Василий? Чудное дело: голос у исправника будто знакомый».

«Молчи, говорю, что еще будет. Немного их».

Вышел тут один гребец вперед и спрашивает:

«Эй вы, не бойтесь: Кого вы в здешнем остроге знаете?»

Притаили мы дух, не откликаемся.

«Да что вы это, лешие! — окликает тот опять. — Сказывайте, кого вы в здешнем остроге знаете, может, и нас узнаете тоже».

Отозвался я.

«Да уж знаем ли, нет ли, а только если б век вас не видать, может и нам и вам лучше бы было. Живьем не дадимся».

Это я товарищам признак подал, чтобы готовились. Их всего пятеро — сила-то наша. Беда только, думаю, как начнут из револьверов палить — в городе-то услышат. Ну, да уж заодно пропадать. Без бою все-таки не дадимся.

Тут старик сам заговорил:

«Ребята, говорит, неужто никто из вас Самарова не знает?»

Дарьин опять меня толкнул:

«Верно! Кажись, это N-ской смотритель... А что, — спрашивает громко, — вы, ваше благородие, Дарьина знавали ли когда?»

«Как, мол, не знать, — старостой у меня в N находился. Федотом, кажись, звали».

«Я самый, ваше благородие. Выходи, ребята! Это отец наш».

Тут все мы вышли.

«Что же, мол, ваше благородие, неужто вы нас ловить выехали? Так мы на это никак не надеемся».

«Дураки вы! Пожалел я вас, олухов. Вы это что же с великого-то ума надумали, прямо против города огонь развели?»

«Обмокли, говорим, ваше благородие. Дождик».

«Дожди-ик? А еще называетесь бродяги! Чай, не размокнете. Счастлив ваш бог, что я раньше

исправника вышел на крылечко, трубку-то покурить. Увидел бы ваш огонь исправник, он бы вам нашел место, где обсушиться-то... Ах, ребята, ребята! Не очень вы, я вижу, остры, даром, что Салтанова поддели, кан-нальи этикие! Гаси живее огонь да убирайтесь с берега туда вон, подальше, в падь. Там хоть десять костров разводи, подлецы!»

Ругается старик, а мы стоим вокруг, слушаем да посмеиваемся. Потом перестал кричать и говорит:

«Ну, вот что: привез я вам в лодке хлеба печеного да чаю кирпича три. Не поминайте старика Самарова лихом. Да если даст бог счастливо отсюда выбраться, может, доведется кому в Тобольске побывать — поставьте там в соборе моему угоднику свечку. Мне, старику, видно, уж в здешней стороне помирать, потому что за женой дом у меня взят... Ну, и стар уж... А тоже иногда про свою сторону вспоминаю. Ну, а теперь прощайте. Да еще совет мой вам: разбейтесь врозь. Вас теперь сколько?»

«Одиннадцать», — говорим.

«Ну, и как же вы не дураки? Ведь про вас теперь, чай, в Иркутске знают, а вы так всюю партией и прете».

Сел старик в лодку, уехал, а мы ушли подальше в падь, чай вскипятили, сварили уху, раздували припасы и распрощались — старика-то послушались.

Мы с Дарьиным в паре пошли. Макаров пошел с черкесами. Татарин к двум бродягам присоединился; остальные трое тоже кучкой пошли. Так больше мы и не видались. Не знаю, все ли товарищи живы или помер кто. Про татарина слышал, будто тоже сюда прислан, а верно ли — не знаю.

В ту же ночь, еще на небе не зарилось, мы с Дарьиным мимо Николаевска тихонько шмыгнули. Одна только собака на ближней заимке взлаяла.

А как стало солнце всходить, мы уж верст десяток тайгой отмахали и стали опять к дороге держать. Тут вдруг слышим — колокольчик позванивает. Прилегли мы тут за кусточком, смотрим, бежит почтовая тройка, и в телеге исправник, закрывшись шинелью, дремлет.

Перекрестились мы тут с Дарьиным: слава те, господи, что вечер его в городе не было. Чай, нас ловить выезжал. VIII

Огонь в камельке погас. В юрте стало тепло, как в нагретой печи. Льдины на окнах начали таять, и из этого можно было заключить, что на дворе мороз стал меньше, так как в сильные морозы льдина не тает и с внутренней стороны, как бы ни было тепло в юрте. Ввиду этого мы перестали подбавлять в камелек дрова, и я вышел наружу, чтобы закрыть трубу.

Действительно, туман совершенно рассеялся, воздух стал прозрачнее и несколько мягче. На севере из-за гребня холмов, покрытых черною массой лесов, слабо мерцая, подымались какие-то белесоватые облака, быстро пробегающие по небу. Казалось, кто-то тихо вздыхал среди глубокой холодной ночи, и клубы пара, вылетающие из гигантской груди, бесшумно проносились по небу от края и до края и затем тихо угасали в глубокой синеве. Это играло слабое северное сияние.

Поддавшись какому-то грустному обаянию, я стоял на крыше, задумчиво следя за слабыми переливами сполоха. Ночь развернулась во всей своей холодной и унылой красе. На небе мигали звезды, внизу снега уходили вдаль ровною пеленой, чернела гребнем тайга, синели дальние горы. И от всей этой молчаливой, объятаго холодом картины веяло в душу снисходительною грустью, — казалось, какая-то печальная нота трепещет в воздухе: «Далеко, далеко!»

Когда я вернулся в избу, бродяга уже спал, и в юрте слышалось его ровное дыхание.

Я тоже лег, но долго еще не мог заснуть под впечатлением только что выслушанных рассказов. Несколько раз сон, казалось, опускался уже на мою разгоряченную голову, но в эти минуты, как будто нарочно, бродяга начинал ворочаться на лавке и тихо бредил. Ею грудной голос, звучащий каким-то безотчетно-смутным ропотом, разгонял мою дремоту, и в воображении одна за другой вставали картины его одиссеи. По временам, когда я начинал забываться, мне казалось, что надо мной шумят лиственницы и кедры, что я гляжу вниз с высокого утеса и вижу белые домики кордона в овраге, а между моим глазом и белою стеною реет горный орел, тихо взмахивая свободным крылом. И мечта уносила меня все дальше и дальше от безнадежного мрака тесной юрты. Казалось, меня обдавал свободный ветер, в ушах гудел рокот океана, садилось солнце, залегали синие мороки, и моя лодка тихо качалась на волнах пролива.

Всю кровь взбудоражил во мне своими рассказами молодой бродяга. Я думал о том, какое впечатление должна производить эта бродяжья эпопея, рассказанная в душной каторжной казарме, в четырех стенах крепко запертой тюрьмы. И почему, спрашивал я себя, этот рассказ запечатлевается даже в моем уме — не трудностью пути, не страданиями, даже не «лютою бродяжьей тоской», а только поэзией вольной волюшки? Почему на меня пахло от него только призывом раздолья и простора, моря, тайги и степи? И если меня так зовет она, так манит к себе эта безвестная даль, то как неодолимо должна она призывать к себе бродягу, уже испившего из этой отравленной неутолимимым желанием чаши?

Бродяга спал, а мои мысли не давали мне покоя. Я забыл о том, что привело его в тюрьму и ссылку, что пережил он, что сделал в то время, когда «перестал слушаться родителей». Я видел в нем только молодую жизнь, полную энергии и силы, страстно рвущуюся на волю... Куда?

Да, куда?..

В смутном бормотании бродяги мне слышались неопределенные вздохи о чем-то. Я забылся под давлением неразрешимого вопроса, и над моим изголовьем витали сумрачные грезы... Село вечернее солнце. Земля лежит громадная, необъятная, грустная, вся погруженная в тяжелую думу. Нависла молчаливая, тяжелая туча... Только край неба отсвечивает еще потухающими лучами зари да где-то далеко, под задумчиво синееющими горами, стоит огонек...

Что это: родное пламя давно оставленного очага или блудящий огонь над ожидающею во мраке могилой?..

Заснул я очень поздно. IX

Когда я проснулся, было уже, вероятно, часов одиннадцать. На полу юрты, прорезавшись сквозь льдины, играли косые лучи солнца. Бродяги в юрте не было.

Мне нужно было съездить по делам в слободу, поэтому я запряг коня в маленькие саночки и выехал из своих ворот, направляясь вдоль улицы селения. День был яркий и сравнительно теплый. Мороз стоял градусов около двадцати, но... все в мире относительно, и то самое, что в других местах бывает в развал зимы, мы здесь воспринимали как первое дыхание наступавшей весны. Клубы дыма, дружно поднимаясь изо всех слободских юрт, не стояли прямыми, неподвижными столбами, как бывает обыкновенно в большие морозы, — их гнуло к западу, веял восточный ветер, несущий тепло с Великого океана.

Слобода почти наполовину населена ссыльными татарами, и так как в тот день у татар был праздник, то улица имела довольно оживленный вид. То и дело где-нибудь скрипели ворота, и со двора выезжали дровни или выбегали рысцей верховые лошади, на которых,

раскачиваясь в стороны, сидели хмельные всадники. Эти поклонники Магомета не особенно строго блюдают запрещение Корана, и потому как верховые, так и пешеходы выписывали вдоль и поперек улицы самые причудливые зигзаги. Порой какой-нибудь пугливый конек кидался в сторону слишком круто, дровни опрокидывались, лошадь мчалась вдоль улицы, а хозяин подымал целую тучу снеговой пыли собственной фигурой, волочась на вожжах. Не сдержат коня и вывалиться с дровней — это во хмелю может случиться со всяким; но для «хорошего татарина» позорно выпустить из рук вожжи, хотя бы при таких затруднительных обстоятельствах.

Но вот прямая, как стрела, улица приходит в какое-то особенное суетливое оживление. Ездоки приворачивают к заборам, пешие сторонятся, татарки в красных чадрах, нарядные и пестрые, сгоняют ребят по дворам. Из юрт выбегают любопытные, и все поворачивают лица в одну сторону.

На другом конце длинной улицы появилась кучка всадников, и я узнал бега, до которых и якуты, и татары большие охотники. Всадников было человек пять, они мчались как ветер, и когда кавалькада приблизилась, то впереди я различил серого конька, на котором вчера приехал Багылай. С каждым ударом копыт пространство, отделявшее его от скакавших сзади, увеличивалось. Через минуту все они промчались мимо меня как ветер.

Глаза татар сверкали возбуждением, почти злобой. Все они на скаку размахивали руками и ногами и неистово кричали, отдавшись всем корпусом назад, почти на спины лошадям. Один Василий скакал «по-расейски», пригнувшись к лошадиной шее, и изредка издавал короткие свистки, звучавшие резко, как удары хлыста. Серый конек почти ложился на землю, распластываясь в воздухе, точно летящая птица.

Сочувствие улицы, как всегда в этих случаях, склонилось на сторону победителя.

— Эх, удалой молодца! — вскрикивали в восторге зрители, а старые конокрады, страстные любители дикого спорта, приседали и хлопали себя по коленам в такт ударам лошадиных копыт.

В половине улицы Василий догнал меня, возвращаясь на взмыленном коне обратно. Посрамленные соперники плелись далеко сзади.

Лицо бродяги было бледно, глаза горели от возбуждения. Я заметил, что он уже «выпивши».

— Закутил! — крикнул он мне, наклоняясь с коня, и взмахнул шапкой.

— Дело ваше... — ответил я.

— Ничего, не сердись!.. Кутить могу, а ум не пропью никогда. Между прочим, переметы мои ни под каким видом никому не отдавай! И сам просить стану — не давай! Слышишь?

— Слышу, — ответил я холодно, — только уж вы, пожалуйста, пьяным ко мне не приходите.

— Не придем, — ответил бродяга и хлестнул коня концом повода. Конек захрапел, взвился, но, отскакав сажени три, Василий круто остановил его и опять нагнулся ко мне.

— Конек-то золото! Об заклад бился. Видели вы, как скачет? Теперича я с татар что захочу, то за него и возьму. Верно тебе говорю, потому татарин хорошего коня обожает до страсти!

— Зачем же вы его продаете? На чем будете работать?

— Продаю — подошла линия!

Он опять хлестнул коня и опять удержал его.

— Собственно, потому, как встретил я здесь товарища. Все брошу. Эх, мил-лай! Посмотри вон, татарин едет, вон на чалом жеребчике... Эй ты, — крикнул он ехавшему сзади татарину, — Ахметка! Подъезжай-ка сюда.

Чалый жеребчик, играя головой и круто забирая ногами, подбежал к моим саночкам. Сидевший на нем татарин снял шапку и поклонился, весело ухмыляясь. Я с любопытством взглянул на него.

Плутоватая рожа Ахметки вся расцветала широкою улыбкой. Маленькие глазки весело сверкали, глядя на собеседника с плутовской фамильярностью. «Мы, брат, с тобой понимаем друг друга, — как будто говорил каждому этот взгляд. — Конечно, я плут, но ведь в том-то и дело, не правда ли, чтобы быть плутом ловким?» И собеседник, глядя на это скуластое лицо, на веселые морщинки около глаз, на оттопыренные тонкие и большие уши, как-то особенно и потешно торчавшие врозь, невольно усмехался тоже. Тогда Ахметка убеждался, что его поняли, удовлетворялся и снисходительно кивал головой в знак солидарности во взглядах.

— Товарища! — кивнул он головой на Василья. — Вместе бродяга ходил.

— А теперь-то ты где же проживаешь?.. Я что-то раньше в слободе тебя не видал.

— За бумагам пришел. Приискал ходим, спирту таскаем[9].

Я взглянул на Василья. Он потупился под моим взглядом и подобрал поводья лошади, но потом поднял опять голову и вызывающе посмотрел на меня горящими глазами. Губы его были крепко сжаты, но нижняя губа заметно вздрагивала.

— Уйду с ним в тайгу... Что на меня так смотришь? Бродяга я, бродяга!..

Последние слова он произнес уже на скаку. Через минуту только туча морозной пыли удалялась по улице вместе с частым топотом лошадиных копыт.

Через год Ахметка опять приходил в слободу «за бумагам», но Василий больше не возвращался.

Федор Бесприютный

Из рассказов о бродягах I

Пешая этапная партия подымалась по трактовой дороге на «возгорок».

По обе стороны дороги кучки елей и лиственниц взбегали кверху оживленной кудрявой зеленью. На гребне холма они сдвинулись гуще, стали стеной тайги; но на склоне меж деревьев и ветвей виднелась даль, расстилавшаяся лугами, сверкавшая кое-где полоской речной глади, затянутая туманами в низинах и болотах...

Вечерело. На землю налегала прохлада; кругом все как-то стихло, темнело, заволакивалось синевой, и только кусок широкой дороги меж зеленью елей и лиственниц весь будто шевелился, кишел серыми арестантскими фигурами, звенел кандалами.

Партия растянулась почти на версту. Арестанты разбрелись по сторонам, избегая дорожной пыли, которую взбивала главная масса, двигавшаяся по тракту. Впереди всех, в голове отряда, шли кандалные; телеги с женщинами, детьми и больными перемешались с пешеходами. По опушкам придорожной тайги слышались голоса, хотя и не особенно оживленные. Партия шла вольно; солдаты частью спали в телегах, свесив оттуда ноги в сапогах бураками, частью же мирно беседовали друг с другом, беспечно покуривая на ходу

«цигарки» из простой бумаги с махоркой; офицера совсем не было видно. Партия шла на слово старосты Федора, по прозвищу «Бесприютного»...

Голова партии дотянулась уже до вершины холма. Федор Бесприютный взошел туда и, остановившись на гребне, откуда дорога падала книзу, окинул взглядом пройденный путь, и темневшую долину, и расползшуюся партию. Затем он выпрямился и крикнул арестантам:

— Ну, подтягивайся, ребята, подтягивайся! Недалече уже! Хлестни лошадей, подводы! Хлестни лошадей... Ближко!..

Под влиянием этого окрика партия зашевелилась быстрее.

Из кустов выбегали арестанты, телеги встряхнулись, и сапоги бураками заболтались на рысях в воздухе.

Серые разбросанные кучки, оживлявшие дорогу, стягивались в одну плотную массу, которая катилась кверху, туда, где, рисуясь на холодевшем небе, виднелась фигура высокого сгорбленного человека. II

Обок дороги шел по траве молодой человек, одетый не в арестантское, а в свое собственное платье. Уже это обстоятельство выделяло его из остальной серой массы: его клетчатые брюки, запыленные ботинки, круглая шляпа котелком, из-под которой выбивались мягкие белокурые волосы, синие очки — все это как-то странно резало глаз, выступая на однообразном фоне партии. Но, помимо этого, фигура была несколько странна: молодой человек в круглой шляпе шел ровным шагом, выступая немного по-журавлиному, как ходят люди, выработавшие свою походку в кабинете. Теперь он, видимо, сознавал, что он уже не в кабинете, и прилаживал свой шаг к ходу партии. Ему это удавалось, и он был доволен, что сказывалось во всей его фигуре. Он не просто шел, а как бы свершал нечто важное, и это сознание придавало всей солидно и широко шагавшей фигуре оттенок неотразимого комизма. Черты его лица были тонки, губы легко складывались в какую-то нервную, несколько кривую, но все же очень добрую улыбку. Но синие глаза всегда глядели серьезно, задумчиво, а высокий лоб придавал верхней части лица характер спокойной, ничем невозмутимой мысли.

Его отношения к партии тоже были отмечены характером двойственности и противоречий. «Барину» полагалась подвода, но он ею никогда не пользовался, и партия завладела телегой для своих надобностей. Его присутствие как будто игнорировалось, но вместе с тем, когда чудной барин подходил к кому-нибудь одному или к целой кучке арестантов, люди как будто смущались и робели. Когда думали, что он не видит, то подталкивали друг друга локтями и смеялись, но всякий, на ком останавливался этот задумчивый взгляд, как-то терялся и будто чувствовал, что где-то что-то не ладно.

— Почему вы делаете то или другое? — спрашивал он иногда об артельных порядках, далеко не всегда, по его мнению, соответствовавших справедливости.

— Да ведь оно уже заведено, — мямлили арестанты.

Молодой человек задумывался и через несколько минут произносил:

— Но ведь это несправедливо.

— Д-да уж... не очень чтобы правильно, что говорить...

— Значит, надо переменить, — замечал молодой человек, как бы удивляясь, что логическая победа далась так легко, даже без спора.

— Да ведь как уж... не нами заведено... невозможно менять, — возражали арестанты, и губы

молодого человека нервно вздрагивали. Он смотрел на людей своим испытующим взглядом, как будто разыскивая в них что-то затерянное. Этот взгляд очень смущал партию: все чувствовали, что этот барин в сущности «младенец», но вместе с тем чувствовали также, что среди них есть человек, который обдумывает каждый их поступок, чуть не каждое слово. Это стесняло партию, но никто не чувствовал против барина недоброжелательства. Вначале выходили иногда споры, так как он сам решительно отказывался подчиняться тем правилам, о которых шла речь как о несправедливых и неразумных. Но впоследствии на молодого человека махнули рукой. Даже более — смеясь за глаза над барином как над юродивым, партия незаметно меняла тон своих отношений. Цинизм и разгул стихали порой не в силу сознания, но просто потому, что ощущение пристального анализирующего взгляда разлагало непосредственные чувства грубой толпы и умеряло широту размаха.

Так этот странный человек совершал свой путь с людьми и вместе одинокий. Он вместе с другими выходил поутру с этапа и вечером, усталый, запыленный, приходил на другой, всю дорогу думая о чем-то, наблюдая, порой дополняя свои размышления расспросами. Вопросы были непонятны арестантам, а когда, получив ответ, он кивал головой, будто утверждаясь в своей догадке, собеседники переглядывались друг с другом. А молодой человек шел опять своей дорогой, не глядя по сторонам, весь поглощенный какой-то внутренней работой.

Теперь рядом с молодым человеком, держась за его руку, шел мальчик лет пяти, одетый не совсем по росту. Рукава какой-то кацавейки были завернуты на детских руках, талия перевязана белым платком; таким же платком перевязан подбородок, большой картуз с обширным козырьком, из-под которого глядели простодушные синие глаза ребенка. Он старался шагать широко, чтобы не отставать от остальных.

— Так тебя, значит, зовут Мишей? — спрашивал молодой человек, глядя вперед и о чем-то думая.

— Мишей, — повторил мальчик.

— Чей же ты?

— Мамкин... Вот, — указал ребенок на одну из телег, где сидела женщина с ребенком на руках. Она кормила ребенка грудью и в то же время следила взглядом за Мишей, который разговаривал с «барином». Эта женщина примкнула к партии на одном из ближайших этапов, недавно оправившись от болезни.

— Куда же вы идете? — спросил опять молодой человек.

— К тятке идем, — ответил мальчик с детской беспечностью в тоне.

— А кто твой тятка?

Этот вопрос несколько затруднил мальчишку.

— Тятка-то? — переспросил он.

— Да... кто твой тятка?

— Тятка!.. — ответил мальчик просто, с полной уверенностью, что этим сказано все, что нужно.

— Глупый, не умеешь барину ответить, — наставительно вмешался шедший невдалеке чахлый арестант и как-то снисходительно-заискивающе улыбнулся барину.

— Глуп еще, не понимает, — пояснил он за ребенка, пользуясь случаем, чтобы вступить в разговор. — А ты говори: посельщик, мол, тятка, вот кто.

Мальчишка вскинул глазами на говорившего и, как будто недоумевающая, почему к имени его тятки прибавляют незнакомое слово, опустил опять глаза и проговорил упрямо:

— Нет, тятка он...

Семенов (так звали молодого человека) утвердительно кивнул головой, как будто находя ответ вполне удовлетворительным.

— Глупый младенец, дозвоьте вам сказать, — вмешался опять чахлый арестант тем же заискивающим тоном. Он тоже примкнул к партии недавно. Если бы не это обстоятельство, он знал бы, что Семенов если и барин, то не такой, от которого можно пожить. Но, не успев узнать этого, чахлый арестант все время терся около «барина», подыскивая удобный случай для униженной просьбы в надежде получить полтину-другую ради своего сиротства. Теперь он желал помочь в том же смысле младенцу.

— Кабы ты не глуп был, — наставлял он, — ты бы сказал барину: к поселщику, мол, идем... должна наша жизнь быть теперича самая несчастная, вот что.

Семенов нервно повел плечами и, повернувшись к арестанту, сказал:

— Идите, пожалуйста, своей дорогой.

Чахлый арестант съежился и отошел в сторону, а мальчишка, еще ниже опустив голову, повторил упрямо:

— К тятке, к тятке...

— Верно, — сказал молодой человек, и в его голове зароились невеселые мысли.

«Да, — думал он, шагая вдоль дороги, — вот целая программа жизни в столкновении двух взглядов на одного и того же человека: тятка и поселщик... Для других это — поселщик, может быть, вор или убийца, но для мальчишки он — отец, и больше ничего. Ребенок по-прежнему ждет от него отцовской ласки, приветов и наставления в жизни. И так или иначе, он найдет все это... Каковы только будут эти наставления?..»

Молодой человек оглядел бойко шагавшего мальчишку своим задумчивым взглядом.

«Да, — продолжал он размышлять, — вот она, судьба будущего человека. Она поставила уже мальчишку на дорогу. Тятка и поселщик... Две координаты будущей жизни... Любовь сына, послушание отцу — две добродетели, из которых может выработаться целая система пороков. Житейский парадокс, и этот парадокс, быть может, воплотится в какую-нибудь мрачную фигуру, которая возникнет из этого мальчишки с такими синими глазами...»

Дальнейшая нить размышлений молодого человека была прервана криком арестантского старосты. Партия зашевелилась, и Семенов посадил Мишу на телегу рядом с матерью. Сам он на мгновение остановился и посмотрел в том направлении, где виднелась фигура Бесприютного. Казалось, фигура эта вновь вызвала в его голове новую нить размышлений. III

Трудно сказать почему, но именно эта минута, именно этот кусок пути запечатлелся в его памяти с особенной яркостью, и каждый раз, когда он вспоминал впоследствии о Федоре Бесприютном, в его воображении тотчас оживали холмик, и расстилавшиеся у его подножья луга, тихо лежавшие под лучами заката, и холодок близкой ночи, и высокий силуэт человека, стоявшего вверху... И этот голос, звучавший своеобразным, странным призывом.

«Близко!..» Что же близко? — Этап, один из многих сотен этапов на расстоянии тысячеверстного длинного и трудного пути! Странное утешение! Солнце закатывается, день

отходит, партия тянется по дороге. И завтра, и через неделю, и через месяц — то же солнце увидит тех же людей на такой же, только, быть может, еще более трудной дороге, — что за дело? Что за дело, если путь бесконечно длинен, если он пролегает через знойное лето и через холодную страшную сибирскую зиму? Что за дело, если старик, который теперь еле выносит летнее путешествие, наверное не вынесет осеннего. Что за дело, если ребенок, рожденный на этапе весной, умрет на другом этапе осенью. Что за дело и до того, что в конце пути для тех, кто его выдержит, лежит каторжный труд или горькая доля изгнания!

Что за дело! Солнце садится, и отдых близок! — вот что слышалось Семенову в голосе вожака арестантской партии.

Молодой человек ускоренной, но ровной походкой обогнал телеги и подошел к Федору.

— Скоро придем? — спросил он.

— Недалече, — ответил Федор. — Вот в эту падушку^[10] спустимся, да опять на узгорочек подыдемся. Там от кривой сосны за поворотом всего полверсты будет.

— Да уж Бесприютный знает, — льстиво заговорил тот же чахлый арестант, поспевший за баринком. — Чать, Бесприютному этой дорожкой не впервой иттить.

Арестант, очевидно, хотел польстить опытному бродяге, но суровое лицо Бесприютного с резкими чертами, с морщинами около глаз осталось таким же неподвижно суровым. Он осматривал внимательным взглядом свою ватагу. Он знал, конечно, что в партии, которую он вел, не может быть побега. Он дал слово начальнику, партия дала слово ему. Ценой этого слова партия покупает известные вольности: возможность по временам снимать кандалы, зайти вперед, прилечь в тени, пока подойдут остальные, отправить в какую-нибудь деревушку, в стороне от тракта, несколько человек за сбором подаяния и т. д. И, дорожа этими вольностями, арестанты свято блюдают данное слово, строго следя друг за другом. Но, не опасаясь побегов, Бесприютный боялся, что «шпанка» разбредется по лесу, пожалуй, кое-кто заблудится и отстанет, и таким образом партия явится к этапу не в полном составе. А этого он не любил. Он дорожил своею репутацией; ему было бы неприятно, если бы про Бесприютного сказали, что у него в партии беспорядок.

Но этого не случилось; все были налицо; вот, звеня кандалами, подходят «каторжане»; громыхая, подъезжают подводы с женщинами и детьми; сгрудившись плотной кучей, всходят на пригорок пешие арестанты. И Бесприютный, окончив осмотр, опять двинулся вперед своей развалистой, характерной походкой бродяги.

Шестьдесят верст «на круг» в сутки — такова была эта походка. Так идет человек, у которого нет ближайшей цели. Он не торопится, чтобы прийти до ночи, чтобы не опоздать к обедне в храмовой праздник, чтобы успеть к базару. Он просто — идет. Дни, недели, месяцы... По хорошей и по дурной дороге, в жару и слякоть, гольцами и тайгой, и ровною Барабинскою степью бродяга все идет к своей неопределенной далекой цели... Он не торопится, потому что торопиться всю жизнь невозможно. Самое страстное, самое горячее стремление в эти долгие месяцы и годы уляжется в привычные, размеренные, бессознательно рассчитанные движения. Туловище подается вперед, будто хочет упасть, но следующий шаг несет его дальше, и так, покачиваясь на ходу, уставившись перед собой глазами, согнув спину с котелком и котомкой, отмеривает бродяга шаг за шагом эти бесконечные и бесчисленные версты... Эта ровная, неторопливая, хотя и довольно быстрая походка входит в привычку, и теперь, когда Семенов смотрел на фигуру шедшего впереди Бесприютного, ему виделось в этой сгорбленной фигуре что-то роковое, почти символическое. Молодой человек опять кивнул головой. «Понимаю, — подумал он, — выражение этой походки состоит в том, что человек не идет по своей воле, а как будто отдается с полным фатализмом неведомому пространству».

Серые халаты с тузами и буквами на плечах вообще нивелируют всю эту массу. В первое время свежему человеку все эти люди кажутся будто на одно лицо, точно бесконечное повторение одного и того же тюремного экземпляра. Но это только первое время. Затем вы начинаете под однообразной одеждой замечать бесконечные различия живых физиономий; вот на вас из-под серой шапки глядят плутоватые глаза ярославца; вот добродушно хитрый тверитянин, не переставший еще многому удивляться и та и дело широко раскрывающий голубые глаза; вот пермяк с сурово и жестко зарисованными чертами; вот золотушный вятчанин, прицокивающий смягченным говором. Вы начинаете различать под однообразной оболочкой и разные характеры, и сословия, и профессии — все это выступает, точно очертания живого ландшафта из-под серого тумана.

Но, смотря на Бесприютного, трудно было решить — что это за человек, кем был он раньше, пока не надел серого халата. Тогда как на большинстве арестантов казенное платье сидело как-то неуклюже, не ладилось, топорщилось и слезало — на Бесприютном все было впору, сидело ловко, точно на него шито. Большие руки, дюжая фигура, грубоватые движения... как будто крестьянин. Но ни одно движение не обличало в нем пахаря. Не было заметно и мещанской юркости, ни сноровки бывшего торговца. Кто же он? Семенов долго задавался этим вопросом, но наконец теперь, поняв по-своему «выражение» его походки, он решил, что перед ним бродяга.

Бродяга — и ничего больше! Все характерные движения покрывались одной этой бродяжной походкой. Глаза Федора глядели не с мужицкой наивностью, в них заметна была своего рода интеллигентность. Ни роду, ни племени, ни звания, ни сословия, ни ремесла, ни профессии — ничего не было у этого странного человека. Он, как и мальчишка, с которым Семенов только что беседовал, пошел в Сибирь за отцом, бывшим крестьянином. Рос он дорогой, окреп в тюрьме, в первом побеге с отцом возмужал и закалился. Тюрьма и ссылка воспитали этого человека и наложили на него свой собственный отпечаток. Пройти столько, сколько прошел бродяга, видеть столько людей, сколько он видел, — это своего рода школа, и она-то дала ему этот умный наблюдательный взгляд, эту немужицкую улыбку. Но эта школа была трагически односторонняя: люди, которых он изучал, были не те, что живут полной человеческой жизнью; это были арестанты, которые только идут, которых только гонят. Правда, во время бродяжества он сталкивался и с сибиряками, жила по деревням и на заимках. Но опять и тут настоящая жизнь для бродяги была закрыта. Его дом — не изба, а баня на задах; его отношения к людям — милость или угроза. Он знал, в какой стороне чалдон живет мирный и мягкосердный; в каких деревнях бабы режут ревя, слышав заунывный напев «Милосердной»[11], и где бродяге надо идти с опаской; знал он, где для бродяжки готов хлеб «на поличке» и где встретят горбача винтовкой. Но жизнь семьи, круговая работа крестьянского года, житейские радости, печали и заботы — все это катилось стороной, все это миновало бродягу, как минует быстрое живое течение оставленную на берегу продырявленную и высохшую от солнца лодку.

Эти характерные бродяжьи черты в Федоре Бесприютном соединились с замечательной полнотой, и немудрено: ведь он не знал другой жизни — жизнь сибирской дороги владела его душевным строем безраздельно. Но, кроме этих характеристических черт, было в фигуре Бесприютного еще что-то, сразу выделявшее его из толпы. Каждая профессия имеет своих выдающихся личностей.

Бесприютный представлял такую личность бродяжьей профессии. Каторжная, скорбная дорога овладела в его лице недюжинной, незаурядной силой.

В волосах Федора уже виднелась седина. На лбу прошли морщины; резкие морщины обрамляли также глаза, глядевшие из глубоких впадин каким-то особенным выдержанным взглядом. Казалось, человек, смотрящий этим странным взглядом, знает о жизни нечто очень горькое... Но он таит про себя это знание, быть может сознавая, что оно под силу не всякому, и, быть может, именно в этом сдержанном выражении, глядевшем точно из-за какой-то

завесы на всякого, к кому обращался Федор Бесприютный с самыми простыми словами, скрывалась главная доля того обаяния, которое окружало жоака арестантской партии.

— Бесприютный знает! Бесприютный зря слова не скажет, — говорили арестанты.

И каждое слово человека, глядевшего этим спокойным, сдержанным, знающим взглядом, приобретало в глазах толпы особенную авторитетность. Ко всякому самому простому слову Федора (он был вообще неразговорчив), кроме прямого его значения, присоединялось еще нечто... Нечто неясное и смутное прикасалось к душе слушателя, что-то будило в ней, на что-то намекало. Что это было, — слушатель не знал, но он чувствовал, что Федор Бесприютный что-то «знает»... Знает, но не скажет, и поэтому в каждом его слове слышалось нечто большее обыкновенного смысла этого слова.

В лицо он знал в партии всех, но друзей и товарищей у него не было. Ближе других сошлись с ним два человека, но и с теми соединяли его особые отношения. Первым был старый бродяга, Хомяк, вторым — барин.

Бродяга Хомяк был дряхлый старик. Сколько ему было лет — сказать трудно, но он не мог уже ходить и «следовал» на подводе. Одна из телег, именно та, на которой помещался старик, служила предметом особенных попечений старосты. Он сам настилал в ней солому, прилаживал сиденье, сам выносил с этапа и усаживал старого бродягу. В продолжение пути он то и дело подходил к этой телеге и подолгу шел рядом с нею. Никто не слышал, чтобы они разговаривали друг с другом. Бесприютный только пощупывал сиденье и шел, держась за переплет телеги. Хомяк сидел, свесив ноги, боком к лошадям и смотрел неизменно перед собою неподвижным взглядом. Его руки лежали на коленях, ноги бессильно болтались, спина была сгорблена. Густая шапка только наполовину седых волос странно обрамляла темное обветренное лицо, на котором тусклые глаза совсем терялись, что придавало лицу выражение особенного бесстрастия. Картина за картиной менялись, появляясь и исчезая, но эти выцветшие глаза смотрели на все одинаково равнодушно. Старик мог видеть и слышать, но как будто не хотел уже ни глядеть, ни прислушиваться. Он мог говорить, но до сих пор Семенов ни разу еще не слышал звуков его голоса. От всей фигуры веяло каким-то замогильным безучастием; не было в ней даже ни одной черты страдания: в холод и жар, в дождь и непогоду он сидел одинаково сгорбившись и по временам только постукивал пальцем одной руки по другой. Это было единственным проявлением жизни в этой старчески невозмутимой фигуре.

Арестанты говорили, что Федор Бесприютный приходится Хомяку товарищем по прежним бродяжествам. IV

На одной из телег среди всякой арестантской рухляди лежал белый чемоданчик, принадлежавший Семенову. Иногда на этапе он просил старосту принести чемодан, чтобы переменить белье и взять что нужно, и Федор, исполнявший очень внимательно все его просьбы, обыкновенно сам приносил просимое. Этот чемодан и послужил первым поводом для их сближения.

За несколько дней до описываемого случая молодой человек попросил принести чемодан. Федор принес и отошел было, как всегда, пока молодой человек разбирался, но, оглянувшись как-то, староста увидал, что Семенов открыл одну из крышек и стал разбирать книги. Вынув одну из них, он закрыл чемодан и лег с книжкой на нарах. Федор посмотрел несколько секунд будто в нерешительности, потом подошел к Семенову и сказал:

— Книжки у вас?

— Книжки, — ответил Семенов и, взглянув на Федора из-за страницы, спросил: — А вы читаете?

— Мерекаю самоучкой, — сказал бродяга, приседая у чемодана и без спроса открывая крышку. Семенов смотрел на это, не говоря ни слова. Федор стал раскрывать одну книгу за другой, просматривая заглавия и иногда прочитывая кое-что из середины. При этом его высокий лоб собирался в морщины, а губы шевелились, несмотря на то, что он читал про себя. Видно было, что чтение стоило ему некоторого усилия.

— Нельзя ли и мне какой-нибудь книжечки почитать? — спросил он, продолжая перелистывать книги одну за другой.

Молодой человек приподнялся.

— Возьмите, — сказал он живо и как будто обрадовавшись, — не знаю только, найдете ли вы что-нибудь интересное.

— Ну, ничего, — сказал снисходительно бродяга, — все-таки время провести. Конечно, и в книгах тоже... настоящего нету.

— Настоящего? — удивился Семенов. — Как это странно! Каждая книга говорит о каком-нибудь одном предмете, и, если бы у меня их было побольше, вы, вероятно, нашли бы, что вам нужно.

Бродяга слегка усмехнулся, и в его глазах промелькнул мгновенно огонек, опять в них засветилось такое выражение, как будто бродяга знает и по этому предмету кое-что, но возражать не желает.

— Читал я их, — продолжал он, помолчав и по-прежнему рассматривая книги, — немало читал. Конечно, есть занятные истории, да ведь, поди, не все и правда... Вот тоже у поселенца одного, из раскольников, купил я раз книжку; называется эта книжка «Ключ к таинствам природы»... Говорил он, в ней будто все сказано как есть...

— Ну и что же?

— Да нет, толку мало. Неотчетливо пишет этот сочинитель. Читаешь, читаешь, в голове затрещит, а ничего настоящего не понимаешь. Вечная единица, треугольники там, высшая сила... а понять ничего невозможно. Конечно, я человек темный, а все же, думаю, обман это, больше ничего.

— Я тоже думаю, что вам попало не то, что нужно...

— То-то и я думаю. Надо чем-нибудь кормиться хоть бы и сочинителям.

Перебирая книги одну за другой, он вдруг со вниманием остановился на одном заглавии.

— Это что же такое? — сказал он, поворачивая заглавие.

Это были «Вопросы о жизни и духе» Льюиса.

— Это насчет чего? — спросил бродяга, с любопытством осматривая со всех сторон книгу.

Молодой человек затруднился ответом. Если заглавие непонятно, то что же сказать в объяснение? Как пояснить содержание трактата о сложных «проклятых» вопросах, над которыми, быть может, никогда не задумывался этот человек, с трудом разбирающий по складам?

— О жизни и духе!.. — задумчиво повторил между тем бродяга и опять с видом удивления стал поворачивать книгу во все стороны, осматривая и корешок, и коленкорный переплет, и даже самый шрифт. Казалось, он удивлялся, что книга с таким заглавием так проста на вид.

Быть может, он ожидал встретить «вопросы о духе» в каком-нибудь фолианте, переплетенном в старинный сафьян.

— Это насчет жизни и, например, о душе?.. Так, что ли?

— Да, — ответил молодой человек нерешительно.

Бродяга пытливо посмотрел на него.

— И все тут сказано?.. явственно?..

— Как вам сказать?.. конечно, все, что мог сказать этот писатель. Но явственно ли?.. Знаете что! Лучше возьмите какую-нибудь другую книжку.

Бродяга с живостью отдернул книгу, к которой молодой человек протянул было руку.

— Нет уж, разрешите мне этой книжки почитать... Ежели тут насчет души и о прочем...

— Извольте, — неохотно ответил молодой человек. — Если встретится вам что-нибудь непонятное, слово какое-нибудь, выраженье, я с удовольствием постараюсь вам разъяснить...

— Нет, что выражение, выражение ничего не составляет. Конечно, мало ли их, слов-то непонятных. Ну да все же прочитаешь раз, прочитаешь другой, оно и видно, к чему что идет. Так можно?

— Можно.

— Спасибо, — сказал он и опять взглянул в книгу. — «Вопросы о жизни и духе», — прочитал он еще раз с расстановкой. — Должно быть, она самая!..

Он встал, но, подымаясь, раскрыл книгу на предисловии и зашевелил губами, прочитывая кое-что на выдержку. Одна фраза остановила на себе его внимание. Что-то вроде удовлетворения мелькнуло в его лице и в глазах, когда он взглянул на молодого человека.

— Вот, — сказал он, ткнув пальцем в одно место, и затем прочитал: — «Наш век страстно ищет веры». Это верно, — подтвердил он с какой-то наивной авторитетностью, махнув головой.

Молодой человек усмехнулся.

— Верно, — подтвердил бродяга, — сколько теперича этих самых молоканов да штундистов с партиями гонят. И что ни дальше, то больше. Ну, спасибо. Эту книгу я теперича беспрерывно читаю.

И он ушел.

Когда наступила ночь, в камере этапа не спали только два человека. Бесприютный, полулежа на нарах, при свете сального огарка поворачивал страницу за страницей. Лицо его выражало сильное, почти болезненное напряжение мысли, морщины на лбу углубились, и по временам, когда бродяга отрывался от книги и, устремив глаза в потолок, старался вдуматься в прочитанное, — на лице его явственно виднелось страдание.

Не спал и молодой человек. Лежа под открытым окном — это было его любимое место, — заложив руки за голову, он задумчиво следил за читавшим. Когда бродяга углублялся в книгу и лицо его становилось спокойнее, на лице молодого человека тоже выступало спокойное удовлетворение; когда же лоб бродяги сводился морщинами и глаза мутились от

налегавшего на его мысли тумана, молодой человек беспокоился, приподымался с подушки, как будто порываясь вмешаться в тяжелую работу.

Он был утомлен дневным переходом. Все члены ныли от усталости, и он чувствовал потребность в успокоении. Но голова его горела, глаза тоже были охвачены будто кольцами лихорадочного жара, он беспокойно метался каждый раз, когда шелест перекидываемой страницы долетал до его слуха среди сонных звуков камеры.

«Что-то он найдет в моей книге, — думал он, — этот наивный вопрошатель? Найдет ли хоть частицу того, что ему нужно?»

И молодому человеку глава за главой вспоминалась вся книга. Живучесть проклятых вопросов... Определение метафизики. Метод научный, метод эмпирический, метэмпирический метод... Что же тут почерпнет этот самоучка, что он поймет во всех этих определениях, зачем ему вся эта история бесплодных исканий, это блуждание за заблудившимися в бесконечном лабиринте?

Молодой человек смотрел теперь на труд мыслителя с особенной точки зрения; он хотел представить себе, что может почерпнуть из него человек, незнакомый со специальной историей человеческой мысли, и он метался беспокойно, боясь, не дал ли он просившему камень вместо хлеба. Эта работа внимания и воображения утомила Семенова. Голова его отяжелела, тусклый свет огарка стал расплываться в глазах, темная фигура маячила точно в тумане. V

И приснился молодому человеку странный сон. Видел он густой темный лес ночью... Во мраке качались гигантские ветви, старые стволы стояли, точно великаны-призраки, и ни одна звезда не заглядывала в чащу, ни один луч не освещал темноты. Толпа людей билась в этом лесу, разыскивая, где выход к вольному простору и свету. Долго шла толпа, расчищая путь, прорубая просеки, прокладывая в лесу дороги. Куда вести эти дороги, так ли направлены просеки, кратчайшим ли путем приведут они к выходу, туда, где солнце золотит нивы, — люди не знают. Лишь только бледная заря разольется по лесной глуши, люди встанут ото сна и поведут дальше работу. Сзади за ними теряется в бесконечном лесу пройденный путь, вперед призывает работа, и пот выступает на лбу, и ноют усталые члены, а люди рубят деревья, стелют мосты, жгут и уничтожают чащу. Ночной отдых сменяет усталость дневной работы. Приходит смерть, и люди ложатся в могилы, в темноте чащи, обращаясь головами туда, откуда — они верят — свет светит и лежит страна, которую они ищут. Там ли она, так ли направили они свою тяжелую работу — они не знают. Знают другие. Им известно только, что они тяжко трудились, что заслужили отдых, чтобы завтра, трудиться опять, или смерть, чтобы успокоиться навеки.

Толпа спит спокойным трудовым сном. Но в ней есть люди, которых члены не ноют, над которыми сон не налег так тяжело, как над остальными, потому что их работа легче. У них были глаза острее, слух чутче, и потому они не рубили дерев, не копали землю лопатами, не настилали мостов. Они проверяли пути, они ходили вперед, они ставили позади вехи и вечно думали о той стране простора и света, куда стремились. Иногда они подымались на высокие деревья... Но оттуда только бесконечное море древесных вершин колыхалось и шумело листвою... То самое море, на дне которого там назади — в тесных могилах — полегло столько людей, искавших выхода... И люди спускались опять в чащу, исследовали и меряли путь, а сердца их нередко сжимались от боли, их душу тяготило чувство ответственности, но члены их не ныли и ноги не подкашивались от утомления.

И вот раз в глухую полночь они поднялись от сна и, оставив спящую толпу, пошли в чащу. Одних неодолимо влекло вперед представление о стране простора и света, других манил мираж близости этой страны, третьим надоело тянуться с «презренной толпой, которая только и знает, что спать да работать руками», четвертым казалось, что все идут не туда,

куда надо. Они надеялись разыскать путь своими одинокими усилиями и, вернувшись к толпе, сказать ей: вот близкий путь. Желанный свет тут, я его видел...

И эти люди пошли, а толпа еще спит. До зари далеко, кругом темно. Далеко зашли ушедшие, и многим уже не вернуться. Они сбивались с пути, возвращались, встречались друг с другом и расходились опять. Они менялись опытом своих неудач и успехов, они ставили свои вехи, делали свои зарубки, условные знаки, понятные другим искателям. Иногда кто-нибудь из них наткнулся на какой-нибудь символ, смысл которого не давался пониманию. Тогда сходились другие и по большей части разглядывали знак: знамение неведомой гибели и незнакомой доселе опасности. И так прошло много дней и ночей. Толпа осталась где-то далеко, продолжая прежде намеченный путь, а те, что ушли вперед, — все шли, у них выработался свой условный язык, свои знаки...

И вот в одну ночь, когда отдохавшая толпа спала, как прежде, еще один человек поднялся задолго до зари и, беспокойно оглядевшись, тоже пустился в чащу. И чаща замкнулась за ним. Он искал пути, как и другие, но был один. Ему непонятен условный язык. Он остановился у громадного столетнего дерева и, подняв свой фонарь, с тоской рассматривает зарубку... Знак, когда-то высеченный твердой рукой, стоит перед ним неведомым иероглифом, и, несмотря на это указание, чаща стоит вокруг него полная прежней тайны, и мрак кажется еще глубже, лесная глушь еще враждебнее и страшнее... Зачем он поднялся, что его разбудило?

Молодой человек спал плохо. Он метался, и весь этот сон проходил в его мозгу, как это нередко бывает, то в виде образов, то будто написанный где-то, то как воспоминание о чьем-то рассказе, звучавшем в его ушах и отдававшимся в сердце скорбными нотами какого-то незнакомого голоса... Только лицо человека, стоявшего перед знаком на дереве, вдруг встало в его воображении с такой знакомой яркостью, что он проснулся и окинул камеру мутным взглядом... Действительность не сразу овладела сознанием. В обширной камере вповалку спала толпа, и один человек склонился у самого огарка над книгой с выражением тоскующего недоумения...

Молодой человек быстро отвернулся. В нем шевельнулась досада. «Что это такое, — думал он, — или я в самом деле становлюсь болен и начинаю бредить?.. Чем я виноват и что мне за дело?.. Я не бросал спящей толпы, я не уходил от нее в чащу, и, наконец, не я и разбудил этого человека... Не я виноват, что путь мысли труден, что они не понимают условных знаков на пути... Я сам родился где-то на глухом бездорожье и сам вынужден искать пути в глухой чаще...»

И молодой человек заснул...

Между тем бродяга прекратил чтение; он посидел некоторое время отуманенный, с выражением разочарования, затем оглядел книжку со всех сторон удивленным и насмешливым взглядом, точно удивляясь, как мог он ждать от нее чего-либо и тратить на нее так много времени... Если бы молодой человек видел все это, то его сон был бы менее спокоен и на его лице едва ли горела бы улыбка...

На следующий день была дневка, затем опять два дня пути с остановками только для ночлегов, и опять дневка. Все это время Бесприютный не заговаривал о книге и как будто избегал Семенова. VI

Когда теперь на гребне холма Семенов подошел к старосте, на лице Бесприютного виднелось сдержанное и холодное выражение.

— Ну, как вам понравилась книга? — спросил молодой человек.

— Ничего, книга хорошая, — сказал Федор, но в его тоне слышалось полное осуждение книги; он говорил о ней так же, как отзывался раньше о тех, которые помогают «провести время»;

вслед за тем он неожиданно заговорил о другом предмете:

— Которая в этой книге вложена карточка, — это кто такие вам приходится?

Семенов вспомнил, что действительно он вложил в книгу фотографию и, забыв об этом, после не мог разыскать карточку.

— Это, должно быть, моя сестра, — ответил он.

— Сестра, — проговорил Бесприютный задумчиво, и Семенова поразили особенный тон, каким звучало в устах бродяги это слово; казалось, все, что можно соединить любовного и нежного с идеальным представлением о сестре, — все вылилось в голосе Бесприютного. — Сестра... так... у меня тоже есть сестра... две сестры было...

— Было? А теперь?

— Да, чай, и теперь есть.

— Вы их давно не видали?

— Давно. Мальчонкой по улице вместе бегивали. С тех пор... Чай, теперь такая же, как и ваша. Только моя — крестьянка. Ну, да ведь все равно это... Все ведь равно — я говорю?

Семенов невольно посмотрел в лицо Бесприютного при этом повторенном вопросе. Суровые черты бродяги будто размякли, голос звучал тихо, глубоко и как-то смутно, как у человека, который говорил не совсем сознательно, поглощенный страстным созерцанием. Семенову казалось тоже странным, что бродяга говорит о сестре, тогда как у него были сестры, как будто представление о личности стерлось в его памяти и он вспоминал только о том, что и у него есть сестра, как и у других людей.

— А мальчик, — спросил он опять, — чать, сынок ейный?

— Да.

— Вам значит — племянник?

— Конечно.

— Чать, и у моей тоже... племянник... — сказал он по-прежнему тихо и с тем же затуманенным взглядом.

Пройдя несколько сажений, он встряхнулся и резко вернулся к началу разговора.

— Не совсем и эта книга хороша. Не договаривает сочинитель.

— Чего не договаривает? — удивился Семенов.

— Нет настоящего... — И, видя, что молодой человек ждет пояснений, Бесприютный заговорил серьезно и с расстановками. — Не договаривает!.. Да!.. Как то есть надо понимать. Вот у вас племянник. Чать, у него отец с матерью?

— Да.

— Ну, подрастет, станут наставлять... потом в школу, потом к ремеслу аль к месту. Верно?

— Конечно, — ответил молодой человек, недоумевая, к чему клонится этот разговор.

— Ну вот. Это ведь всегда так. Взять хоть скотину: гонят ее, например, по дороге к околице.

Станет теленок брыкаться, с дороги соскакивать, сейчас его пастух опять на дорогу гонит. Он вправо — он его справа кнутиком, он влево — его и слева. Глядишь — и привык, придет в возраст, уж он ни вправо, ни влево, а прямо идет, куда требуется. Верно ли?

— Верно.

— То-то. Так вот и с человеком все равно. Только бы с малых лет не сбился, на линию стал. А уж там, на какую линию его установили, — не собьется.

— Это верно все, но к чему вы это говорите?..

— А к тому и говорю, что племянник-то ваш, я вижу, сытенький мальчик, и притом с отцом, с матерью. Поставят его на дорогу, научат, и пойдет он себе жить благородно, по-божьему. А вот Мишка, с которым вы сейчас шли, с малых лет все по тюрьмам да на поселении. Так же и я вот: с самых с тех пор, как пошел за отцом, да как мать померла, я, может, и человека хорошего не видал и слова хорошего не слышал. Откуда мне было в понятие войти? Верно ли я говорю?

— Что же дальше?

— Ну вот! Может, спросили бы меня теперь, я бы согласнее в младых летах свою жизнь кончить, чем этак-то жить. И верно, что согласился бы. Так ведь у меня никто не спрашивал, а сам я был без понятия... Положи сейчас кусок хлеба, пушай мимо голодная собака бежит. Ведь должна она этот хлеб схватить. Ну, так и я. Вот и вырос. Жить мне негде, к работе не приучен. Идешь по бродяжеству — тут всего бывало: где подают, ну а где и сам промышляешь. Помню этто в первый раз мы с отцом да со стариком вон с тем шли. Оголодали. Вот подошли ночью к амбару, в амбаре оконце. Ломать ежели амбар — услышат. Подсадил меня отец к оконцу: «Ну-ко, говорит, пробуй, Федька, пролезет ли голова. Голова пролезет, так и весь пролезешь». А мне боязно: в амбаре-то темно, да еще, может, и чалдон сторожит где-ни-то за углом. А тоже послушаться не смею. Сунул голову. «Не лезет», говорю (а голова-то ведь лезет!). Вот и слышу, говорит отец Хомяку: «А что, брат Хомяк, ничего не поделаешь, — видно, ломать придется». — «Плохо, — тот отвечает, — услышат на заимке или собака взлает. Народ здесь — варвар — убьют». — «Да ведь как быть, — отец отвечает, — мочи моей нет. Ведь я вторые сутки не ел, вчерась свой кусок мальчонке отдал...» Повернулось у меня сердце, куда и страх девался. Сунул голову в оконце. «Тятка, кричу, тятка! Голова-то пролезла!» Ну, вот... А там и пошло; со временем все больше да больше... Вот она — наука-то моя. Поставили меня на линию тоже... А теперь должен я за это отвечать?.. Это как?

— Что же, — заметил Семенов, — если бы вас судили судом присяжных, то, вероятно, все это приняли бы во внимание...

Но тотчас он понял, что сказал ужасную глупость. Бесприютный окинул его быстрым взглядом, в котором он прочел удивление, а затем что-то вроде пренебрежения. И тотчас точно луч блеснул в уме молодого человека: он сообразил теперь, о какой ответственности говорил бродяга, в чем этот человек сомневался, чего добивался от книги.

— Продолжайте, — сказал Семенов, — я ошибся, но теперь понимаю.

По-видимому, бродяга убедился, что недоразумение действительно рассеяно.

— Каждый человек поставлен на линию, — подтвердил он, — вот что. Как же теперь понимать, за что отвечать человеку? Шел два года назад арестант один, так тот так понимает, что ничего этого нет. Помер человек, и кончено. Больше ничего. Все одно — как вот дерево: растет, качается, родится от него другая лесина. Потом, например, упадет, согниет на земле — и нету... И растет из него трава. Ну, опять на это я тоже не согласен...

Он прошел несколько шагов молча и опять, как Семенову показалось сначала, заговорил о постороннем:

— Третий раз я бежал в ту пору. Отец у меня уже помер, товарища не было, пошел один. Ну, скучно было. Тайгой иду, и все вспоминается, как мы тут с отцом шли. Только раз ночью бреду себе знакомой тропкой, запоздал шибко, до ночлега. Хотел в шалашике ночевать, который шалаш мы с отцом когда-то вместе строили. Только подхожу к шалашику — гляжу: огонек горит, и сидит у огонька старик бродяга. Исхудалый, глаза точно у волка. Кидает он на огонь сучья, сам к огню тянется, дрожит. Одним словом, оголодал, и одежда на нем рваненькая. Почитай, нагишом совсем... Вот хорошо, я даже этому случаю шибко обрадовался, — думаю, товарища встретил. Покормил я его, чем богат, чайком обогрел. Посидели, потолковали, — спать!.. Лег я, халат под голову положил... полежал — слышу: встает мой старик, из шалаша вон выходит. «Куда?» — спрашиваю. «Да так, говорит, не спится что-то. Пойду к ручью, водицы в котелок возьму да сучьев натаскаю: завтра пораньше чай варить. Да ты что же, молодец, головой-то под самый навес уткнулся, — чай, ведь душно...» А меня покойник отец учил: случится, говорит, с незнакомым человеком ночевать, пуще всего голову береги. В живот хоть, может, и ткнет, все же труднее убить. А по голове ничего не стоит. Вот я, хоть насчет старика этого и в уме у меня не было, а все же завет отцовский берегу. «Ничего, говорю, в привычку мне этак, и комар не ест». Хорошо!.. Ушел старик к ручью, не идет да не идет. Ночь, помню, темная была, на небе тучи, да еще и неба сквозь дерев не видать. Огонек у входа эдак дымит, потрескивает, да листья шелестят. Тихо. Вот лежал я, лежал — и вздремнул, да не очень крепко. Только слышу — вдруг отец меня окликает: «Федор, не спи!» Так это будто издали слышно. Открыл я глаза, гляжу опять — огонек дымит да ветка качается. Я опять заснул. Только слышу опять, будто идет кто к шалашу и даже так, что вижу — за огоньком эдак кто-то стоит. И опять: «Эй, Федор, не спи!» Вот я опять и проснулся. Что, думаю, такое это? Ну, как за день я сильно притомился, то и не могу вовсе проснуться — глаза так и слипаются. Заснул опять, да, видно, еще того крепче. Прошло сколько-то времени. Опять слышу — подходит отец, стал в дверях шалашика, руки эдак упер, сам наклонился ко мне в дыру-то: «Слышь, Федор, не спи, а заснешь — навеки!» Да таково явственно сказал, что сон с меня вовсе соскочил. Гляжу: нет никого, огонек погас, почитай, вообще, по листьям дождик шумит. И будто за костром кто-то маячит — так помаячил и исчез. Поднял я голову: «Что бы это, думаю, могло обозначать? Видно, неспроста. А где, мол, старик проходящий, что это он в дождь по тайге ходит?» И вдруг опять кто-то крадется тихонько к шалашику. Подошел этот старик, остановился у самого того места, куда я головой улегся, потом слышу — шарит осторожно, хворост разворачивает. Встал я незаметно, выхожу из шалашика. «Что это, мол, ты делаешь, почтенный?» А у него, подлеца, уже и шелеп изготовлен: в тайге вырезал здоровенную корягу... Да, вот оно дело какое. Как же теперь надо понимать: ведь уж это явственно ко мне отец приходил с того свету. Кабы с другим было — может быть, и не поверил, а ведь со мной...

Несколько шагов они прошли молча.

— Рассказать вам, что после у меня с этим стариком вышло? — спросил бродяга, кинув искоса взгляд на молодого человека.

— Расскажите.

— Да, вот я вам расскажу, а вы подумайте, как оно бывает иногда. Потому: вы еще молоды. Книжек-то вы читали много, ну а все же пожили бы с мое, увидали бы такое, чего и в книжках нету. Вот, когда услышал старик такие мои слова, — сейчас бросил свою корягу, сел к огню и говорит: «Ну, бей, говорит, ты человек молодой и в силе. Мне с тобой не справиться, а без одежды да без пищи я все равно в тайге смерть приму. Так уж лучше сразу...» Посмотрел я на старика этого: ноги у него в кровь изодраны, одежонка рваная, промок, дрожит весь; борода лохматая, лицо худое, а глаза горят, все равно как угли. Видно, лихоманка к нему привязалась не на шутку. Жалко мне его стало. «Ты что же это, говорю, на подлости пошел?

Я тебя хотел заместо товарища взять, весь бы запас разделил пополам, а ты что задумал?» — «Не хватит, — говорит старик, — все одно на двух-то...» А запасу, правду сказать, и у меня было немного. Тайгой этой идти надо было еще дён шесть, а то и больше, а мне одному-то на три дня в силу хватит. Ну, думал себе, ягодой, мол, станем пробавляться да корнем — как-нибудь выберемся. А как увидел его поступки, тут уж какое товарищество, конечно... Однако отделил сколько-то сухарей, да чаю, да табаку немного и говорю: «Бери! Я на тебе зла не помню». Взял он, сгреб все обеими руками, сам на меня глазами уставился — не стану ли отнимать... Вижу я: в глазах у него точно огонь бегаёт. Даже страшно. Собрался я, подвязал котомку и котелок — пошел. Прошел сколько-то, оглядываюсь: старик мой тоже собирается. Завязал все кое-как в узел, айда за мной... Верите, сколько я с ним муки принял, так это и рассказать невозможно. Ни отдохнуть, ни поспать — сейчас он тут как тут. Видели вы летом слепую муху, как она к скотине привяжется? Ну, так и этот старик. И ведь не думайте, нисколько моего добра не помнил: чуть, бывало, прилягу к ночи, прислушаюсь: уж он тут... крадется в тайге и все с корягой. Как только поспевал за мной — удивительно! Я иду скоро, как могу, а он не отстает, да и только. Вот подошел я к нему раз и говорю: «Что тебе надо? Отстань, а коли не отстанешь, тут и жизни твоей конец...» Хотел запугать, да где тут! Отошел я версты три, к вечеру дело было, и думаю: «Дай схоронюсь за дерево, обожду», а сам огонек разложил небольшой в другом месте, подальше. Только, этак через полчаса времени, гляжу, выходит мой старик на тропку... идет, как медведь, переваливается, глаза горят, сам носом по воздуху так и водит. Завидел мой огонек и сейчас в тайгу, да стороной-то, да крадучись, так и ползет к огню с корягой... Что мне тут делать: парень я молодой, непривычный, кругом, может, на сколько верст души человеческой нету, только лес один, на сердце и без того тоскливо, а тут этот старик увязался. Заревел я тут, просто сказать, по-бабьи, да ну бежать. Бежал, бежал, сколько было мочи; наконец притомился, лег и заснул. Сколько-то проспал, просыпаюсь — опять старик тут. Впоследствии времени уж он и стыд потерял. Я к нему усовещевать, а он на меня с корягой так и кидается, так и наскაკивает. Ах, ты, господи! Выбился я на вторые сутки из сил, вижу: либо мне, либо ему не жить. Стал супротив его на тропке, дожидаясь. Увидел он, что я стою, да, видно, не испугался: так сослепу с корягой и лезет. А я стою, голосом реву, слезами плачу, вышел уже изо всякого терпения, нет моей мочи. Подскочил он ко мне, замахнулся — бац шелепом по голове. Изловчился-таки достать порядочно... Ну, тут уж я ожесточился, вырвал корягу, ударил раз и другой... Да тут же и сам свалился, заснул. Ночью проснулся — так мне и кажется, что опять старик крадется в тайге потихоньку. Да нет: лежит на тропке, не шевельнется. Схватил я тут котомку да опять бежать. Ни сна, ни отдыха; иду-иду, а самому кажется, что никогда мне из этой тайги не выйти; и все сзади будто старик идет, сопит, переваливается, нагоняет... Как уж я вышел к деревне — и сам не знаю: подняли меня сибиряки у поскотины замертво... Да, так вот оно, дело-то... Иной человек и век проживет без греха. Сходит к празднику в церковь, оттуда домой придет, о божественном разговаривает с детьми, потом пообедаёт, ложится спать... Совесть, думает, чиста у меня, не как у прочих других. А между прочим, может, и совесть потому у него чистая, что горя он не видал да на линию такую поставлен. А вот моя линия совсем другая... И совесть у меня нечиста, а иной раз так даже и места себе не найду... И по сию пору, бывает, старик этот не дает мне покою. Потому что, не иначе, думаю я, только что был он тогда вроде как в горячке. А я его, больного человека, убил... Как же теперь, по вашему-то: должен я за это отвечать или нет?.. VII

Не дожидаясь ответа. Бесприютный вдруг сошел с дороги и остановился. Невдалеке виднелась уже кривая сосна. Этапные проходили мимо, и староста занялся счетом людей, не обращая более внимания на молодого человека, который остановился с ним рядом.

Последняя телега поравнялась с ними. На ней сидело несколько женщин, и старый Хомяк глядел с нее своими оловянными глазами. Староста подошел к телеге.

— Что, старичок божий, хорошо ли сидеть-то? — спросил он, взявшись, по обыкновению, за переплет телеги.

Старые губы прошамкали что-то невнятное.

— Стар дедушка, — сказал Семенов.

— Не очень, должно быть, — насмешливо возразил Федор. — Год назад еще его в Одессе отодрали. Ничего — выдержал. Стало быть, еще молодец.

— Что вы это, Федор, говорите?

— То и говорю, что было. По закону, оно конечно, не надо бы, да про закон вспомнили, когда уже высыпали. Ну, что же тут поделаешь — назад не вернешь.

Старый Хомяк закачал головой, его морщинистое лицо пришло в движение, глаза заморгали, и в первый раз Семенов услышал его голос. Он повернулся к Бесприютному, уставился на него глазами и сказал:

— Ничего не поделаешь, парень! Да, ничего не поделаешь.

Он говорил ровным дребезжавшим голосом, бесстрастным, как его тусклый взгляд, хотя, по-видимому, находился в состоянии оживления, на какое только был способен. Долго еще шамкали и двигались бескровные губы, голова шевелилась, даже полуседые волосы, торчавшие из-под шапки, казалось, задорно поднимаются, и среди невнятного шамканья слышалась все та же фраза:

— Ничего не поделаешь!

При этом Бесприютного старик называл парнем или малым, вероятно, по старой памяти.

— То-то и я говорю, ничего не поделаешь, высыпали, так уж назад не высыпешь, — ответил Федор с выражением грубоватой насмешки; была ли это действительно насмешка, или под ней скрывались горечь и участие, Семенов не мог разобрать. Резкие черты Федора были довольно грубы, и не особенно подвижная обветренная физиономия плохо передавала тонкие оттенки выражения.

За поворотом от кривой сосны действительно открылся и этап. Высокий частокол с зубчатым гребнем скрывал крышу здания; лес подступал к нему с трех сторон. Невдалеке, под темной стеной тайги, небольшая деревушка искрилась несколькими красными огоньками, между тем как дома уже терялись в тумане. Невеселый сибирский пейзаж охватывал кругом печальные здания этапа; вечерний сумрак делал картину еще грустнее, но партия весело и шумно огибала угол частокола и входила в отворенные ворота: ужин манил изголодавшихся, широкие нары — усталых.

Один Бесприютный не изменил походки, не прибавил шагу. Он только окинул этап быстрым, угрюмым взглядом, как бы желая убедиться, что все осталось без перемен с тех пор, как он был здесь в последний раз.

Все было по-прежнему, только разве лес несколько отступил от частокола, оставив пни и обнажив кочковатое болото, да частокол еще более потемнел, да караулка еще более покосилась. И бродяга отвел глаза от знакомого здания. Да, все здесь в порядке... здания сгибаются от старости, как и люди, старые окна глядят так же тускло, как и старые очи... Он знал это и прежде.

Посмотрев еще раз кругом на оставшуюся сзади только что пройденную дорогу, на темнеющий лес, на огоньки деревушки, на стаю ворон, кружившихся и каркавших над болотом, и проводив в ворота последнюю телегу, на которой сидел Хомяк, староста сам вошел во двор этапа, где уже слышались шум голосов и суэта располагавшейся на ночевку партии. VIII

Первая суeta стихла в старом этапном здании. Места заняты, споры об этих местах покончены. Арестанты лежат на нарах, сидят кучками, играют в три листика, иные уже дремлют. Из отдельных, «семейных», камер слышится крик ребят, матери баюкают грудных детей, а в окна и открытые двери глядит сырая, но теплая сибирская ночь, и полная луна всплывает красноватым шаром над зубцами частокола.

Часа через полтора после прибытия партии два арестанта-кашевара внесли в общую камеру на шесте ушат со щами. Бесприютный вошел вместе с ними из кухни и стал у стола, чтобы наблюдать за раздачей партии горячей пищи. Арестанты засуетились, разбились на кучки. Каждая кучка посылала от себя человека с посудой, который, подходя к столу, произносил: пятеро, четверо, шестеро — и соответственно с этим получал пять, шесть, четыре больших ложки щей. Больные и женщины, кормившие грудью детей, имели при раздаче преимущество, и Бесприютный внимательно и деловито следил за правильностью раздачи.

В это время в ночном воздухе, там, за оградой, послышался топот приближавшейся к этапу тройки. Тройка катила лихо, но под дугой заливался не почтовый колокольчик, а бились и «шаркотали» бубенцы.

— Эй, подтянись, ребята, смирно! — высунулся головой один из караульных. — Чай, это инспектор приехал.

Среди арестантов произошло невольное движение, которое Бесприютный прекратил спокойным замечанием:

— Подходи, ребята, подходи, полно!

И раздача продолжалась прежним порядком, а Бесприютный стоял у стола с тем же равнодушным видом человека, мало заинтересованного всем происходящим.

Раздача еще не совсем кончилась, когда на пороге, выступая из темноты, появилась полная фигура немолодого уже полковника.

— Здорово, ребята! — сказал он тем бодрым и добродушно-веселым тоном, которым приветствуют обыкновенно подчиненную толпу добрые и благодушные начальники.

— Желаем здравия, ваше скородие, — нестройно ответили в камере, и арестанты повстали с мест, с ложками в руках. Иные стали вылезать из-под нар.

— Оставь, ребята, оставь, ничего! — махнул он рукой, входя в камеру. За ним вошел начальник этапа, болезненный и худой офицер, да еще два-три молоденьких прапорщика конвойной команды. Фельдфебель, молодецкато выпятив грудь, вынырнул из темноты и мгновенно прилип к косяку вытянутой фигурой.

— Хлеб-соль, ребята! — продолжал полковник, обходя кругом средних нар. — Не имеете ли претензий?

— Никак нет, ваше скородие, — слышались опять голоса.

— Ну и отлично, ребяташки! А каковы у вас щи? Хороши ли? — И с этими словами он направился к тому концу, где стоял Бесприютный у опорожненного почти ушата. Полковник среди раздававшейся толпы арестантов шел тяжеловатой, но свободной походкой человека, который знает, что эта толпа уже заранее к нему расположена, что на него обращены одобрительные взгляды. Казалось, он испытывал самодовольное чувство от сознания, что он добрый начальник, что он знает, как можно говорить с этими преступными людьми, что он умеет с ними ладить.

Староста стоял на своем месте, и его глаза по-прежнему следили за ложкой разливальщика,

причем ни один мускул не шевельнулся при входе и приближении начальника. На мгновение только его быстрый испытующий взгляд остановился на толстой фигуре полковника с тем же выражением, с каким он исследовал за несколько часов перед тем покосившиеся этапные постройки. Казалось, расплывшаяся и несколько обрюзгая фигура инспектора доставила бродяге материал для нового, хотя и не неожиданного заключения. Затем он равнодушно отвел глаза и занялся своим делом.

Но полковник, заметивший бродягу еще на половине своего пути, оказал ему более внимания. Он прибавил шагу, потом, приблизившись, быстро и внезапно остановился, причем ножны его сабли с размаху ударили по коротким ногам. Откинув назад голову с широким добродушным лицом, он взглянул на бродягу из-под громадного козырька и хлопнул себя рукой по бедру.

— Панов! Бесприютный! Да, никак, это ты!

— Я самый, — ответил бродяга, опять кидая на полковника равнодушный короткий взгляд.

— Вот! Сразу узнал, — не без самодовольства обратился полковник к следовавшей за ним кучке подчиненных. — А ведь имейте в виду: уже более двадцати лет я его не встречал. Так, что ли? Да ты меня, братец, узнал ли?

— Как не признать, — ответил Бесприютный спокойно и затем прибавил: — Да! Чать, не менее двадцати-то лет...

— Двадцать, двадцать, я тебе верно говорю! Уж я не ошибусь, — у меня, братец, память! Д-да. Имейте в виду, господа, — это было два года спустя после моего поступления на службу, как мы с ним встретились первый раз. Как же! Мы с ним старые знакомцы. Много, братец, много воды утекло.

— Так точно, ваше высокородие, — ответил бродяга равнодушно. Казалось, он не видел особенных причин к тому, чтобы радоваться и этой встрече, и вызванным ею воспоминаниям.

— Ну, каково поживаешь, братец, каково поживаешь? — И добряк полковник присел на угол нары с очевидным намерением удостоить бродягу благосклонным разговором.

Бесприютный ничего не ответил, но это не остановило словоохотливого полковника. Повернувшись в свободной и непринужденной позе фамильярничавшего начальника к стоящим за ним офицерам, он сказал, указывая через плечо на бродягу большим пальцем:

— Русская поговорка, гора, дескать, с горой не сходится!.. Да-с... Вот она, судьба-то, сводит. Имейте в виду, господа, двадцать лет назад я вел партию в первый раз. Понимаете, молодой прапорщик, первый мундир, эполеты, одним словом — начинал карьеру. А он в то время бежал во второй раз и был пойман. Он молодой, и я молодой... Оба молодые люди у порога, так сказать, жизни... И вот судьба сводит опять... Знаете, для ума много, так сказать... Понимаете, для размышления...

Почувствовав некоторое затруднение в точной формулировке тех философских заключений, которые теснились под его форменной фуражкой, полковник быстро повернулся опять к бродяге и измерил его с ног до головы пристальным и любопытным взглядом.

Фигура Бесприютного как-то потемнела; он насупился и как будто слегка растерялся. Но полковник, не замечавший, по-видимому, ничего, кроме своего собственного прекраснодушия, продолжал осматривать своего собеседника и при этом слегка покачал головой.

— Постарел, братец, постарел. А что! Я, брат, слышал, что ты с тех пор еще несколько раз

бегал. Небось раз десять пускался, а?

— Тринадцать раз, — глухо ответил Панов.

— Ай-ай-ай. Имейте в виду, — повернулся опять полковник к молодым офицерам, — и все неудачно!

Инспектор покачал опять головой с видом глубокого сожаления. И это сожаление было совершенно искренно. Конечно, в то время, когда он конвоировал партию, и после, будучи начальником этапа, он не только не отпустил бы Панова на волю, но даже, пожалуй, усилил бы в иных случаях надзор за ловким бродягой. Конечно, и теперь в случае побега он постарался бы с особенным усердием устроить облаву, потому что этого требовали прямые интересы его службы. Но ведь Панов-Бесприютный мог убежать не у него (у него вообще не бегали); он мог уйти с каторги или поселения, и, в этом случае встретившись с ним где-нибудь на тракту, полковник без сомнения дал бы ему рубль на дорогу и проводил бы старого знакомого добрыми пожеланиями. Теперь он искренно жалел человека, с которым его связывали воспоминания о давнем прошлом. Когда он начинал свою карьеру молодым урядником конвойной команды, Бесприютный начинал карьеру бродяги, и теперь в сердце полковника ожили давние приятные ощущения. Он был тогда молод, усики только что пробились над губой и доставляли ему такое же удовольствие, как и новый мундир и погоны; все это наполняло его жизнь радостью и блеском. С тех пор он подвигался вперед и вперед по ровной, проторенной и верно расчищенной дороге. Молодому прапорщику жизнь представлялась целой лестницей повышений. Если во столько-то лет он достигнет чина поручика, то, наверно, умрет полковником... а при успехе... Теперь полковник оглядывался назад на пройденное пространство и видел с удовольствием, что он ушел гораздо дальше, чем это представлялось безумному фендрику: вот он еще бодр и крепок, а уже достиг высшего предела своих молодых мечтаний. Он уже полковник, и все, чего удастся еще добиться по службе, будет сверхсметным подарком судьбы. И старик инспектор был доволен своей трезвой, благоразумной, уравновешенной жизнью; у него была семья; сына он поставил сразу гораздо выше, чем стоял сам при начале пути дочери он дал приданое, потому что он не пьяница и не картежник, как многие другие. А исполнив все это, он спокойно сомкнет глаза перед последним часом, потому что и там, в другом мире, его формуляр — в этом он твердо убежден — заслужит полное одобрение.

Да, вот какова его жизнь! А ведь не все умеют так устраивать ее. Полковник испытывал в глубине сердца — под сожалением к бродяге — еще то особенное чувство, которое заставляет человека тем более ценить свой уютный угол, свой очаг, когда он вспоминает об одиноком и усталом путнике, пробирающемся во тьме под метелью и ветром безвестной и нерадостной тропой.

Хорошо полковнику, согревшему свою жизнь светом общепризнанных солидных добродетелей. А вот он — старый бродяга — стоит перед ним, сгорбившись, в том же сером халате, с тем же тузом на спине, с сединой в волосах, с угрюмой лихорадкой во взгляде. Да, карьера Панова, связанная в воспоминании полковника с началом его собственной карьеры, — не удалась. Несмотря на всю силу и удаль, несмотря на то, что имя Панова гремит по всему тракту, что об его ловкости и влиянии сложились целые легенды, что его имя от Урала и до Амура известно всем гораздо более, чем знают имя полковника, даже в районе его служебного влияния, — все же к этому имени всюду прибавляется один эпитет — несчастного, незадачливого бродяги.

Полковник опять повернулся к своим спутникам, и во взгляде, который он бросил им, заключалось целое невысказанное наставление. Наставление, очевидно, было понятно, потому что молоденький урядник, державший в руках новенькую папаху с кокардой, тоже посмотрел на бродягу и покачал головой; за ним так же укоризненно покачали головами два его сотоварища. Только один смотритель этапа, худой, с раздражительным и угрюмым

лицом, не обращал на слова философствовавшего начальника никакого внимания, и вся его фигура обличала по меньшей мере равнодушие и пассивное неодобрение. Впрочем, может быть, это происходило оттого, что Степанов, немолодой уже поручик, и вообще-то не вполне соответствовал видам начальства, получал частые выговоры, а теперь, кажется, был еще вдобавок с похмелья.

— Удалось ли хоть побывать на родине? — спросил опять полковник бродягу.

— До своей губернии доходил два раза, — говорит бродяга и затем добавляет глуше: — в своем месте не бывал на разу.

— Ай-ай-ай! — закачал опять головой полковник, и затем, усевшись поудобнее на нарах, он положил локти на коленях и, сложив руки ладонями, подался туловищем вперед, как человек, располагающийся побеседовать подольше. Раздача была кончена, ушат убрали, у Бесприютного не было больше дела у стола, но он стоял на том же месте. Теперь у него не было уже того равнодушно-горделивого вида, как прежде. Окруженный кучей арестантов, стоявших на почтительном отдалении, бродяга стоял с несколько растерянным видом прямо перед сидевшим в свободной позе инспектором.

— Ну, — произнес тот, усевшись, — скажи ты мне, куда ты все бегаешь?

Бродяга еще больше растерялся, и, если бы полковник был несколько наблюдательнее, у него, вероятно, не хватило бы духу продолжать свой допрос. Но он принадлежал к числу тех людей, для которых самодовольное прекраснодушие застилает все происходящее перед их глазами. В этом была его несомненная сила, и Бесприютный как-то растерянно ответил:

— Да как же, ваше высокородие, в свою сторону хочется все...

— Так! — сказал полковник. — А давно ли ты оттуда?

— Дитёй оттуда, ваше высокородие.

— Отец твой ведь помер в Сибири?.. Ну, а мать-то жива?

— Нету. Ранее еще померла, без матери вырос, — сказал Бесприютный, и затем как-то робко, будто высказывая последний аргумент и вместе боясь за него перед лицом этого беспощадно-здравомыслящего человека, он добавил: — Сестра у меня родная...

— Сестра! Пишет она тебе письма?

— Где уж писать!

— Может, и она умерла давно.

— Две было, — протестует бродяга.

— Ну, пусть. Ну, допустим, обе они живы. Так ведь они теперь замужем, своя семья у них, дети. И вдруг явишься ты, беспаспортный, беглый из Сибири... Думаешь — обрадуются? Что им с тобой делать?.. Имейте в виду, господа, — повернулся опять полковник с своим поучением к молодежи, — я знаю этих людей: чем опытнее бродяга, чем больше исходил свету, тем глупее в житейских делах.

Было что-то ужасное в этой простой сцене. В голосе полковника звучала такая полная уверенность, что, казалось, сама практическая жизнь говорила его устами, глядела из его несколько заплывших глаз: между тем опытный бродяга, тот самый Бесприютный, который пользовался у сотен людей безусловным авторитетом, стоял перед ним и бормотал что-то, как школьник. Лица обступивших эту группу арестантов были угрюмы. На одной из нар сидел

в своей обычной позе Хомяк, и даже он как будто прислушивался к громкому голосу полковника и к тихим ответам Бесприютного.

— Эх, вы! — махнул полковник рукой. — Недаром говорится: горбатого исправит могила!

И затем, переменив тон, он добавил благодушно:

— А постарел ты, братец, сильно постарел. Да и то сказать, все к могиле идем. И я не тот, что был: женился, пятеро детей; старший учение кончает, дочь невеста... Вон меньший карапуз во дворе играет.

Взгляд Бесприютного, который он поднял на полковника, стал как-то тяжел и мутен. Но полковник теперь не глядел на бродягу. Полковник знал про себя, что он добр, что его любят арестанты «за простоту». Вот и теперь он приехал сюда со своим мальчишкой, и семилетний ребенок играет на дворе с собакой среди снующей по двору кандалной толпы. Прислушавшись, инспектор различил среди наступившей в камере тишины игривое урчание собаки во дворе и звонкий детский смех.

— Васька, эй, Васька! — крикнул полковник.

— Василь Ваныч, — повторил почтительно стоявший у дверей фельдфебель.

На пороге открытой двери появился краснощекий мальчуган в синей косоворотке и военной фуражке. Свет керосиновой лампы на мгновение заслепил его голубые глаза; мальчик с улыбкой закрыл их рукавом, но затем, разглядев отца, он бросился к нему с веселым смехом среди расступающихся арестантов. Физиономия старого полковника расплылась благодушной улыбкой; с нее исчезли последние признаки философского глубокомыслия; он поставил около себя своего любимца и, положив ему на голову свою руку, повернул лицо мальчика к бродяге.

— Вон какой растет, — произнес он. — Это у меня самый младший, а ведь тогда, как мы с тобой в первый-то раз шли, я еще сам молокосос был.

Мальчика не пугала серая толпа, окружавшая его со всех сторон в этой камере, — он привык к этим лицам, привык к звону кандалов, и не одна жесткая рука каторжника или бродяги гладила его белокурые волосы. Но, очевидно, в лице одиноко стоявшего перед отцом его человека, в его воспаленных глазах, устремленных с каким-то тяжелым недоумением на отца и на ребенка, было что-то особенное, потому что мальчик вдруг присмирел, прижался к отцу головой и тихо сказал:

— Папа, пойдем отсюда!.. Папочка!..

— В самом деле пора. Мальчишка набегался за день, поневоле спать захочет. Ну. Бесприютный, прощай. Спокойной ночи, ребята, счастливый путь!

— Вам также, — слышалось откуда-то несколько голосов. Ближайшие арестанты молчали.

Кажется, мальчик на этот раз, по счастливому инстинкту, оказался благоразумнее опытного и «знающего этот народ» инспектора. Когда отец и сын направились к выходу, Бесприютный провожал их горящими глазами; лицо его сделалось страшно, он скрипел крепко стиснутыми зубами. IX

Утомленный дневным переходом, Семенов заснул скоро и, вероятно, очень крепко, потому что очень долго шум, стоявший в камере, не мог его разбудить. Однако мало-помалу крепкий сон стал переходить в беспокойство, потом над ним нависло какое-то дремотное полусознание. Молодой человек слышал неприятный гул голосов, сквозь который прорывался то чей-то оклик, то клочок песни, и опять все эти звуки удалялись, тонули, чтобы

опять выделиться с беспокоящею резкостью. Особенно неприятным казался ему один голос, звучавший громче других. Он как будто узнавал его сквозь сон, и от этого ему еще более не хотелось проснуться, не хотелось убедиться в том, что он не ошибся.

— Пей, мамка, пей!.. Эй, жги, нажигай, молодка!

Семенов открыл отяжелевшие веки, и в сизом тумане душевной камеры перед ним обрисовалось красное лицо с горящими глазами. Кто-то сидел на нарах, обнявшись с пьяной простоволосой арестанткой, которая покачивалась и, нагло ухмыляясь по временам, заводила пьяную песню. Большинство арестантов спало, но в центре камеры шла попойка. Увидев все это, Семенов тотчас же опять сомкнул глаза, и двоившееся сознание затуманилось. «Это был только сон», — думалось ему во сне об этой картине из действительности.

Но вдруг шум усилился. Молодой человек проснулся и некоторое время не мог отдать себе отчета в том, что перед ним происходило, — в камере кто-то плакал, как-то дико и с причитаниями. Это был голос Бесприютного, и к нему примешивались пьяные причитания арестантки.

— Феди-инька, горемышно-ой!.. О-ох-ох-хо-о-о!..

И пьяная простоволосая баба тянулась руками, стараясь приподнять голову Бесприютного, припавшего к нарам, а сам Бесприютный как-то глухо и протяжно ревел. Это не был плач пьяного человека и не прерывистое рыдание мгновенно прорвавшегося горя. Это был именно протяжный грудной рев, как-то безнадежно, ужасающе ровный, долгий, которому, казалось, не будет конца. В камере воцарилось гробовое молчание. Арестанты приподнимались на нарах; недоумевающие лица обращались к Бесприютному, и на них виднелось общее выражение испуга.

Вдруг Бесприютный поднял голову и обвел взглядом всю камеру. Казалось, водка не оказала на него обычного действия: его глаза не затуманились, черты не расплылись. Напротив, бледное лицо стало как будто суше и резче, а взгляд горел.

Он тяжело приподнялся, опираясь руками на нары, и все искал кого-то блуждающим взором. Вдруг он увидел Семенова, который смотрел на бродягу вдумчиво и с участием. Во взгляде Бесприютного мелькнуло определенное выражение.

— А, барин! — крикнул вдруг Бесприютный, подаваясь всем могучим корпусом вперед, и скверное циничное ругательство сорвалось с его языка. — Ва-апросы, — продолжал с горькой язвительностью, — я, брат, и сам спрашивать мастер... Нет, ты мне скажи: за что я отвечать должен — вот что. А то ва-апросы! На сигарки я твою книгу искурил... ха-ха!.. Се-естра! У меня у самого сестра.

И опять ругательства полились уже по адресу сестры, на тот раз еще более циничные и ожесточенные. Казалось, он чувствовал особое, злобное наслаждение, втоптывая в грязь свою мечту о мифической сестре; и вместе с тем безумный огонь в его глазах разгорался еще сильнее, а из груди вырывался сухой кашель, похожий на глухие стоны.

Он замолчал и опустил голову. Когда он поднял ее, выражение лица изменилось.

— Из лесу выйду, — заговорил он опять, глядя куда-то в пространство тоскующим взглядом, — люди этта в полях копошатся, чего-то работают, стараются... А я гляжу на них, точно волк из кустов... А что делают, для чего стараются... не знаю!..

Гробовое молчание камеры, казалось, стало еще глубже. Освещенная сальным огарком, она вся замерла, хотя не спал в ней никто, и отрывистые жалобы и проклятия бродяги с какою-то

тяжелою отчетливостью падали в испуганную, взволнованную и сочувственную толпу. Даже пьяная арестантка прекратила свои причитания и уставилась на Бесприютного мутным застывшим взглядом.

Вдруг среди тишины раздался дребезжащий голос старого Хомяка. Уже несколько минут назад старик, кряхтя и охая, медленно сполз с нары и направился к Федору. Теперь он остановился по другую сторону нар и произнес своим обычным тоном:

— Ничего не поделаешь, парень... Д-да!..

И затем прибавил с более определенным выражением:

— Терпи, Федор, терпи, паренек. Ничего не поделаешь.

Помутившийся от внутренней боли взгляд Федора повернулся к Хомяку.

— А ты, старый сыч! Молчи, поротая собака!.. Что? Думаешь, и я эдак же? И меня в девяносто лет... пороть... Н-нет же!.. — стукнул он кулаком по нарам так, что дерево затрещало, и в то же мгновение в камере началась невообразимая возня. Семенов видел только, как в руках Бесприютного сверкнуло что-то, как ближайšie арестанты кинулись на него. Завязалась борьба. Федор рвался и бился, как бешеный зверь, но толпа, без вражды и гнева, но с молчаливым испугом настойчиво боролась с одним человеком. Более робкие повскакали на нарах, крестясь и вздыхая.

Наконец толпа осилила. Несколько тел грузно рухнулись на пол.

— Берегись, братцы, ножик!

Отнятый у Панова и кинутый чьей-то рукой из толпы ножик с лязгом упал на пустые нары. Из груди Бесприютного вырвался стон, и затем он только храпел и глухо рыдал. Его вязали.

— Господи, царица небесная, — пугливо причитал чахлый арестант, глядевший на всю эту сцену широко раскрытыми лихорадочными глазами.

Когда, привлеченные шумом, в открытые настежь двери камеры вошли конвойные солдаты, все было кончено. Панов, весь опутанный веревками, принесенными наскоро со двора, где висело белье, уже лежал на нарах. Он глухо рычал и безумно озирался, крепко стиснув губы, на которых виднелась красноватая пена. Лицо страшно побледнело, и на нем резко виднелись черные огромные глаза, в которых теперь исчезло всякое выражение. С какой-то ужасающей размеренностью бродяга поворачивал голову, останавливая взгляд на ком-нибудь из арестантов. По всем вероятностям, он никого не видел; однако когда молодой человек почувствовал на себе этот упорный взгляд, ему сделалось жутко.

Понемногу разговоры стихли; усталые, измученные борьбой арестанты улеглись по нарам, оставив около связанного троих караульных. Хомяк подошел было к нему, но, увидев его, Федор заметался так враждебно, что старик отошел. Кряхтя и охая, он уселся в обычной позе невдалеке от Федора, но так, что тот не мог его видеть, и все стихло. В окна глядела ночь, свеча нагорела и вздрагивала, по временам стонал и ворочался связанный бродяга да храпел уже кое-кто из арестантов. Молодой человек тоже забылся, но его дремота странно сливалась с бодрствованием: он все время сознавал на себе тяжелый взгляд лежавшего насупротив бродяги.

Много ли времени прошло таким образом, сказать было бы трудно, но вдруг молодой человек встрепенулся, и его дремоты мгновенно как не бывало. Прямо против него на нарах сидел Федор, по-прежнему опутанный веревками, но теперь его глаза смотрели сознательно.

— Барин, а барин! — тихо звал Семенова бродяга, и этот тихий возглас разбудил молодого

человека. По-видимому, его услышал также старый Хомяк. Он раскрыл глаза и, тяжело кряхтя, спустился с лавки. Остальные арестанты крепко спали; спали даже приставленные к Федору караульные, прислонившись спинами к колонке и низко свесив головы.

Хомяк подошел к Федору, вздохнул и сказал со старческим сожалением:

— Эх, паренек, паренек!..

Покачав головой и вздохнув, он прибавил обычную сентенцию:

— Что тут поделаешь, терпи! — и затем стал развязывать дрожащими руками веревки.

— Барин, помоги развязать, — сказал Федор Семенову.

Тот подошел и, вынув перочинный ножик, разрезал веревку в нескольких местах. Лицо бродяги было бледно; глаза глядели хотя и угрюмо, но совершенно сознательно, так что молодой человек нисколько не колебался исполнить обращенную к нему просьбу Бесприютного. Последний встал на ноги, кивнул головой и, потупясь, быстро вышел из камеры. Протягивая перед собой руки, пошел за ним и Хомяк.

Молодой человек посмотрел им вслед и затем, улегшись на наре, выглянул в окно. На дворе было темно. Две фигуры медленно ходили взад и вперед, о чем-то разговаривая. Семенов не слышал слов, и только грудной голос Бесприютного долетал до его слуха. Казалось, бродяга жаловался на что-то, изливая перед стариком наболевшую душу. Временами среди этой речи дребезжали старческие ответы, в которых молодому человеку слышалась неизменная безнадежная формула смирения перед судьбой.

Наконец Федор подвел старика к стене, подостлал свой халат и уложил старого бродягу. А сам уселся на ступенях крыльца, так что молодому человеку была видна вся его фигура.

И долго сидел этот человек, опустив голову и не шевелясь, и молодой человек, крепко прижавшись горячей головой к холодному железу решеток, смотрел на него и думал.

А ночь все лежала над двором, безмолвная и темная. X

Этапный двор казался угрюм и неприветлив. Ровная с прибитой пылью площадка замыкалась забором. Столбы частокола, поднявшись рядами, встали угрюмой тенью между взглядом и просторною далью. Зубчатый гребень как-то сурово рисовался на темной синеве ночного неба. Двор казался какой-то коробкой... в тени смутно виднелся ворот колодца и еще неясные очертания каких-то предметов. Глухое бормотание и дыхание спящих арестантов неслись из открытых окон...

Сверху темнота налегла на эту коробку плотной непроницаемой крышкой. Где-то далеко в вышине, вглядевшись, молодой человек различил неясные очертания белесоватого облака, тихо плывшего над этой коробкой. Но очертания были нежны, смутны; казалось, этот бесцветный призрак облака тонул и терялся в густой темноте, наводя своим неопределенным движением грустные, тоскливые грезы...

И молодому человеку показалось в эту темную безлунную ночь, что весь мир замкнулся для него этой зубчатой стеной... Весь мир сомкнулся, затих и замер, оградившись частоколом и захлопнувшись синеватой тьмою неба. И никого больше не было в мире... Был только он да эта темная неподвижно сидевшая на ступеньках фигура... Молодой человек отрешился от всего, что его волновало гневом, надеждами, запросами среди шума и грохота жизни, которая где-то катилась там... далеко... за этими стенами...

Это было когда-то давно. Теперь ему ни до чего не было дела, кроме одной мрачной и неподвижной фигуры...

И по неясной для него самой аналогии в его воспоминании наряду с этой темной фигурой возникала другая, вставал в душе эпизод далекого детства.

Отца его все любили. Он был добр и великодушен — сердит, да отходчив. За обиду он вознаграждал всегда очень щедро, и многие сами напрашивались на обиду, чтобы потом воспользоваться великодушием сожаления. Однажды отец нанял молодого лакея. Говорили, что это сирота, что ему выпало счастье в виде места у доброго барина. Это был странный человек, не похожий на остальную дворню, чуткий и гордый. Отец вспылил как-то, разгневался и при всех ударил молодого лакея. Потом оказалось, что отец был совершенно не прав. Семенов вспоминал болезненное, горькое, исполненное недоумения выражение на лице оскорбленного. На другой день молодой слуга ушел. Связал свои вещи в узелок, надел узелок на палку, вышел за ворота и тихо, не оглянувшись, ушел по дороге. Мальчик долго глядел, и на глазах его были слезы, потому что он не знал, откуда пришел этот Павел и куда он ушел, он знал только, что ему было плохо и будет еще хуже... Но он ушел, потому что над ним совершена несправедливость. Отец предлагал ему денег, извинялся перед ним, уговаривал его, но он, отвернув глаза в сторону, твердил одно: «Прощайте, пан, пойду». И пошел.

Но раньше чем уйти, всю ночь до утра он просидел на крыльце, и мальчик долго смотрел на него из окна. Павел сидел точь-в-точь так, как теперь сидел бродяга: опустив голову, не двигаясь, точно будто он окаменел или спит непробудным тяжелым сном. Он не спал, а только тосковал о том, что добрый человек, которого все любили и которого он тоже начал любить, совершил над ним жестокою неизгладимую несправедливость. И мальчик никогда не мог забыть этого ночного часа, и этой фигуры, и совершенной над этим человеком несправедливости. Он не примирился с нею, и даже теперь, когда он вспоминал об отце, к его любви и к его грусти примешивалось воспоминание о тяжелой, неизгладимой и неизглаженной неправде.

И вот опять такая же ночь и такая же фигура. Но теперь не отец виноват в тяжелой неправде... Виноват кто-то другой, тоже любимый и тоже для многих других великодушный и щедрый... Жизнь над бродягой совершила эту страшную несправедливость...

И молодой человек с горечью отворачивался от того, что называют жизнью, яркой, веселой, сверкающей, гремящей, живой и неудержимо катящей свои волны. Душа одного человека — это целый мир, и вот этот мир в душе бродяги отравлен тяжелой неправдой. За что?

Теперь эта душа открылась перед молодым человеком; он понял, чего искал бродяга своим темным умом; понял, что и перед человеком с грубыми чертами могут вставать проклятые вопросы. Жизнь оскорбила этого человека — вот он восстал, и он ставит эти вопросы, обращая их к жизни, требуя у нее ответа.

То, что другим дается как подарок, с рождения, что составляет как бы воздух, которым грудь дышит даже без сознания этого блага, то для бродяги — иллюзия. «У меня тоже сестра!» Тоже, как и у других, как у всех людей!.. Да, в устах бродяги это только иллюзия, это надежда, миф, идеал. Как у всех! Бродяга мечтал о том, чтобы быть, как все, мечтал наивно, и эта мечта разбивалась, как все недостижимые иллюзии.

Уйти? Но куда же? Павел — тот вскинул свою палку на плечи, шел, шел по прямой дороге, все уменьшаясь, мелькнул беленькой точкой у самого леса, который составлял для мальчика грань видимого мира. Мелькнул еще раз и скрылся. Будет ли ему там хорошо или дурно, найдет ли он там забвение горькой обиды, спокойствие, счастье или тягчайшие, еще более жестокие обиды?..

Сегодня, после того как последние иллюзии жизни разбиты практическим полковником, бродяга тоже пытался уйти, совсем расчитаться с жизнью. Но куда бы он ушел? Что

встретил бы там, за краем видимого мира?.. За что он должен ответить и кто перед ним ответит? Забвение ждет его или награда за страдания? Или в самом деле — ничего, этот мир — душа человека, мир, отравленный ядом незаслуженного страдания, — промелькнул и исчезнет, оставив в общем балансе природы одно ничем не вознагражденное, ничем не уравновешенное страдание?..

Вот как понимал молодой человек теперь все вопросы бродяги, его поиски в книгах, его иллюзии. Вот о чем он думал, глядя с переполненным сердцем на темную неподвижную фигуру.

О чем же в эту ночь думал сам бродяга? Быть может, он ни о чем теперь не думал, а только ощущал в сердце тяжесть от обломков разбитых надежд и боялся пошевелиться, чтобы вместе с ним не зашевелилась глухая тоска. И потому он сидел, опустив голову и с закрытыми глазами.

А между тем ночь бежала и убегала своим обычным путем, и мир начинал пробуждаться. Жизнь тихо, неслышно, но неуклонно прокрадывалась на маленький дворик. Сначала темная крышка, плотно надвинувшаяся сверху, стала будто приподыматься. Дыхание утра легко развеяло сумрачную серую тьму ночи... Небо засинело, стало прозрачнее, взгляд молодого человека уходил все дальше и дальше ввысь. Мир сверху раздвигался, маня синим простором.

Потом розовые лучи разлились по небу с восточной стороны и, смешавшись с сумерками, заиграли на зубцах частокола. Это розовое сияние упало вниз на землю, где прежде лежала густая тень, мягко легло на дерево колодца, на прибитую росой пыль, заиграло в капельках на траве и разливалось все обильнее и дальше.

Затем белая тучка выглянула краем из-за зубцов частокола. Она будто заглянула во двор и понеслась вверх, все выше и выше. За ней другая, третья. И чем быстрее неслись они, играя и переливая лучами, тем яснее было видно, как они высоко, как бесконечно велик свод...

Встрепенувшись от холода и росы, жаворонок, спавший за кочкой вне ограды, вдруг поднялся от земли и, кинувшись вверх, точно камень, брошенный сильной рукой, посыпал оттуда яркой, нежной, веселой трелью. И вслед за тем мысль молодого человека перешагнула за ограду, и опять сверкающий, манящий, живой мир развернулся перед его воображением. Он увидел, как тихо колышутся ветки елей под дуновением утреннего ветра. Там вьется меж деревьев еще спокойная и безмолвная дорога, там ручей журчит и бормочет под белой пеленой утреннего тумана... И речка, и луга, и горы — все встало в воображении молодого человека и потянулось вдоль необозримой, бесконечно разнообразной перспективой.

Свежее дуновение утра коснулось также и неподвижной фигуры сидевшего на крыльце человека. Бесприютный вздрогнул от холода, пробежавшего по спине, повел плечами и поднял голову. Затуманенным взглядом он посмотрел на небо.

Из «семейной» камеры вдруг послышался плач ребенка, и эти неудержимые всхлипывания резко пронеслись из окна по этапному дворику. Когда ребенок смолкал на время, тогда было слышно дыхание спящих, чье-то сонное бормотание и храп. Но вскоре детский плач раздавался опять, наполняя собой тишину свежего утра.

Бледная, изможденная, вышла на крыльцо мать ребенка. Месяца два назад она родила, и теперь в дороге, несмотря на все трудности, на собственные страдания, она с материнской неутомимостью и энергией отстаивала юную жизнь. И, по-видимому, старанья не оставались безуспешны: достаточно было прислушаться к звонкому, крепкому и настойчивому крику ребенка, чтобы получить представление о здоровой груди и хороших легких.

Нельзя было того же сказать о матери. Некрасивое, испитое и изможденное лицо носило

следы крайнего утомления: глаза были окружены синевою: она кормила и вместе с тем вынуждена была продаваться за деньги, чтобы покупать молоко и окружить ребенка возможными в этом положении удобствами. Теперь она стояла на крыльце, слегка покачиваясь на нетвердых ногах. Она, казалось, все еще спала, и если двигалась, то лишь под впечатлением детского крика, который управлял ею, помимо ее сознания.

Бесприютный поднялся.

— Матрена! — окликнул он женщину, — тебе молока, что ли?

Женщина протерла глаза, увидела Бесприютного, и довольное, доброе выражение появилось на ее сонном лице.

— А, ты здесь, Федор? Никак, уже встал? Да, Федорушко, молочка бы ему: слышь, как заливается.

Федор направился к небольшому домику, где помещались караулка и кухня. Каждый раз с вечера он заготавливал молоко для партионных ребят, и не было еще случая, чтобы он забыл об этом. Не желая будить кашеваров, так как было еще рано, Бесприютный вышел из кухни во двор с охажкой щепок и кастрюлькой. Через минуту синий дымок взвился кверху, и огонь весело потрескивал и разгорался. Бесприютный держал над пламенем кастрюльку, арестантка, все еще сонная, с выбившейся из-под платка косой, стояла тут же.

— Ишь, заливается, орет, — произнес Бесприютный, — ты бы хоть грудь дала.

— Чего давать, молока ни капли нету; всю он меня высосал...

— Ишь, бутуз. В кого он такой уродился? Ась?

Арестантка слегка потупилась.

— Да, чать, в Микиту Тобольского, с ним я в ту пору жила, — ответила она грустно. — А ты, Федор, вечер пошумел маленько.

— Пошумел, — ответил Бесприютный, — на вот, тащи. Покорми дитё скорей.

Арестантка ушла. Бесприютный поднялся и прислушался, как мальчишка тянул теплое молоко, жадно ворча и чмокая. Лицо бродяги стало спокойнее.

А между тем день совсем разгорелся. Выкатилось на небо сияющее солнце, лес вздыхал и шумел, шуршали за оградой телеги, слышно было, как весело бежали к водопою лошади, скрипел очеп колодца.

Жизнь закипала кругом и вливалась также в сердце бродяги. Его лицо было спокойно, как будто вчерашнего не бывало, как будто ожили надежды и образ мифической сестры загорелся всеми живыми красками, как те облака, что бежали в синеве небес...

Бродяга глядел своим обычным взглядом. Выражение горечи опять спряталось куда-то в глубь его спокойных, задумчивых глаз, и в движениях явилась привычная уверенность авторитетного старосты.

Он разбудил кашеваров, потом вошел в общую камеру.

— Ну, вставай, ребята, вставай. Переход нонче дальний.

— А много ли?

— Тридцать верст до лукояновского этапа.

— Тише, ребята, не возись, — добавил он, взглянув в сторону, где было место молодого человека. — Барин вон заснул... Чай, всю ночь не спал — не буди! Уходить станем, тогда побудим.

Действительно, молодой человек спал. Он вздыхал полной грудью: чистое бледное лицо было спокойно, и ветер, врываясь в окно, слегка шевелил его белокурые волнистые волосы...

1886

Черкес

Очерк I

— Иван Семеныч, а Иван Семеныч!..

— М-м-м... — послышалось в ответ из глубины повозки.

— Только и есть у них: мычат, как коровы. У-у, падаль, прости господи, а не унтер, чтоб вас язвило!..

Я не видал лица жандармского унтер-офицера Чепурникова, произносившего злобным голосом эти слова, но ясно представлял себе его сердитое выражение и даже сверкающий глубокою враждой взгляд, устремленный в том направлении, где предполагалось неподвижное, грузное тело унтер-офицера Пушных.

Ночь была темна, а в нашей повозке, конечно, еще темнее. Колеса стучали по крепко замерзшим колеям, над головой чуть маячит переплет обтянутого кожей верха: он казался темным полукругом, и трудно было даже разобрать, действительно ли это переплет над самой головой или темная туча, несущаяся за нами в вышине. Фартук был задернут, и в небольшое пространство, оставшееся открытым, то и дело залетали к нам из темноты острые снежинки, коловшие лицо, точно иглами.

Дело было в ноябре, в распутицу. Мы ехали к Якутску; путь предстоял длинный, и мы мечтали о санной дороге. На станциях обнадеживали, что от Качуга по Лене уже ездят на санях, но пока нас немилосердно трясло по замерзшим колеям.

Унтер-офицер Чепурников отдернул фартук. Резкая струя ветра ворвалась к нам, и Пушных зашевелился.

— Ямщик! Что, еще далече до станции?

Ямщик наш был одет в пеструю и мохнатую собачью доху, а так как темные пятна этой дохи сливались с темною же, как чернила, ночью, то на облучке нам виднелась лишь странная куча белых заплаток, что производило самое фантастическое впечатление.

— Верстов еще с десять, — послышалось оттуда.

— Хлопаешь зря: едем-едем — все десять верстов.

Чепурников нервничал и сердился.

Ямщик равнодушно пробурчал что-то, несколько придержал лошадей и набил трубку. Мгновенно вспыхнувший огонек осветил невероятной формы мохнатую шапку, обмерзшее лицо, отвернувшееся от ветра, и скрючившиеся от мороза руки.

— Ну, ты, поезжай, что ли! — сказал Чепурников с холодным отчаянием.

— Сейчас!

Огонек погас, и на облучке опять замелькало только созвездие из беловатых пятен.

Телега качнулась, мы задержали фартук и вновь понеслись вперед среди холода и темноты.

Чепурников нервно ворочался и вздыхал, Пушных сладко всхрапывал. Этот гарнизонный счастливец обладал завидною способностью засыпать мгновенно при всяких обстоятельствах, и это служило главной причиной глубокой ненависти, которую питал к нему, несмотря на недавнее знакомство, его дорожный товарищ. Последний пытался доказывать неоднократно, что Пушных не имеет никакого «полного права» своею грузною фигурой занимать большую половину места, назначенного для троих. Пушных при этом жмурился и стыдливо улыбался. Он позволял даже Чепурникову всячески тиранить себя каждый раз при усаживании в повозку. Желчный унтер-офицер порывисто запихивал куда-нибудь его ноги, подбирал и укладывал руки, заталкивал в самый дальний угол его спину, гнул его и выворачивал, точно имел дело с тюфяком, а не с живым человеком.

— Вот... вот!.. так... этак!.. — приговаривал Чепурников, толкая и пихая какую-нибудь часть рыхлой фигуры товарища. — Р-раздуло вас, прости господи, горой!..

Пушных конфузливо и виновато улыбался.

— Чем же я, Василий Петрович, в эфтим случае... Мы все, то есть, родом экие!.. Ой, Василь Петрович, ты мало-мало полегче пихайся.

Чепурников окидывал взглядом свою упаковку и оставался недоволен.

— Бес-с-совестные! — ворчал он.

Надо заметить, что оба мои спутника принадлежали к разным родам оружия, и Чепурников, как жандарм, считал себя неизмеримо выше Пушных уже тем, что его служба вменяла в обязанность тактичное и вежливое обращение. Поэтому он обращался даже к Пушным не иначе, как во множественном числе, хотя при этом высказывался нередко довольно бесцеремонно: «Бессовестные вы этакие чурбаны!» — говорил он, например.

Но, в сущности, все мы понимали, что совесть тут ни при чем. Особенно же когда, проехав версты полторы. Пушных засыпал, как камень, — тут уж вступали в силу положительно одни физические законы: Пушных, как тело наиболее грузное, опускался на дно повозки, вытесняя нас кверху.

То же случилось и в эту холодную ночь. Чепурников жался к краю повозки, я кое-как сидел в середине, стараясь не задавить Пушных, который все совал под меня голову с беспечностью сонного человека. Я всматривался в темноту: какие-то фантастические чудовища неясно проползали в вышине, навевая невеселые думы.

— Ну и командировка выдалась!.. Не фартит мне, да и только! — сказал Чепурников с глубокою грустью и с очевидною жаждой сочувствия.

Мне было не до сочувствия. Для меня эта «командировка» была еще менее удачной, и мне казалось, что это у меня на душе проплывают одни за другими бесформенные призраки, которые неслись там, в вышине.

— Эх, и что бы месяц раньше! Купил бы я в Качуге шитик, поставил бы парус — и катай себе вниз по Лене до самого Якутска. Ведь это, как вы думаете, экономия?

— Конечно, экономия.

— То-то вот, что экономия... А как по-вашему, сколько?..

— Не знаю...

— А вот погодите, рассчитаем. Три тысячи верст, по четыре с половиной копейки, это выходит по сту по тридцати пяти рублей с лошади. Ежели теперь на четверку да на обратный путь хоть, скажем, на две лошади... Поэтому экономия составляет сот восемь рублей на одних прогонах. Так или нет?

Чепурников рассчитывал с каким-то сладострастным наслаждением и потом сказал со злостью:

— А теперь вот и за одну лошадь, смотрите, останется ли? Вспомните мое слово: станут нам дальше и четвертую лошадь припрягать. Такой подлец народ стал, такой подлец — и сказать вам не могу. Это чтобы служащему человеку сколько-нибудь уважить — никогда!

Мне от этих расчетов было ни тепло, ни холодно. Пушных напоминал о себе сладким мычаньем сквозь сон.

— Да вот тут еще с этим делись, с чурбаном! — желчно закончил Чепурников. — А спрашивается теперь: за что?

Он смолк. Темная дорожная ночь тянулась без конца, а колокольчик, казалось, бился и стонал на одном месте. Туманы продолжали ползти в вышине какими-то смутными намеками на что-то необыкновенно печальное. Чепурников вздыхал и злился рядом со мной, продолжая раздражать себя расчетами экономии, утерянной только потому, что меня бог не послал ему месяцем ранее.

Но вот повозка быстро забила на ухабах, колокольчик заболтал что-то несвязное, послышался хриплый лай ленских собак, более похожий на какой-то очень жалобный вой, и в промежутке между фартуком и верхом повозки проплыл яркий огонь фонаря, раскачиваемого ветром на верхушке полосатого столба.

Станция.

Я стал выбираться из повозки, разминая отекавшие члены. Чепурников захватил узелок с провизией и стал бесцеремонно тормозить Пушных. После нескольких пинков беспечный унтер-офицер промычал что-то, зевнул протяжно и сладко и стал вываливаться из телеги.

— Полоски (сабли) захватите, — крикнул ему Чепурников на ходу, — да револьверы!

Но Пушных в эту минуту, стоя уже на земле и заложив руки за голову, сладко тянулся, хрустя суставами, и зевал.

Когда он вошел через минуту в теплую станционную комнату, потирая по-детски кулаками заспанные глаза, в руках у него не было ни «полосок», ни револьверов, которые остались в повозке. II

Я сел к столу и, облокотившись на него, смотрел перед собою, отдаваясь ощущению тепла и отдыха. Глаза мои были открыты, но все предметы принимали для меня какие-то фантастические формы. Стены комнаты раздвигались, и я опять видел себя далеко на дороге, в темной повозке. Только в углу повозки приютилось теперь какое-то странное животное на четырех изогнутых ножках; оно сердито шипело на меня, фыркало и лязгало зубами, сквозь которые пробивалось пламя, пылая на меня жаром. От этого я начинал ужасно грустить, и тогда глаза мои инстинктивно искали на стене картину, изображавшую

возвращение блудного сына. Блудный сын стоит на коленях, а старик отец протягивает над ним благословляющую руку. У старика было доброе лицо, и он так благосклонно глядел, а быть может, еще и до сих пор глядит на проезжающих со стен всех станций, на протяжении всей Лены. Почтенный старец! Он столько раз и так радушно встречал меня своим благословляющим жестом, что я положительно привязался к нему и, входя в любую станцию, утомленный угрюмыми приленскими видами, тотчас же разыскивал его глазами. И в эту минуту я стремился к нему под защиту. Тут ли он? Да, он тут, и, значит, я не на холоду, а в светлой комнате, и сердитое животное, пыхающее огнем, — только железная печурка, жарко натопленная лиственничными дровами. Да, старик тут, и, значит, у меня есть добрый знакомый в этом далеком и неприветливом краю, в этом маленьком домике с полосатыми столбами, приютившемся у подножия угрюмых и мрачных хребтов.

Пушных, положив руки на стол и голову на руки, тихонько всхрапывал, а Чепурников суетился один, то подкладывая дров, то распорядясь относительно самовара. Наконец он удалился за перегородку, и через минуту оттуда послышался сначала просто любезный, а потом и дружеский разговор.

— Я очень доволен; я даже так рассуждаю, — говорил писарь, — что вас ко мне сам бог послал, право. Можете верить слову.

Под дальнейший тихий шепот новых приятелей я совсем заснул.

Кто-то тронул меня за руку. Я открыл глаза и не сразу сообразил, в чем дело. Надо мной стоял жандарм Чепурников, и на его обыкновенно подвижном лице теперь лежало какое-то застывшее выражение. Он трогал мою руку, а сам смотрел в окно. Я невольно посмотрел туда же, но ничего особенного не увидел. В стекла глядела ночь, и только пушистые снежинки, налетая из мрака, садились снаружи на черные стекла и тотчас же таяли. Казалось, какие-то белые насекомые с любопытством заглядывают в нашу комнату и через мгновенье бесшумно отлегают в темноту, чтобы сообщить кому-то о том, что они увидели в станционной избушке...

— Что такое? — спросил я с невольной тревогой.

Чепурников сел на стул и с тем же задумчивым видом перевел на меня свои карие глаза.

— А-а, господин... — сказал он тоном доверия. — У нас тут такое дело налаживается, просто уж и не знаю. В один день человеком сделаешься!

— Человеком? — переспросил я, все еще не отряхнувшись от сна. — Что ж, это отлично!

— Верно, в один день, господин!.. — и Чепурников вперил в меня долгий, в душу проникающий взгляд. — Вот, — заговорил он вдруг вкрадчиво, — вы, например, люди образованные и стоите за бедноту. А можете ли вы понимать служащего человека?

— Ну?

— Служащему человеку требуется голову свою как-нибудь прокормить и какой-нибудь дивидент себе приобрести. Так ли я говорю ай нет?

— Так в чем же дело?

— В том дело, — ночевать здесь придется!

— Ну, и прекрасно.

— То-то. А не быть бы мне в ответе, потому нам по инструкции воспрещается... Так уж вы, в случае чего, ни-ни... Так, дескать, встретились, только и всего... На станке, при перепряжке...

Поняли?

— Положим, ничего не понял. С кем встретились?

— А вот погодите... Гаврилыч, вылезай-ка сюда!

Станционный писарь, внимательно следивший за разговором из-за перегородки, тотчас же вышел. Это был человек лет тридцати, в стоптанных валяных калошах, повязанный грязным шарфом; движения его не лишены были некоторой торжественности. Видно, что жизнь на станции и общение с «проезжающими господами» способствовали развитию в нем некоторых возвышенных наклонностей.

— Это он верно вам говорит, — наклонился писарь ко мне, уставляясь в меня своими большими черными глазами, немного напомилавшими чахоточного. — Дело первой важности — большие можно тысячи приобрести...

— Вот! — подчеркнул Чепурников, испытующе заглядывая мне в лицо.

Я опять протер глаза. Этот шепот, важный вид говоривших, застывшие взгляды и загадочные слова казались мне просто продолжением какого-то бессвязного сна.

— Да в чем наконец дело? — спросил я с досадой.

— В черкесе-с... — И взгляд писаря стал еще многозначительнее. — Неужто про черкеса не слыхали? Лицо по всей Лене знаменитое.

— Я здесь в первый раз.

— Извините, не сообразил. Позвольте, я вам объясню. Этот черкес да еще с другим, товарищем по спиртовому делу, у нас первые... То есть, проще вам сказать, спиртоносы, на прииска запрещенным способом спирт доставляют и выменивают рабочим на золото. Отличные дела делают.

— Ну-с?

— Ну-с, больше ничего, что завтра этот черкес будет здесь...

Он наклонился к моему уху.

— Золото в Иркутск везет китайцам продавать... Ежели теперича сам бог нам его в руки дает — это значит божие благословение... Третья часть в нашу пользу, остальное в казну...

— Понимаю... Но неужели он так беспечен, что прямо дастся вам в руки?

— Какое дастся! Дьявол — не человек. Не первый раз уже... Летит сломя голову, ямщикам на водку по рублю! Валяй! Лишь бы сзади казаки да исправник не пронюхали да не нагнали. А у нас народ на станках робкий... Да и на кого ни доведись — страшно: с голыми руками не приступишься. Ну а теперь все-таки люди военные. Можно его и взять.

— Ежели нам удастся, и вы счастливы будете, господин! — сказал Чепурников, у которого загорелись глаза. — Тысячи и на ваш фарт не пожалею.

— Да уж только бы пофартило, — все так же поучительно прибавил писарь, — а уж дуванить-то будет чего.

— Я думаю, казенного проценту за поимку тысяч тридцать. А лошадей все равно свободных нету, — наивно схитрил Чепурников, взглянув на писаря.

— Ну, как знаете. Мне никаких денег не нужно, а ночевать я согласен с величайшим удовольствием.

— Берите, не отказывайтесь. Мы вас обижать не согласны.

Я вышел из-за стола и стал укладываться на диване. Перспектива провести целую ночь в теплой комнате под благословляющею десницей почтенного старца была так соблазнительна, что в моей отяжелевшей голове не было других мыслей... Чепурников с писарем удалились за перегородку и продолжали там свою беседу о предстоящей кампании.

— Верно ты знаешь, что завтра?

— Да уж верно тебе говорю. Болдин сказывал. Выпили мы тут с ним, он и проговорился... Они меня не боятся, потому я и сам в прежние времена, признаться сказать...

— А трудно... — слышалось через минуту.

— Трудно. Храбрость имеет большую. Черкес настоящий, молодчина!

— Отчаянный?

— Да уж без засады не взять.

— А как ничего нету?

— Чудак! Ведь уж мне тогда здесь не житье — неужто стану рисковать.

Я заснул. Мне казалось, что я забылся только на мгновение, но, очевидно, прошло довольно много времени. На станции было тихо, на столе стоял самовар и чайные приборы. Очевидно, мои спутники успели напиться чаю и улеглись спать. Свеча была погашена, и только железная печка освещала комнату вспышками пламени.

— Гаврилов! — слышался вдруг тихий оклик Чепурникова. — Не спите?

— Не сплю.

— А знаете, я ведь рассчитал.

— Ну?

— Тридцать две тысячи восемьсот сорок рублей пятьдесят копеек.

— Н-да, — сказал Гаврилов из своего угла, — капитал хороший. Только бы бог помог.

— Дай-то господи! Капитал отличный. Вот бы Марфа моя Степановна обрадовалась!

— Н-да. Возымели бы мы с тобой хорошую копеечку...

Сильным сопением Пушных напомнил собеседникам о своем существовании.

— Ишь, сопит свинья! — с презрением сказал Чепурников. — А ведь и ему придется дать.

И через полминуты он добавил с закипающею досадой:

— Спрашивается: с какой стати?

Опять тишина.

— Гаврилов, а Гаврилов!

— Что?

— А вы верно знаете, сколько с ним золота?

— Верно. По этому самому расчету они уж и раздували в тайге. Черкес с Мандрыковым за себя весь песок взяли!

— Гм... Жалко!

— Что тебе жалко?

— Маловато выходит.

— Что так?

— Да так, не хватает мне мало-мало по моим расчетам. Еще бы мне тысячки хоть три, я бы на Горе у вдовы у Мятусовой домик купил. Славный домик, с огородом и с мензелинчиком. А теперь придется у Степанова купить. Тоже домик ничего, а нет того виду... Тот на господскую ногу... Я ведь службу-то брошу...

— Бросишь?

— Ну ее! С капиталом какая надобность? Теперь я перед каждым офицером тянусь, а тогда он у меня, офицер, на чашку кофею будет зван. Так ай нет?

— Пустое! — сказал писарь решительно.

— Как пустое?

— Так, суета, честолюбие одно, — подтвердил Гаврилов философски. — Думаешь, хорошо: станешь ты по этой причине форситься, нос кверху драть? Нет, брат, хорошего тут мало...

Я насторожил уши. Писарь говорил тихо, и голос у него мне показался чрезвычайно приятным. Я устал от холодного, угрюмого пути и от этих жестких, наивно-грабительских разговоров. Мне показалось, что я наконец услышу человеческое слово. Мне вспомнились большие глаза Гаврилова, и в их выражении теперь чудилась мне человеческая мечта о счастье...

— Вот ты как разговариваешь, — сказал несколько озадаченный Чепурников. — Ну, а ты что станешь делать?

— Я?.. Мне бы привел господь, я бы женился.

— А ты разве неженатый?

Гаврилов сделал на своей постели нетерпеливое движение.

— Ты знаешь ли, — спросил он резко, — почему в нашей стороне пул хлеба?

— Пожалуй, не рупь ли с полтиной...

— То-то. Так неужто же при наших достатках жениться?

— А ты бы другого места поискал.

— Бывал и в других местах. Не фартит. На приисках служил и спирт нашивал... Только и нажил что ломоту в ногах. Нет, по нашему месту надо совсем бессовестному человеку быть, тогда станешь богат...

— А невеста есть?

Гаврилов молчал. Слабый огонек его сигарки как-то задумчиво вспыхивал и угасал за перегородкой. Писарь курил и мечтал.

— Поглядываю тут на одну. Да что! Я беден, она и того беднее. Так и не говорил ей ни разу... Другое бы дело, кабы бог помог... Уехали бы мы с ней из этого гиблого места, зажили бы себе тихонько, свое бы дельце завели.

— Какое бы ты дело стал заводить?

— Я-то?

— Да.

Опять Гаврилов замолчал, как будто не решаясь посвятить Чепурникова во святая святых своих мечтаний.

— Кабак в своем месте открыл бы, — сказал он. — Чего лучше? Спокой!.. А народ у нас к вину наваженный... III

Огонь в печке угасал. Как это часто случается после сильной усталости, я спал плохо. Забываясь вполонину, я терял минутами сознание времени, но вместе с тем ясно слышал порывы ветра, налетавшего с ленской стороны, слышал, как он шипит снаружи у стен и сыплет снегом в окна.

Вдруг с одним из этих порывов до меня долетел слабый звон колокольчика. Звук этот чуть коснулся слуха и тотчас же потонул в шипении метели. Но через минуту он повторился, опять исчез и потом зазвенел яснее, дольше, с короткими перерывами. Чуткий Гаврилов поднялся за перегородкой, зажег свечу и кинул несколько поленьев в печку.

— Ох-хо-хо! — зевнул он и перекрестил при этом рот. — Господи-владыко, царица моя небесная!.. Кого еще бог дает, уж не почтмейстер ли? Едет что-то шибко... Простого пассажира этак не повезут...

Дверь отворилась. Староста в дохе и теплой шапке появился на пороге с ручным фонарем.

— Проезжающий, Степан Гаврилович! Слышите, что ль?

— Слышу. Пожалуй, не почтмейстер ли из Киренска. Торопи ямщиков на всякий случай. Чтоб без задержки.

— Выкатили. Лошадей хомутают.

— Чтобы живо!

— Единым духом... — И голова старосты исчезла за дверью.

— А? Что тут такое? — встрепенулся вдруг Чепурников и сел на полу, тревожно бегая по комнате глазами.

— Ничего. Проезжающие.

— Черкес?

— Какой тебе черкес... Спи ложись.

Чепурников упал на подушку. Он спрашивал сквозь сон.

Стук копыт и звон колокольчика стихли у ворот.

Слышно было, как ямщики торопливо выпрягают лошадей, побрякивая снимаемым колокольчиком, и еще по временам доносился со двора чей-то резкий, повелительный голос.

Заслышав этот голос, Гаврилов вдруг насторожился и стоял несколько секунд удивленный и неподвижный, с полуоткрытою станционной книгой в руках. Вдруг на лестнице послышались шаги; Гаврилов вздрогнул.

Дверь отворилась, староста просунул голову и сказал:

— Черкес это приехал.

Писарь побледнел и как-то метнулся к Чепурникову, но тот уже вскочил как ужаленный, сел на стул и протирал глаза:

— А, что? Где черкес? Да вставайте же вы, лежебоки!..

Хотя он говорил во множественном числе, но восклицание относилось к одному Пушных, лежавшему на полу у его ног. Несмотря на вежливую форму обращения на «вы», он толкнул грузного унтер-офицера так сильно, что тот сразу обнаружил признаки жизни. Он замычал, встал на четвереньки и стал тихо подниматься, точно на спине его лежала громадная тяжесть. Писарь суетился, зажигал зачем-то стеариновую свечку на столике у зеркала. Чепурников шарил по стульям, разыскивал под платьем оружие... Вообще за минуту перед тем спавшая в безмолвии и темноте станционная комната теперь ожила и была полна движения.

А на все это движение смотрел с порога высокий стройный человек, в котором с первого взгляда можно было узнать так страстно ожидаемого и все же так неожиданно нагрянувшего черкеса. IV

Я видел, как он вошел. Едва только староста успел отойти от двери, как она опять отворилась, и черкес, беспечно держась за ручку, занес ногу на порог. Из темных сеней его фигура выступила с отчетливою резкостью. Это был старик лет пятидесяти пяти, с сухим и жестким лицом, гладко обритым. По лицу он напоминал скорее немца, но рыжая черкеска, подбитая мехом, и затем вся фигура с крутою грудью, тонким станом и упругими движениями обличали ссыльного горца. Он был перетянут тонким кожаным поясом, на котором спереди, наискось, висел красивый кинжал, сзади револьвер в кожаном чехле и, наконец, толстый шнурок, очевидно тоже от револьвера, терялся в кармане.

Свет ударил ему в глаза: он прижмурился, как кошка, и, увидев форменные шинели, мгновенно отшатнулся. Я заметил, как выражение вражды и частию испуга промелькнуло в его черных глазах, странно загоревшихся под седыми бровями. Мне казалось, что я уловил также оттенок печали, который можно заметить в глазах травленного зверя, внезапно попавшего в засаду. Затем он как-то инстинктивно выпрямился, быстрым и привычным движением тронул ручку кинжала и еще раз оглянул всю комнату, останавливая на каждом из нас мгновенный взгляд, острый, ясный и испытующий. Все это продолжалось две-три секунды. Затем он шагнул в комнату.

— Здравствуйте! — сказал он спокойным тоном, которому отчасти противоречили все еще беспокойно бегавшие взгляды.

— А, что такое?.. Да, здравствуйте, здравствуйте, — растерянно ответил Чепурников и, наклонившись к равнодушно усевшемуся на стуле Пушных, прошипел:

— Куда вы девали револьверы... скоты вы такие?..

— Чего лаешься? — громко ответил Пушных. — Что с твоими револьверами делается?.. В повозке.

Все как-то примолкли после этого ответа. Гаврилов кинул на обоих солдат укоризненный взгляд и покачал головой.

— Пожалуйста вашу подорожную, — обратился он к черкесу, стараясь своею развязностью покрыть неловкость. Глаза у черкеса вспыхнули, как у тигра, заметившего опасность; он вынул из кармана свернутую бумагу и кинул ее на стол.

— Зачем кидать... можно подать, я думаю, — обиженно сказал Гаврилов.

Черкес не обратил внимания на это замечание. Он держался чутко, настороже. Острый взгляд его опять быстро обошел всех находившихся в комнате, и вдруг я почувствовал его на себе. Глаза наши встретились. Он рассмотрел мое лицо, мое платье, мой чемодан, стоявший у дивана, опять взглянул на солдат и составил свое заключение; потом он быстро придвинул стул и сел недалеко от меня, полуобернувшись ко мне спиной, лицом к остальным.

Гаврилов раскрыл книгу, но, видимо, не торопился записывать подорожную. Он опрокидывался на спинку стула, то и дело заглядывая из-за своей перегородки в станционную комнату. Порой он делал Пушных какие-то знаки, от которых на жирном лице грузного унтер-офицера проступали явственные признаки изумления. Черкес холодно смотрел на эти маневры и играл рукояткой кинжала.

Между тем сконфуженность Чепурникова прошла, и юркий унтер-офицер, видимо, подыскивал план. Он сел на край стула, опершись об угол стола, в позе, обличавшей готовность воспользоваться благоприятною минутой. Но черкес сидел против него на расстоянии комнаты, зоркий, чуткий и напряженный. Тогда Чепурников посмотрел на меня умоляющим взглядом. Я понял: если б я быстро вскочил, то, пожалуй, мог бы схватить черкеса сзади. Во всяком случае, я мог бы всяким своим движением произвести опасную для осажденного диверсию, которую Чепурников не преминул бы воспользоваться.

Чтобы выяснить свою роль, я слегка шевельнулся. Черкес вздрогнул, взглянул на меня через плечо, и его внимание, видимо, раздвоилось между мной и Чепурниковым. Но я заложил руки за голову, приняв позу наблюдателя. Чепурников с очевидною горестью убедился, что я бесповоротно занял нейтральное положение.

Черкес поправился на стуле и спросил насмешливо, обращаясь прямо к Чепурникову:

— Далече едешь?

— До Якутска. А вы?

— Мы не далече.

— А откуда, дозвоьте, к примеру, узнать?

— Мы? Из Олекмы.

— Та-ак. А как там насчет, например, пути. По Лене на санях ездют ли?

— А как же... Очень ездют. Мы и сам до Качуг в своем возке ехал. Мы думал — всюду санной дорога. А здесь нет санной дорога. Знал бы, не ехал бы. Плохо. А ты слушай, друг! — обратился он к писарю. — Ты пиши резво. Лошади готовы, у тебэ не готово...

— Ох-хо-хо-о! — потянулся Чепурников с какою-то неестественною беспечною. — Пойти и нам собираться. Ну-ко, Пушных, пойдём-ко-те, что я вам скажу.

Пушных посмотрел на товарища с удивлением. Очевидно, его еще не посвятили в дело. Чепурников двинулся было к дверям, но черкес, вдруг выпрямившись, точно стальная пружина, слегка отодвинул его локтем, и от этого движения юркая небольшая фигурка унтер-офицера очутилась в углу у перегородки, а черкес стал рядом. Все это было сделано так легко и незаметно, что когда он сказал Чепурникову: «Погоди, друг, вместе ходим», то эта фраза казалась действительно дружеским приглашением. Глаза Чепурникова забегали по всей фигуре черкеса, однако он остался у перегородки.

— Давай! — сказал черкес писарю, протягивая руку за подорожной.

— Не записано еще.

— Давай говорю! После кончаешь!

Он быстро взял со стола бумагу. Я невольно залюбовался им: его лицо было теперь повелительно и строго, а движения напоминали красивые и грозные повадки тигра. Теперь все здесь уже понимали друг друга, за исключением, конечно, одного Пушных. Черкес был в комнате один, и в случае свалки против него были бы трое: грузный унтер-офицер, без сомнения, принял бы немедленно участие в битве. Успех легко мог склониться на сторону нападающих, но первый шаг был самый страшный...

— Теперь хочешь, так ходим вместе, — сказал черкес Чепурникову. — Погоди! Хочешь у меня возок покупать — покупай.

Чепурников быстро согласился, видимо обрадованный новой проволочкою.

— Где он у тебя?

— В Качуге, записку тебе даю. Знакомому человек...

— Дорого продаешь?

— Тридцать рубля. Кожаный верх. Пятьдесят стоит. Бери!

Торгуясь, черкес кидал жадные взгляды на чайник. Он ехал без остановок и здесь, быть может, рассчитывал отдохнуть и напиться чаю. С последними словами он быстро подошел к столу, налил стакан из остывшего чайника и, повернувшись спиной ко мне и Пушных, жадно выпил холодный чай одним глотком, не спуская глаз с жандарма. Глаза Чепурникова сверкали, лицо было красно и потно. Он готов был кинуться на черкеса, но упустил удобное мгновение. Когда он рванулся к столу, черкес уже стоял в небрежной позе, с рукой у пояса.

— Давай, что ли, записку, — сказал Чепурников глухо, чтобы чем-нибудь объяснить свое порывистое движение.

Черкес вынул записную книжечку, набросал в ней несколько слов и вырвал листок: все это он сделал одною рукой, стоя у стола и не теряя из виду покупателя. Его брови были сдвинуты, сухое лицо побледнело. Видно было, что напряжение этих минут не проходит ему даром. Чепурников был взволнован еще сильнее.

— Бери! — кинул черкес записку. — Деньги отдашь в Качуге.

— Хорошо.

— Идем вместе!

Они вышли рядом, плечо к плечу. Черкес шел легко, как кошка, слегка приподымаясь на носках, стройный, гибкий и напряженный. Чепурников рядом с ним казался маленьким и

неуклюжим, но во всей фигуре унтер-офицера виднелись упрямство и злая решимость.

Гаврилов, с расширенными зрачками и почти задыхающийся, кинулся к Пушным и начал его тормошить.

— Что ж вы сидите? Эх, вы! А еще унтер-офицер. Ступайте живее!

Пушных поднялся и покорно, вяло пошел из комнаты.

Я тоже накинул пальто, надел валенки и выбежал на крыльцо.

Метель стихла, но снег шел густо, и тройка лошадей у крыльца виднелась точно сквозь сетку. Ямщик только что взобрался на козлы. В открытой перекладной сидела какая-то темная фигура. Еще две фигуры подошли к повозке.

— Ну, прощай, друг. Езжай сам здоров! — сказал черкес, и в голосе таежного коршуна послышалась насмешка.

— Прощай, — глухо отвечал Чепурников.

Я видел, как они подали друг другу руки.

— Прощай, но... прощай! — повторил черкес, и, при вторичном прощании, в голосе пробилося уже беспокойство: унтер-офицер не выпускал его руки из своей.

— Играешь, что ли?.. Смотри, не надо! — резко проронил черкес, и затем несколько сухих звуков на непонятном языке полетели в повозку.

В глубине крытого возка послышалось движение.

— Иг-раю, — еще глуше и с усилием ответил Чепурников, точно у него сдавило горло. — Давай, послушай... поборемся... кто сильнее? право, ей-богу...

Я понимал настроение Чепурникова. Он не решался кинуться один на опасного противника, но и не в силах был глядеть равнодушно, как он сядет и уедет, увозя с собой все только что расцветшие надежды...

Началась возня... несколько коротких секунд... Чепурников упал на землю, а черкес вскочил в повозку.

— Пшо-о-ол! — крикнул он дико и пронзительно. Испуганные лошади взяли с места, телега захрохотала по колеям и исчезла в снежном сумраке, только несколько раз еще донеслись до нас из темноты взвизгивания черкеса: пшо-о-ол, пшо-о-ол!.. Казалось, это были крики возбужденного, опьяневшего человека.

Мы кинулись к Чепурникову.

— Что с вами? — спросил я у него.

— Ничего, ничего... Ка-ак он меня толкнул, дьявол, — сказал он, подымаясь, — и понять не могу!.. Ну и вы все... Не могли его сзади тогда... Эх!

Он говорил трудно, точно что-то сдавливало его горло.

Из ямщицкой выбегали ямщики, которых позвал Гаврилов, но было уже поздно: удаляющийся звон колокольчика слышался как-то тупо, приглушаемый густо падавшим снегом, только дикие взвизгивания черкеса прорезали еще несколько раз ночной воздух, точно резкие крики ночной птицы.

Эти звуки, полные дикого возбуждения, надолго остались у меня в памяти, и впоследствии не раз, когда я с стесненным сердцем смотрел на угрюмые приленские виды, на этот горизонт, охваченный горами, по крутым склонам которых теснятся леса, торчат скалы и туманы выползают из ущелий, — мне всегда казалось, что этот дикий крик хищника носится в воздухе над печальной и мрачной страной.

— Фью-ю-ю! — свистнул Гаврилов и махнул рукой. — Теперь катит-заливается — до Иркутского никто уж не остановит. А там...

— Да хоть и остановил бы, нам какой барыш!..

— Нет, не остановят. Никто и не знает. Кончен бал! Эх, господа, служба-а! — прибавил он с глубокой укоризной, и его черные глаза долго не могли оторваться от снежной мглы, в которой вместе со звуками колокольчика утопали недавние его мечты о женитьбе и о спокойной жизни. V

Повозка, проданная нам черкесом, несколько утешила Чепурникова. Это был превосходный возок, крытый кожей, просторный и даже со стеклянными дверцами... Черкес, продав его за тридцать рублей, заплатил нам дорожную цену за один стакан холодного чаю.

На следующую же ночь, выехав из Качуга, мы могли улечься довольно удобно втроем, а так как по Лене действительно установилась уже санная дорога, то мы не тряслись по ухабам и не особенно страдали от беспечного эгоизма Пушных.

Для одного Чепурникова возок имел особого рода неудобство. Он слишком растревлял его воспоминание о неудаче и не позволял ему думать ни о чем другом.

Следующею же ночью я крепко заснул под скрип полозьев, как вдруг меня разбудила странная возня. С трудом высвободившись из-под барахтавшихся в возке моих провожатых и прижавшись в угол, я зажег спичку. Чепурников пыхтел и отчаянно тормозил Пушных, который, по обыкновению, только мычал, не давая себе отчета в том, что с ним происходит.

— Что вы делаете, Чепурников, — окликнул я, хватая унтер-офицера за руку. Но он уже очнулся.

— С нами крестная сила!.. — сказал он, крестясь и с изумлением взглядывая на товарища.

Спичка погасла. Чепурников сел на свое место.

— Фу-ты, наваждение! — сказал он сконфуженно.

— Ты это... как можешь драться, а? — спросил Пушных несколько гнусавым и обиженным голосом.

— А ну вас! Все этот черкес — даже во сне снится, проклятый...

Но, помолчав с минуту, Чепурников вдруг прибавил со злостью:

— А вы думаете, я вам из экономии-то дам сколько-нибудь? Ничего не дам, вот! Будь у меня настоящий товарищ, мы бы теперь оба людьми стали.

Утром, уже подъезжая к станции, я проснулся опять. Чепурников не спал и глядел в окно возка, которое он опустил до половины. Увидев, что я открыл глаза, он сказал, по-видимому выражая вслух продолжение своих мыслей:

— Нет! Невозможно было. Это надо жизни своей решиться... Бог с ним и с капиталом... Подошел я тогда к повозке, а там у него баба сидит на рундучке. Поверите, и у той

револьверы да кинжалы, вся, как пушка, иззаряжена... Глядит оттуда, точно сова... Ну и народец!..

Я выглянул наружу. Снег продолжал валить хлопьями, в воздухе белело. За горами занималась уже, вероятно, заря, но сюда, в глубокую теснину, свет чуть-чуть преломился, и темнота становилась молочной. Возок покачивался, ныряя в этом снежном море, и трудно было бы представить себе, что мы действительно подвигаемся вперед, если бы сквозь мглу не проступали призрачные вершины высокого берегового хребта, тихо уплывавшего назад и развертывавшего перед глазами все новые и новые очертания...

А снег все валил, покрывая землю, и на сердце все больше налегала тоска. Ряды невеселых мыслей развертывались в воображении, как ряды этих сумрачных сопок...

1888

Искушение

Страничка из прошлого I

15 августа 1881 года около шести часов вечера меня «доставили» в Тобольск. Красивый полицмейстер в папахе сибирского казачьего войска выехал из своих ворот, когда увидел нашу тройку. Он быстро соскочил со своей пролетки, подошел к нам, поговорил с жандармами, потом подошел ко мне, взгляделся в лицо и сказал:

— Неужели... Господин N... Ай-ай-ай! А помните, что я вам говорил год назад?

Год назад, в период лорис-меликовской «диктатуры сердца», начиналось, как мы тогда говорили, «веяние на запад». Из большой партии политических ссыльных восемь человек возвращены были с дороги обратно в Россию. Я был в числе этих первых ласточек.

Меня возвращали из Томска под надзор полиции в Европейскую Россию...

Тогда-то я и познакомился с красивым полицмейстером. Сначала у нашей маленькой партии вышла с ним ссора, так как нас хотели рассадить по одиночкам. У нас же были женщины и дети. Одна из них, г-жа М., мать грудного ребенка, сама не могла его кормить (она была очень болезненна), и В.П. Рогачева кормила своего и чужого. Рассадить их по одиночкам значило бы убить одного из этих младенцев.

Полицмейстер после моих сравнительно спокойных объяснений понял это, а сообразив вдобавок, что мы не подследственные и не высылаемые, а, наоборот, «возвращаемые», он и совсем махнул рукой. Женщинам нашли большую камеру, меня с спутником отвели в «подследственное». Не злой и не глупый по натуре, тобольский полицмейстер был, в сущности, благодарен мне за спокойное разъяснение положения, которое помешало ему сделать бесполезную и ненужную жестокость. Поэтому, провожая нас, он пожал мне руку и сказал:

— Ну, желаю всего хорошего. Знаете что? Я служу уже немало лет и не видал еще, чтобы люди, которых везли как политических в Сибирь, возвращались обратно.

— Бывало, господин полицмейстер.

— Знаю, да я не видал. Но вот чего уж наверное не бывало: чтобы попавшие вторично когда-нибудь опять возвращались. Итак, не говорю «до свиданья». Искренно желаю более вас здесь не видеть.

Я поблагодарил, и мы весело двинулись из Тобольска «на запад» — в Европу!..

После этого прошло около года. Я жил это время в Перми и успел написать очерк, где были изображены ужасные порядки тобольской тюрьмы.

Вслед за тем произошло событие 1 марта. Началось опять «веяние» — с запада на восток, которое прихватило меня с собой...

Одиннадцатого августа мои пермские товарищи и сослуживцы прощались со мною на дебаркадере. Я кланялся из уходящего вагона, сидя меж двух жандармов, а мне махали платками...

Поднялся какой-то шум, кого-то оттесняли, кого-то вели для составления протокола... Что-то туманило мне глаза, и суровые виды Урала, ель, сосна и камень неслись мимо быстро улетающего поезда... А пятнадцатого августа, как уже сказано выше, красивый тобольский полицмейстер качал головою и говорил мне укоризненно:

— Ай-ай-ай! Господин N. Ну, теперь уже кончено! Говорил я вам, не послушались! Не видать вам теперь России, так и знайте! Женитесь здесь, обзаводитесь хозяйством и считайте себя сибиряком... Кончено.

Бедняга, очевидно, был плохой пророк. Через три года я еще раз ехал «на запад», но тобольский полицмейстер не был уже тобольским полицмейстером. Он был человек веселый, с эпикурейскими взглядами на жизнь, и как-то проштрафился столь серьезно, что даже сибирская Фемида не могла остаться слепой: красивый полицмейстер попал под суд и сам сидел в тобольском «замке»...

Но все это случилось после, а пока продолжаю рассказ.

Погрозив мне, в сущности, довольно весело, он опять вскочил на свою пролетку и приказал ямщику: «За мной!»

Наша тройка вихрем помчалась за его мохнатой папахой, обращая на себя внимание редких прохожих сибирского города, к губернаторскому дому.

Свидание с его превосходительством было коротко. Губернатором в то время был Лысогорский, прославившийся впоследствии суровостью своего режима по отношению к ссыльным. Меня он почему-то принял любезно, согласился исполнить мои маленькие просьбы относительно писем и телеграмм к родным, потом пошептался о чем-то с полицмейстером, то и дело поглядывая в мою сторону, как мне показалось, многозначительными взглядами... Наконец он сказал с благодушным видом:

— Ну-с, а теперь в тюремный замок.

И мы опять помчались за казацкой папахой.

В конторе тюрьмы я увидел знакомое лицо «его благородия» тюремного смотрителя, жестокости которого я описал в своем очерке. Он тоже сразу узнал меня, и на его сухом, еще не старом, но несколько мрачном лице с деревянно-неподвижными чертами промелькнуло загадочное выражение. Полицмейстер распорядился, чтобы у меня не отнимали моих вещей и оставили в собственном платье, шепнув еще два-три слова смотрителю, лицо которого при этом оставалось все так же неподвижно, а затем приветливо кивнул мне головой и уехал.

Я с невольной грустью проводил его глазами.

Мне было приятно его красивое, беспечное, незлое лицо среди этой мрачной обстановки... Я вспомнил свое «возвращение» год назад, вспомнил друзей и товарищей, с которыми тогда

ехал, и почувствовал еще острее свое одиночество...

— В военно-каторжную, — сказал смотритель надзирателям, окончательно «приняв меня» у жандармов.

— Как, в военно-каторжную? — удивился я. — Ведь я не военный и не каторжный, даже не осужденный. Я только пересылаюсь административным порядком.

Смотритель не ответил ничего, а двое служителей уже взяли мои вещи. Я увидел, что здесь никто не расположен обсуждать со мной этот вопрос, и последовал за надзирателями.

Мы вышли из конторы в ворота, потом прошли небольшой двор и остановились у запертых ворот другого. Мой провожатый приложил лицо к оконцу в воротах и крикнул дежурного. За воротами послышалось звяканье связки ключей, потом калитка отворилась и опять захлопнулась за нами. Теперь трое крепко запертых ворот с тремя огромными висячими замками отделяли меня от вольного божьего мира.

Двор, в который мы вошли, был узок. С левой стороны бревенчатый сарай цейхгауза примыкал к высокой тюремной стене, с правой тянулся одноэтажный корпус, с рядом небольших решетчатых окон, прямо — глухая стена тюремной швальни, без окон и дверей. Сзади ворота, в середине будка, у будки часовой с ружьем, над двором туманные сумерки.

В этом тесном пространстве, наверное, гуляли весь день военно-каторжные арестанты, но теперь их угнали, может быть, потому, что уже приближалось время поверки, а может быть, в честь моего прибытия. Пока я шел в своем черном пальто и шляпе, столь необычных в этом месте, на меня из каждого окна смотрело по паре внимательных глаз. Одиночные арестанты изучали нового пришельца, держась руками за решетки и прильнув бритыми головами к отверстиям... Их бледные, тюремные лица выделялись в темноте окон резко и странно. Для военно-каторжного отделения мое появление было целым событием.

Мои провожатые прошли весь дворик. Входная дверь была в конце. Вступая в нее, я ждал увидеть длинный коридор и уже предвкушал интересные минуты первого знакомства с моими будущими соседями. Вот, казалось мне, захлопнется дверь коридора, провожатые уйдут, я подойду к своей двери с круглым глазком и прислушаюсь. И наверное, услышу какое-нибудь приветствие или вопрос:

— Эй, политический, хочешь сигарку?

А затем пойдет в ход изумительная по изобретательности и ухищрениям тюремная почта, и не одно, быть может, доброе движение души, не один задушевный рассказ из-за запертой двери вновь скрасят мое пребывание в этой тюрьме, как это бывало не однажды... И еще раз я повторю себе старую истину, что люди — всюду люди, даже и за стенами военно-каторжной тюрьмы. II

Мне, однако, пришлось горько разочароваться. Пройдя узкий входной коридорчик, мои провожатые повернули не направо, как я ожидал, в общий коридор военно-каторжного корпуса, а налево. Мы очутились в маленькой конурке с кроватью и с сильным жилым запахом, не похожей, однако, на тюремную камеру. Дело объяснилось, когда ключник отпер еще одну дверь, и меня пригласили войти в открывшуюся «одиночку».

Теперь я понял! Мне как заключенному придают особенную важность: я буду отрешен от всего, даже от тюремного мира. Меня запрут здесь, а в первой комнатке всегда будет находиться сторож, чтобы мешать всякому сообщению со мной арестантов. Итак, к трем воротам, отделявшим меня от вольного света, присоединились еще трое дверей, которые должны были отделить меня даже от мира тюремного.

— Ну, пожалуйста, — сказал мне один из тюремщиков, увидя, что я не решаюсь переступить порог камеры. А другой прибавил грубо:

— Ступай, ступай, нечего!

— Нечего, — сказал и дежурный унтер-офицер, начальник нашего караула.

Что-то поднялось во мне неопределенное, но тяжелое. Это было сожаление к себе, точно к кому-то другому, но такое острое и жгучее, соединенное с таким сознанием несправедливости и насилия, что я был готов кричать, ругаться, сопротивляться. Но это было именно только мгновение. Темперамент у меня несколько иронический и спокойный, и, кроме того, во многих подобных случаях меня спасало любопытство. Если я окажу сопротивление караулу, — я знал, что буду избит, может быть, изувечен, может быть, умру в тюремной больнице, и мои родные будут извещены, что я умер от тифа. В этом будет, пожалуй, убежден искренно даже и сам его превосходительство г. губернатор Лысогорский и только разве красивый полицмейстер сомнительно покачает головой. А впрочем, ему какое дело... Ну, а если я войду в назначенную для меня камеру, то еще не знаю наверно, что будет дальше.

И я вошел и слышал, как последний замок щелкнул за мной с металлическим, довольно музыкальным звоном, который я до сих пор слышу в памяти, точно это было вчера. Потом еще хлопнула дверь, и я остался один.

Моя камера имела три с половиной шага в ширину и шесть в длину. Потолок у нее был сводом, стены выбелены известкой. Но так как от ветхости с них, очевидно, много раз отваливалась штукатурка и белили их по образовавшимся неровностям, то все они были как-то пестры и грязны, на неровностях и выступях сидела траурными темными каемками густая пыль. У задней стены стояла круглая печка, у двери в стене было проделано отверстие, закрываемое железной заслонкой. Сюда подавали заключенному пищу и воду (очевидно из этого, подумал я, что ключи от двери хранятся не у моего сторожа, а в конторе). Дрянная «парашка» — старое и ржавое железное ведро с крышкой — распространяла острый аммиачный запах, к которому я, однако, скоро притерпелся. Деревянная кровать и небольшой столик составляли всю меблировку.

Свету в камере было совсем мало. Правда, начинались сумерки, но все-таки на дворе еще было светло. Я подошел к окну, которое было довольно высоко, и убедился, что пространство против окна, выходящего во дворик и находившегося между крыльцом и глухой стеной швальни, было забрано высокими досками, позволявшими видеть только небольшой клочок неба.

Я скинул с себя пальто и, подойдя к этому окну, облокотился на стол, поднял лицо кверху и долго смотрел на клочок неба, прорезанный четырехугольными силуэтами высоко поднявшихся досок. Больше, правду сказать, мне и делать-то было нечего. А в этом клочке неба, светившем и мерцавшем ко мне сверху, тихо продвигались облака, лотом появился рог молодого месяца, который медленно проплыл в своей вышине, причем мне казалось, что он осторожно пробирается по ребрам моего дощатого забора. Он напоминал мне о широком и вольном божием свете, о полях и холмах, которые я видел так недавно, о том, что через несколько часов на него так же будут смотреть глаза дорогих и близких мне людей и, может быть, вспомнят обо мне. Но никто не угадает, что я теперь отделен от всего живого мира в этой странной келье, где даже клочок неба и месяц вижу, пожалуй, лишь по начальственному недосмотру...

Потом месяц стал углом на последнюю из досок, постоял на ней с полминуты и скрылся из моего тесного горизонта, оставив меня в моей конурке с сердцем, преисполненным тоской, разнеженностью от воспоминаний и сожалением о себе... К глазам в этой темноте подступали слезы. Мне хотелось кинуться на свою кровать, уткнуться лицом в подушку и,

пожалуй, заплакать, как я плакал когда-то ребенком.

Но я этого себе не позволил. Во все время моих скитаний по тюрьмам я старался строго держать себя в руках и никогда не позволял себе в заключении трех вещей: спать днем, валяться на кровати, когда не спишь, и затем — отдаваться этим порывам разнеженности, когда к ним соблазняло одиночество, тоска и порой расстроенные нервы.

И теперь я не поддался, даже не лег, и стал думать: что же, однако, значит это странное обращение со мной? И зачем меня посадили в эту клетку, явно назначенную для самого строгого, из ряда вон, заключения? Тысяча самых диких мыслей приходила мне в голову. Мне стало казаться, что я никогда уже не выйду отсюда: я вспоминал выражение лица Лысогорского и тихое перешептывание с полицмейстером, ласковое сожаление в красивых и беспечных глазах последнего, новый шепот его со зрителем и каменное лицо «его благородия». Потом вспоминался самый род моего исключительного преступления, которое, как мне сказал добряк губернатор в Перми, не предусмотрено кодексом обыкновенных наказаний, но и безнаказанным остаться не может. Потом пришло на память обстоятельство, которое вовсе не казалось странным в свое время: что этот добряк уехал из города накануне моей высылки, — и теперь я объяснил это побуждением Пилата, умывающего руки...

Все это было дико, мрачно, нелепо, но ведь положение мое тоже было и дико, и мрачно... Я посмотрел на крепко запертую дверь, на железную печку, на стены каменного мешка... Здесь можно погибнуть безвестно и навсегда... Потом пришло в голову, что если закрыть эту печку с угаром...

Вообще начинался какой-то странный кошмар... III

— Барин, возьмите свечку!

Отверстие в стене, вроде печной дверки, открылось; в него мелькнул свет, и протянулась рука с подсвечником. Камера осветилась, но не стала приветливой. Я взял свечу не торопясь. Мне хотелось заговорить с моим сторожем. Голос, которым он сказал эти слова, был грудной и приятный. В нем слышались простые ноты добродушного человека, и я тотчас же вспомнил, что это тот самый, который первый пригласил меня в келью деликатным «пожалуйте».

И, взяв свечу из руки, я сказал, наскоро придумавши предлог для продолжения разговора:

— Послушайте, я голоден.

— Ах, барин, — ответил невидимый сосед, — нынче вы уже не записаны, вам не полагается.

— В конторе мои деньги, нельзя ли сходить купить чего-нибудь.

— И, барин, невозможно! Здесь строго. Кабы в общей или в подследственной, а здесь ведь военно-каторжная.

Он говорил тихо, как будто боялся, что наш разговор кто-нибудь все-таки может услышать. Потом как-то нерешительно протянул руку, взялся за заслонку, чтобы закрыть ее, рука еще задержалась, как бы в нерешительности, и, наконец, он захлопнул дверку.

Тогда я сразу почувствовал, что я действительно очень голоден. С утра я напился только чаю, рассчитывая, что мы приедем еще рано в Тобольск. Я думал, что мы только явимся к полицмейстеру и тотчас же поскачем дальше. Остановка в этом мешке совсем не входила в мои расчеты. Теперь, несмотря на волнения этой неожиданности, голод вступил в свои права. Я поставил свечку на уступе железной печки и разложил свою постель на кровати. Потом опять сел, попробовал было взглянуть в окно, но клочок неба был темен, а доски подошли совсем близко, освещенные желтым огнем из моего окна. Я отвернулся и стал

оглядывать стены. Заслонка опять тихо отворилась. Я подошел к ней. Рука протянулась, и сторож просунул деревянную чашку, в которой было немного щей, и кусок хлеба.

— Не побрезгуете, может, — сказал он с радушием простого человека.

Я немного колебался.

— Не побрезгуйте, — повторил он.

— А сами вы? — сказал я нерешительно.

— Мне что. Я обедал. А вам с дороги.

Это была правда. Я победил в себе легкий протест против этой подачи тюремщика, в лице которого видел теперь простого, доброго и деликатного человека. Я взял чашку и хлеб... Через четверть часа он заглянул в круглое отверстие двери и сказал:

— Кончили, господин?

— Кончил, спасибо.

— Пожалуйста чашку. А то скоро поверка будет. Смотритель увидит у вас мою чашку. Неловко.

Добрый человек, очевидно, опасался обнаружить перед «его благородием» излишнее по отношению ко мне добросердечие.

Действительно, вскоре в мою конурку проник заглушенный стенами рокот барабана, и через четверть часа в комнате сторожа столпились звуки шагов, голоса, звяканье шпор и стук прикладов. Моя дверь быстро отворилась, и все эти звуки хлынули в мою одиночку. Несмотря на привычку, трудно преодолеть некоторое смущение, когда дверь отворяется и десяток незнакомых людей смотрят на вас лишь затем, чтобы смотреть. Впереди стоял офицер, еще молодой и потому тоже несколько смущенный. Рядом виднелось каменное лицо «его благородия». Последний окинул опять мою конурку, меня и мои вещи загадочным взглядом, в котором я прочитал что-то вроде внутреннего удовлетворения. «Его благородие» находил, по-видимому, что все идет совсем хорошо.

— Тридцать четыре! — прочитал офицер по списку.

Фельдфебель ответил: «Есть!» — и дверь опять захлопнулась.

Я чувствовал себя усталым, не спал от самого Екатеринбурга, где в то время кончался железнодорожный путь, или спал только в почтовой телеге. Поэтому я позволил себе лечь раньше обыкновенного.

Эпизод с чашкой и присутствие за стеной добродушного человека разогнали пока мои мрачные мысли. Я лег и заснул вскоре крепким и беззаботным сном. IV

Наутро, проснувшись довольно рано, я быстро оделся, умылся из кружки над «парашкой» и стал оглядывать свое жилище...

Прежде всего мне бросилось в глаза на стене большое пятно, продолговатое, точно написанная строчка. Подойдя ближе, я увидел, что это была действительно надпись, глубоко врезанная гвоздем в стену и после тщательно сцарапанная скребком. Очевидно, это была фамилия моего предшественника, прежнего жильца этой камеры. Казалось, разобрать ее было совершенно невозможно. Я подумал, что мне может разрешить этот вопрос мой сторож, и потому, тотчас после поверки, постучал в дверку.

— Послушайте, — сказал я.

— Чего тебе? — ответил грубый голос.

Я с грустью убедился, что у меня сменили сторожа. Это был теперь тот из двух моих вчерашних провожатых, который первый назвал меня на «ты» и грубо требовал, чтобы я вошел в камеру.

— Во-первых, незачем «тыкаться», — сказал я, по возможности спокойно.

— Поговори у меня!

Я отошел от двери.

Нет таких иероглифов, которых нельзя было бы разобрать, сидя в одиночке. Я по десяти раз подходил к затертой надписи и простаивал перед ней по получасу. Она интересовала меня тем более, что, кроме нее, нигде на стенах камеры не было написано ни одного словечка, тогда как обыкновенно стены всех камер исписаны кругом. Кусок карандаша, а то уголек, гвоздь или обожженный конец спички служат орудиями этой стенной тюремной литературы. «Здесь еврей N страдал без вины», — такова была первая надпись этого рода, которую я прочитал во время первого же моего ареста в полицейском участке. Затем утомительный ряд черточек на стене отмечал день за днем бесконечную вереницу этих дней, проведенных страдавшим без вины евреем. Помню, я насчитал их тогда семьдесят две, и мне казалось совершенно невыносимым, чтобы меня, именно меня, Владимира Короленко, ни в чем не обвиняемого, могли продержать дольше этого срока. Потом и я начал ставить свои черточки, и — увы! — если сосчитать все число дней, которое я провел, как и этот неведомый страдалец, в четырех безмолвных стенах, то их оказалось бы во много раз больше!

Обыкновенно к этим начертаниям начальство относится довольно терпимо. В пересыльных тюрьмах Сибири стены сплошь исписаны этими обращениями к будущим жильцам камер. «Скажите, братцы, Дуньке Полтавской, станет ее Никифор поджидать в Ачинске». «Братцы, Иван Семенов из Тюмени — изменник общества». «Прошел в сентябре месяце Павел Гаркушин на каторгу. Кланяюсь землякам». И т. д., и т. д. Порой лирическое излияние, в прозаической или стихотворной форме, разнообразит эти своего рода публикации, вызванные желанием оставить где-нибудь слух о своей горькой жизни или передать деловое сообщение.

В моей камере все эти надписи были тщательно затерты, и по ним еще побелили известкой. Оставалась одна в виде широкого, длинного углубления, врезанная слишком глубоко для того, чтобы можно было ее уничтожить бесследно.

Исследуя ее, я заметил, во-первых, что рытвина разделялась на две части. Вторая часть была короче. Очевидно, фамилия состояла из меньшего числа букв, чем имя. Имя говорило мне мало, фамилия могла быть все-таки известна...

И я тщательно занялся фамилией.

Она, очевидно, начиналась с кружка и кружком кончалась. Следы округленных букв остались довольно заметны. Я сосчитал затем число углублений, соответствовавших буквам, и после многих соображений пришел к заключению, что их было шесть. Тогда, принимая, что первая буква могла быть Ф, а последняя Ъ, внезапно был осенен догадкой, вскоре принявшей форму полной уверенности.

Да, несомненно, я был в камере Фомина. V

Почти год назад, с двадцать пятого августа, как уже было сказано выше, я провел несколько

дней в той же тобольской тюрьме, только в другом ее отделении. Однажды к моей двери подошел арестант, по фамилии, кажется, Ефремов, и передал мне записку, написанную на обрывке серой бумаги. Из нее я узнал, что в тобольской тюрьме, в военно-каторжном ее отделении, сидит уже третий год в строжайшем одиночном заключении политический осужденный, «именующий себя Фоминым».

История его была еще свежа у всех в памяти. После так называемого большого процесса (1877–1878 гг.) осужденных Ковалика и Войнаральского, видных деятелей мирного периода революционной борьбы, перевозили из Петербурга для заключения в Белгородскую харьковскую центральную тюрьму. В это время среди белого дня, на шоссе, на виду у косцов и жниц, работавших в поле, на почтовую тройку, в которой сидел Войнаральский и два жандарма, напали двое верховых, которые выстрелом из револьвера убили одного из провожатых и долго гнались за убегавшей по шоссе тройкой. Боязнь ранить арестанта мешала нападающим стрелять, а быстрота лошадей — догнать их. Вскоре они отстали, и уцелевший жандарм с убитым товарищем и с арестованным Войнаральским поехали дальше. Они уже были близко от места назначения, когда с проселочной дороги на шоссе выехал еще один всадник и поехал навстречу. Жандарм приготовил револьвер в полном убеждении, что это запоздавший сообщник. Всадник проехал мимо.

Впоследствии в арестованном на вокзале молодом человеке жандарм признал этого последнего всадника, а дальнейшие розыски доказали, что этот молодой человек, «именующий себя Фоминым», — один из деятельных участников революционных кружков, что его самого пытались освободить в Одессе, во время процесса Ковальского, и что после этого он все-таки бежал из киевской тюрьмы. Побег был совершен с необыкновенной находчивостью и незаурядною смелостью. Боясь новых попыток освобождения, его после приговора увезли из России с такими предосторожностями, что долго никто не знал, куда его девали. Теперь в своей записке он сообщил мне, что его везли под номером, что даже жандармы не знали его фамилии, что его сопровождал целый отряд из пяти жандармов, причем от участка до участка с ними скакали заранее предупрежденные заседатели, а на этапах, где происходили иногда остановки, «сбивали народ» и всю ночь жгли кругом костры.

Вся эта странная история показалась мне сначала несколько подозрительной: в тюрьмах очень много охотников рассказывать подобные вещи проезжающим политическим ссыльным, чтобы выманить деньги. Однако я ответил, и между нами завязалась переписка. Почтальоном служил арестант, подававший Фомину пищу.

Как ни строго было заключение, долгая практика всегда укажет известные бреши, — и порой арестант мог перемолвиться с Фоминым словом или передать записочку. Это меня не удивило.

В одной из записок Фомин сообщал, что он сидит в своей конурке третий год безвыходно. Его не пускают гулять, даже не водят в баню. Раз в месяц вносят в камеру большую ванну, и он моется в присутствии сторожа и смотрителя. При этом у «его благородия» хватало совести насмеяться над заключенным, который — «ишь ты, моется в ванне, как барин».

Единственным развлечением Фомина было приготовление фигурок и игрушек из мятого хлеба, искусство, которое на моей памяти процветало среди заключенных за восстание поляков. Мой родной город, Житомир, был тогда переполнен этими изделиями, так как покупка их была легальной формой помощи арестантам.

Фомин изловчился сделать глобус и подарил его ребенку смотрителя. Тогда смотритель позволил ему продолжать ремесло, и Фомин сделал уже весь планетарий, для чего пользовался проволокой из оконной решетки. Смотритель и на это посмотрел благосклонно, так как он стал продавать эти изделия на сторону, платя Фомину по рублю. Сколько он сам получал — оставалось неизвестным.

Понемногу я переслал Фомину бумаги, конвертов, десять рублей, тщательно заделанных в конец копченой колбасы, и, наконец, несколько стальных перьев, кисть и кусок туши, которая всегда бывала со мною (очень удобно хранится и служит вместо чернил).

Особенные сомнения внушали мне деньги, так как арестант-посредник едва ли бы удержался от искушения. В тот же день, когда я послал их, к нашей двери явился высокий молодой арестант, назвавший себя тюремным старостой. Это был человек располагающей наружности и державший себя вполне независимо.

Он спросил у меня, не пересылал ли я Фомину денег, и предупредил, что Ефремов человек ненадежный. «Общество» ему не доверяет, и староста боится, что он украдет деньги, назначенные Фомину. Я, конечно, не имел тогда оснований особенно доверять и этому своему собеседнику, который легко мог быть подослан не «обществом», охранявшим интересы одиночного узника, а смотрителем. Поэтому я холодно ответил, что это дело мое, и мы расстались не особенно дружелюбно.

На следующий день я получил через Ефремова записку, написанную, как и предыдущие, очень простым шифром. Деньги и все остальное дошли по назначению. Тем не менее, забегаая вперед описываемых событий, я должен сказать, что теперь я с чувством уважения и благодарности вспоминаю о старосте и о честном предостережении со стороны тюремного общества.

В сентябре того же года, которым начинается настоящий рассказ, то есть через год с небольшим после моей переписки с Фоминым, я был в Томске. Там меня посадили в общую камеру в так называемой «содержащей» (тюрьма, назначенная для приговоренных на сроки к тюремному заключению). Оказалось, что Ефремов был в это время там; он уже кончил свой срок и пересылался на поселение, но его держали особо от пересылочных, так как над ним тяготела гроза тюремного общества. Оказалось, что Фомин написал письмо и дал Ефремову денег на подкуп сторожей, которые бросили письмо в почтовый ящик. В письме Фомин извещал товарищей о своем заключении и просил помощи. А так как на его имя всякие сношения были абсолютно невозможны, то для высылки денег он дал адрес Ефремова, который около этого времени оканчивал срок. Действительно, вскоре Ефремов получил семьдесят рублей от имени будто бы своих родных. «Общество» знало, кому назначены деньги, и потребовало, чтобы Ефремов честно передал их Фомину. Ефремов отлынивал и наконец вышел из тюрьмы для отправки на поселение. В это-то время я и встретил его в коридоре томской тюрьмы и не узнал, так как не видал его около года. Однако не мог не обратить внимания на то, что встречный арестант, с лицом, напоминавшим мне что-то, потупился и как-то сжался при встрече, точно виноватая собака. На следующий день в «содержащую» пришло из пересыльной сообщение о том, что Ефремов есть «изменник общества» и об его поступке с Фоминым... Его жестоко избили.

Целый день несчастный прятался под нарами в пустых камерах, а во время поверки кинулся в ноги смотрителю, прося, чтобы его перевели в секретную. Я стал просить арестантов, со своей стороны, чтобы они пощадили несчастного негодяя. Мне ответили, что в этой тюрьме жизни его не грозит опасность. Сидящие на сроки не решатся сделать «крышку», но бить его будут все время, как собаку, проходя и при всяком случае. Если же тут были бы каторжане, то никакая секретная не спасла бы изменника, так как Фомина, заключенного с такой строгостью в каторжной тюрьме, они, не зная лично, считали все-таки своим. VI

С тех пор как я посылал деньги и перья Фомину, прошел год. И вот сам я сижу почти в том же положении и, судя по всем признакам, в той же камере. Он писал мне, между прочим, что ему стоит величайших усилий хранить недозволенные предметы, так как еженедельно у него производят тщательные обыски.

Теперь я стал разыскивать его тайники. Я осмотрел стены, рамы и окна, всякую черточку на

железной печке, но ничего не находил подозрительного. Наконец я стал осматривать кровать. Она была деревянная, грубо окрашена темной краской. Исследуя каждый квадратный вершок, я заметил, что одно место спинки было слегка неровно и как будто немного чернее. Я попробовал мокрым пальцем: палец оказался черным, между тем как в остальных местах краска не отставала. Тогда я стал скоблить это место. Оказалось, что оно закрашено тушью поверх тонкого слоя мягкого хлеба. Я сорвал тоненькую пленочку и увидел, что под нею, с искусством, которое присуще или самому ловкому столяру, или одиночному арестанту, в кровати вырезано углубление не больше трех квадратных дюймов и около 1/2 дюйма в глубину, закрываемое тоненькой задвижной дощечкой. Чтобы нельзя было заметить щелочек, искусная рука прикрывала дощечку слоем хлеба, который после окраски тушью давал полную иллюзию цвета и неровной густоты масляной краски. С волнением человека, находящего признаки ближнего в пустыне, я открыл эту заслонку. В углублении лежала свернутая бумажка, два стальных пера и кусок туши.

Прежде всего я жадно развернул бумажку. Это было мое собственное письмо Фомину.

Год назад я был доволен и счастлив. Неожиданная и благоприятная перемена в моей судьбе, возвращение «на запад», милое общество случайно, но очень удачно собранных судьбою людей, в том числе несколько хороших женщин, — все это настраивало радостно. Помню, что я писал тогда в настроении счастливого человека, которому хочется передать частицу своего счастья другому. Я сообщал о нашем возвращении, о признаках новых веяний, толки о конституции, которыми ознаменованы были первые месяцы царствования Александра III... Помню, что ответ Фомина был полон горечи и сомнений.

И вот я теперь читал свое радостное письмо в той же камере...

Того, кому я писал, может быть, не было в живых. Я один, еду опять теми же местами неизвестно куда. А что, если здесь-то и есть конец моего пути? — внезапная и горькая, опять мелькнула во мне эта мысль. Что, если через некоторое время у меня отнимут мое платье, мои вещи, мою постель, все, что напоминает мне о воле, — и принесут сюда арестантский халат, может быть снятый с плеч моего умершего предшественника, и дни бесконечной вереницей потянутся надо мной, не трогая меня, ни в чем не меняя моего положения, как идут они над могилой, как шли над Фоминым? И мне раз в месяц станут вносить ванну, и те же неуклюжие шутки, которые слышал Фомин, «его благородие» станет отпускать теперь по моему адресу... Ведь, в самом деле, род моего преступления не предвиден законом...

Эта мысль привела меня в такое состояние, что я в первый еще раз кинулся на свою постель, уткнувшись лицом в подушку. Подушка оказалась жестка и колюча. Перестилая постель, чтобы посмотреть, нет ли надписей на досках, я вывернул наверх лежавшую на ней лепешку, набитую соломой, превратившейся отчасти в труху. Может быть, эта тюремная подушка лежала здесь с того времени, как Фомин выплакал на ней свои последние слезы. Я не отбросил ее. Эта мысль доставила мне теперь своего рода горькую отраду. Пусть... так лучше!.. Так я полнее отдавался теперь мрачному чувству, поднявшемуся из глубины сердца.

Среди этих ощущений спустились сумерки. Я не вставал, изредка только подымал голову от подушки. В камере стояла полутьма. Прежде я любил смотреть, закинув голову, на клочок вечернего неба, которое заглядывало ко мне светлым пятном. Теперь оно меня раздражало. Мне хотелось как можно полнее прислушаться к тишине моей сумрачной камеры, и, подымая голову, я нарочно отворачивался к двери, черневшей прямым четырехугольником. Около него и в углах было совсем темно. Черта разобранной надписи чуть-чуть виднелась на стене... И мне казалось, что здесь невидимо присутствует прежний жилец этой камеры. Когда я лежал лицом к его подушке, мне казалось, что он стоит надо мной и иронически качает головой с бледным лицом и воспаленными мрачными глазами. И мне слышался беззвучный шепот погибшего террориста...

— Мечтатели, слабые души, слепые... Что значат ваши средства перед силой, которая не считается ни с чем и последовательна в своих проявлениях? Нет, надо было принять десять присяг и, произнося слова клятвы, обдумывать средства мести за нас, погибших, и для освобождения живых...

Моя голова становилась тесна для этих жгучих мыслей, как тесна была эта каморка для всяких планов борьбы и мести. Я вскочил, присел на своей постели, охватил голову руками и пытался призвать к себе обычное самообладание.

В это время загремели опять запоры, опять сторожка наполнилась звоном сабель, шпор и ружей, опять распахнулась моя дверь. Мне показалось, что это решается моя судьба, что меня сейчас или уведут отсюда, или отнимут мои вещи и оставят здесь навсегда. Мне кажется, что в последнем случае я способен был в эту минуту на какое-нибудь безумство. Но я забыл — это была просто поверка.

— Тридцать четыре!

— Есть!

По какому-то внезапному, инстинктивному побуждению я вскочил со своей постели.

— Господин смотритель, — сказал я.

— Что еще?

— Я желаю видеть полицмейстера и прокурора.

— Это лишнее.

Офицер сказал что-то смотрителю, а тот опять обернулся.

— Что вам нужно?

— Я хочу принести жалобу. Меня, пересыльного, держат в каторжной одиночке. Вы не выпускаете меня гулять, я не могу написать письмо, я чувствую себя нездоровым.

Смотритель не ответил ничего; поверка ушла. VII

Однако на следующий день меня выпустили гулять.

Целый день по дворику ходили каторжане, порой слышался звон кандалов, порой, когда солнце светило прямо в мои доски перед окном, в щели между ними можно было видеть мелькающие тени. Когда же барабан отбивал свою дробь и тюрьму закутывали молчаливые сумерки, тюремная жизнь уходила в камеры. Тут до огня бродяги рассказывают о своих похождениях, порой молодой и надтреснутый голос говорит с тоской о своем «несчастье», о судьбе, о преступлении и как оно случилось. Порой циничный и удалой рассказ каторжника-убийцы резко звучит среди молчаливой камеры, редко одобряющей излишние откровенности.

В это время меня выпускали на полчаса. Ворота были тщательно запорты, солдат дремал у будки, поддаваясь тихому веянию сумерек, переполненных тенями, неуловимым шепотом, просачивавшимся будто сквозь стены тюрьмы, и отдаленным рокотанием колес в городе, за тюремной стеной. Я ходил взад и вперед, от глухой стены швальни до ворот, между цейхгаузом и корпусом каторжного отделения. Надо мной было небо, казавшееся мне теперь неизмеримо глубоким, а над воротами, невдалеке, на меня глядели окна с занавесками и цветами. Эти окна меня очень удивили. Потом я сообразил, что это, наверное, частная квартира смотрителя. В один вечер что-то замелькало между цветов. Вглядевшись в

неопределенный сумрак, я различил, однако, голову и лицо ребенка. Дитя смотрело, должно быть, на мою одинокую фигуру, невиданную и странную, в черном пальто и шляпе, в этом царстве серых халатов и военных мундиров.

Пока я гулял, мои сторожа должны были находиться тут же, во дворике. Таким образом, меня караулили двое. Сторож обыкновенно садился на толстый обрубок, вроде того, на каком мясники разрубает мясо. Этот обрубок стоял недалеко от ворот. Солдат стоял у середины узкого пространства. Таким образом, гуляя от ворот до швальни, я постоянно был у них на виду.

Впрочем, был небольшой уголок, прямо против входной двери в коридор, где я мог быть невидим для обоих. Цейхгауз, пристроенный к тюремной стене, был не во всю стену. Между ним и перпендикулярной стеной швальни оставался четырехугольник, на котором валялись кучи мусора и отбросов. Бревенчатая стена цейхгауза упиралась прямо в каменную ограду. Когда я подходил к этому концу двора, маленький пустырь оставался у меня на левой стороне. На него выходило мое окно, забранное досками (всякий раз, как я глядел на эти доски, мне становилось как-то жутко думать, что за ними мое жилье). Затем наше крылечко с тремя ступеньками. Его дверь была обыкновенно открыта, и в нее виднелся короткий, тупой коридорчик. В нем не было никогда ни души. Наконец, еще одно окно из ряда каторжных одиночек тоже выходило на пустырь. Остальные же находились против стены цейхгауза.

В первый день, когда меня выпустили, дежурил Гаврилов. Я знал уже этот тип тюремных надзирателей. Это люди серьезные, семейные, дорожащие службой и не склонные к подкупу. Я убежден, что Ефремов передавал Фомину записки не в его дежурство или, по крайней мере, без его ведома. Подкупать легче было другого. Но зато Гаврилов был доступен простым человеческим движениям души, не делал ничего лишнего для отягчения участи заключенного и рад был сделать все, что не ставило его в положение «отчаянного», легкомысленного, рискующего человека. Между прочим, он охотно вступал со мною в непродолжительные, правда, беседы; он интересовался, есть ли у меня жена и дети, прибавил, что у него их трое, что всех надо кормить. Потом спросил, есть ли отец и мать, и покачал при моем ответе головою. Он, видимо, был очень доволен, отворяя мне камеру и выпуская меня на прогулку. Сам он сел на обрубок и просидел на нем, подремывая, все время, пока я ходил, разминаясь, взад и вперед.

В один из этих моих рейсов, от ворот до стены швальни, я заметил, что в последнем окне мелькнуло лицо. Каторжник с обритой наполовину головой делал мне какие-то жесты. Я удивленно остановился, но он тотчас же скрылся за стеной камеры. Я понял: мне не следовало останавливаться, так как сторож или солдат могли заметить это, и потому я прошел мимо тем же размеренным шагом.

Подходя во второй раз к этому окну, я замедлил шаги и посмотрел искоса, не поворачивая головы. Арестант опять стоял у окна и махал руками, как птица.

Это опять продолжалось лишь несколько секунд. Зато почти минута оставалась на обсуждение таинственного сигнала. Что он хочет сказать? Неужто эти птичьи размахи означали намек на свободу, на вольный полет?

С этим вопросом в уме я опять поравнялся с окном. Мой таинственный собеседник сидел на подоконнике на корточках. Пока я миновал его и пока поворачивался назад, он все подымался во весь рост, хватая воздух руками, и всей белой фигурой, выделявшейся на темном фоне окна, изображал приемы человека, который карабкается кверху. Я опять кинул недоумелый взгляд, но затем пришел к безошибочному заключению, что таинственный собеседник, несомненно, намекает на возможность побега.

Я шел к окну в четвертый раз. Теперь каторжник стоял неподвижно и только протянутой

рукою указывал мне прямо на четырехугольник двора, за стеной цейхгауза. Затем он еще присел, поднялся, как будто делая прыжок, и взмахом обеих рук указал, что мне следует потом бежать вдоль тюремной стены направо. Я вспомнил, что тут крутые поросшие бурьяном пустынные обрывы горы ведут к реке Иртышу или Тоболу и что внизу раскинута прибрежная часть города, с трактирами и кабаками...

Теперь, пока я шел взад и вперед по двору, мое сердце усиленно билось, в висках стучало; я подошел к окну и тихо прошел мимо. Каторжник глядел вопросительно и ничего уже не показывал. Я уперся почти в стену швальни, плохо сознавая свое положение. Тут, поворачиваясь, я очутился прямо против досок, закрывающих окно моей камеры. Одна щель была расковыряна, и в нее на одно мгновение мелькнула часть моего окна. В камере мы оставили свет, который теперь освещал пустое пространство между стеной и досками. В этой освещенной пустоте было что-то жуткое.

Я круто повернулся и пошел за стенку цейхгауза.

Бревенчатая стена примыкала к каменной. Она была сложена из толстых лиственниц, а так как лиственница очень щелевата, то в каждом бревне были широкие щели, за которые легко было цепляться концами пальцев. Это была удивительная оплошность тюремной администрации, одна из тех, которые являются невольной в деле, идущем день за днем по заведенной рутине. Впрочем, может быть, администрация знала слабое место этого двора, и потому-то Фомина, известного беглеца, не выпускали вовсе. Каторжники гуляли днем, когда скрыться невысказано. И только я в эту минуту стоял лицом к лицу с начальственным недосмотром. Крыша цейхгауза не доходила вплоть до верхушки стены, но тут оставалось не более полутора аршин.

Очутившись вне взглядов моих сторожей, я быстро подошел к углу и стал карабкаться вверх. Помню, что в это время у меня не было определенного плана. Сердце билось, в висках стучало, в воображении рисовалась верхушка крыши и гребень стены, потом заплаканное лицо матери, доброе лицо Гаврилова и его трое детей. Совесть говорила мне ясно, что я не должен пользоваться его доверием, что было бы гораздо лучше, если бы этот случай представился в дежурство Иванова. Но я карабкался вверх, повторяя про себя: все равно, это невозможно... Это я только пробую...

Может быть, все эти разнообразные ощущения были причиной, мешавшей энергии моих усилий, или действительно препятствие было неодолимо, но только ноги скользили, пальцы тоже, подъем был труден и долог. Я соскочил с пятого бревна и тихонько пошел из-за угла. Когда я вышел, солдат и Гаврилов смотрели в мою сторону. Арестант тоже смотрел жадным взглядом, вытянув шею.

Весь этот вечер, в своей камере, я думал об этом случае и о своем положении. Помню, что это было во вторник. В среду обыкновенно проходил мимо Тобольска пароход с арестантской баржей. Запирая меня на ночь, Гаврилов тихо сказал мне, что «может, завтра вы уедете. Завтра провезут политическую партию».

Я вздохнул с облегчением и как-то радостно посмотрел на доброго человека... В эту ночь я открыл форточку и долго смотрел в ясный клочок неба. Вечером я написал письма, проникнутые бодростью и надеждой...

Утром я спал долго и не слышал поверки. Эта вольность позволялась мне в моей одиночке — в общих камерах все должны подниматься и выстраиваться при входе поверки. Первый звук, который я услышал, одеваясь, был долгий, гулкий, протяжный свисток, доносившийся с реки в мою открытую на ночь форточку...

Я быстро оделся, наскоро разболтал чай в полуостывшем кипятке, который был подан в отверстие, когда я спал, и стал ждать. Я знал, что баржа простоят несколько часов, так как с

нее спустят и на нее примут еще партию тобольских арестантов. Год назад я сам был на этой барже. Ее отвели тогда на середину реки, закрыли брезентами со стороны города, и мы, гуляя по палубе за решетками, старались приподнять брезенты и полюбоваться на красивый город с его крутой и высокою горой. Оттуда я видел впервые на вершухе горы и этот тюремный замок...

Эти воспоминания усилили мое нетерпение до степени лихорадки. Часы ползли медленно; я ходил по камере, кидался на кровать, опять вставал и бегал по своей клетке. Заслонка открылась, мне подали оттуда обед. Я не обратил внимания, кто подает его, взял, не говоря ни слова, миску, но есть не мог. Все равно, думал я, меня накормят товарищи на барже. И предвкушение скорой встречи, приветствий, расспросов, новых знакомств, может быть, встреч со старыми знакомыми, потом Красноярск, предстоящее свидание с сестрой и матерью, которые проехали туда год назад к сосланному одновременно с нами зятю, — все это промчалось в душе какой-то полурадостной, полумучительной бурей...

В таком настроении услышал я первый свисток парохода. Я заметался, еще раз осмотрел свои вещи, как человек, который боится опоздать к пароходу... Но моя дверь оставалась запертой.

Вскоре за первым послышался второй, потом третий свисток. Еще через четверть часа — прощальный гул пронесся вниз по реке и замер. Очевидно, пароход обогнул тобольскую гору и партия плыла дальше. Я видел в воображении, как раскрываются брезенты, молодые люди и девушки жадно глядят из-за решеток, как тихо уплывают берега, церкви, здания Тобольска. И может быть, им видна еще на горе стена моей тюрьмы. Тупое отчаяние, над которым глухо закипало бессильное бешенство, овладело моей душой...

Я лег на кровать кверху лицом и лежал, не двигаясь, заложив руки под голову. Помню очень хорошо, что я ни о чем не думал. В голове моей не было ни мыслей, ни представлений, ни образов. Это была тяжелая пустота.

И однако, странно: в этой пустоте как-то само собой созрело решение. Когда я поднялся со своей постели, оно было готово, и я начал действовать, как будто исполняя чьи-то распоряжения.

Прежде всего я принялся за простывший обед и съел почти все. Потом открыл чемодан и развязал узлы.

В одном из узлов у меня был чекмень, вроде казакина из легкой мерлушки, покрытой так называемой чертовой кожей. Это был подарок одного мало мне знакомого доброжелателя. Незадолго до моей высылки он приехал в Пермь, стараясь склонить меня на некоторые предприятия, от которых я, однако, решительно отказался. В те несколько часов, которые мне были оставлены от объявления о высылке до отхода поезда, ко мне приходили многие пермские знакомые, пришел и он. Отозвав меня в сторону, он подарил мне этот чекмень и сказал, что около воротника, на спине, есть карман, сделанный необыкновенно ловко, который можно вскрыть.

— Может быть, пригодится, — прибавил он. — А тогда мы опять увидимся и потолкуем о том, что я предлагал вам... Думаю, вы тогда будете сговорчивее...

Я поблагодарил и принял, улыбаясь, подарок. Я думал, что чекмень может пригодиться и без кармана на спине. Теперь я тотчас же распорол шов около воротника и вынул оттуда два серых полулиста бумаги. Один был «вид на жительство». В нем говорилось, что чернский, Тульской губ., мещанин Иван Иванов отпускается во все города Российской империи для сбора, по доверенности причта такой-то церкви, на возобновление сгоревшего в 1879 году храма. Другой удостоверял с приложением церковной печати и за подписью дрожащей руки какого-то благочинного, что я по усердию взялся сделать дело господне, к коему и

приглашаются усердные даятели. Я тщательно перечитал оба документа, рассмотрел подписи исправника, мещанского старосты и причта, потом критически исследовал печати. Они были оттиснуты довольно явственно, но не так, однако, чтобы возбудить подозрение излишней отчетливостью. Все было в порядке.

Потом я стал перебирать бумаги и письма. Это была переписка с матерью, сестрой, друзьями, с девушкой, которая впоследствии стала моей женой. Все это теперь нужно было уничтожить, чтобы эти имена не фигурировали в официальной переписке по моему делу. Я знал по опыту, что всякое самое простое упоминание фамилии — есть своего рода зараза. Имя упоминалось, значит — человек «замешан».

Когда я перечитал последнее письмо матери и поднес его к свечке, невольная слеза зашевелилась в глазах. Мне представился ясно этот новый удар моей матери, но что меня не остановило. Здесь или за стеной — я для нее уже не существую. Листок загорелся, и мне казалось, что вместе с последним язычком пламени исчезло все мое прошлое. С этих пор я становился фактически чернским мещанином Иваном Ивановым. Мой план был готов и полон.

Затем я вскрыл и несколько строчек, написанных на обертке удостоверения химическим способом. Здесь мой доброжелатель записал при помощи шифра несколько адресов в разных городах Сибири и Восточной России. Это были имена лиц, принимавших участие в подпольной организации так называемого «красного креста», имевшей целью способствовать побегам, впоследствии открытой правительством.

Заучив на память два тобольских и еще несколько адресов в других городах России, я смыл самую надпись. Если бы эти документы даже попались в руки тюремщиков, никому не пришло бы в голову, что здесь были еще надписи, которых совсем не видно. Потом я пересчитал бывшие со мною деньги, около сотни рублей, и привел все в прежний вид.

После поверки, в те четверть часа, которые еще оставались до прогулки, я наскоро переоделся в другое платье, надел под пальто чекмень, в котором никто не видел меня в тюрьме, спрятал в карман барашковую шапку, вид на жительство и, готовый к выходу, стал ожидать прогулки.

Сердце во мне теперь не билось, и думаю, что вид у меня был совершенно спокойный. А между тем где-то глубоко, глубоко, на дне души лежала тяжелая горечь и озлобление... Что сделал я, за что судьба вела меня этими незаметными, постепенными и неизбежными переходами к этой минуте...

По характеру, по всем склонностям, я, мечтатель и художник, склонный к мирным занятиям, к рефлексии и наблюдению, теперь я стою у порога новой и чуждой мне жизни. Это было в третий раз, но этот раз гораздо сильнее, чем оба предыдущие: судьба толкала меня на этот путь. Я сознавал ясно, что я, Владимир К-о, теперь начинаю умирать. Через час — я буду или действительно мертв, или вместо меня народится на свет мещанин Иван Иванов, существо скрытное, преследуемое, обозленное, которому предстоит двойная, странная жизнь, полная неведомых приключений и тайны. И я чувствовал, что это уж буду не я. Моя судьба поведет меня дорогой, которая мне чужда и неприятна. И куда приведет меня та сила, которая теперь так властно предписывает мне все, что я исполняю с отчетливостью повинующейся машины, — я уже не мог ни предсказать, ни предвидеть... В последние минуты мой личный нерешительный и мягкий темперамент сказался опять какой-то жгучей тоской, безграничной жалостью к себе самому, к своей нравственной личности, ко всему, чем я жил до сих пор, что думал, во что верил, на что надеялся. Потом опять лицо матери взглянуло на меня с тоскливой мольбой... Но это было неясно и недолго. Я чувствовал, как кровь отливает у меня от сердца, как брови мои сжимаются...

Наверное, лицо мое было очень бледно, а глаза горели лихорадочным огнем... Во мне поднимался протест против разнеженности и «добрых» побуждений мягкой и слабой души. Этот протестующий и строгий голос говорил мне, что ничто и никто не судья теперь того, что я сделаю впоследствии... Потому что я буду теперь мстить... Мстить всему, что убило во мне прежнего человека, что привело меня к этой минуте, что сделало из меня чернского мещанина Иванова. И я чувствовал, что мне нет уже другого суда, кроме этого голоса... VIII

Замок тихо щелкнул, дверь открылась...

На пороге стоял Гаврилов.

— А, это опять ты? — сказал я, пораженный его появлением довольно неприятно. Я представлял себе, что меня будет сторожить теперь это грубое животное Иванов, и мне доставляла некоторое наслаждение мысль, что своим побегом я подведу именно его, что мещанин Иванов первыми своими шагами погубит Иванова тюремщика.

— Да, барин, опять я. Иванов отпросился на именины к матери.

«Ну, все равно, — подумал я. — У меня тоже есть мать...» Но эта мысль теперь уже меня не смягчала, а ожесточала еще больше.

— А пароход-то ушел? — сказал я с горечью, как будто в этом виноват именно он, Гаврилов.

— Так точно, барин. Ушел, — сказал он сконфуженно, как будто и сам признавал себя виновным.

Он отвернулся и вздохнул.

— Ничего, бог милостив. Сказывали в конторе, будто вас увезут опять с жандармами, на тройке.

Я пронизал его взглядом. Я был убежден, что он врет и отворачивает глаза потому, что слышал совсем другое... Его утешения подымали во мне глухую злобу. «Утешаешь, добрый человек, — думал я с горечью. — Эх вы, добрые люди! Нет ничего хуже русского доброго человека... Разве не он, не русский добрый человек, виноват во всем? Разве он, жалеючи, не сторожит в тюрьмах всякого, кто стремится к свободе и правде?.. Ну хорошо же, — думал я с ожесточением, — сторожи же теперь, добрый человек, покрепче. Не я виноват, если ты, по своей доброте, зазеваешься. Каждому свое. Ваше дело смотреть, а наше освободиться. Пусть каждый делает свое дело, а детей, страдающих и плачущих об отцах, не меньше и даже больше на нашей стороне, чем на вашей... Правда, когда-то, и еще недавно, я думал, что этих добрых людей надо жалеть и щадить... Но это «недавнее» было все-таки так давно. Меня уже нет... Жалел NN, а теперь будет мещанин Иванов...» Очень может быть, что Гаврилов заметил мое настроение. Может быть, если не сознание, то чувство шевельнулось в нем в том же направлении, в каком шла теперь моя мысль, и, вынимая ключи из замка, пока я выходил, он сказал тихо:

— А я, барин, скоро брошу эту службу.

Эту фразу я слышал второй раз от своих тюремщиков. В первый раз она меня очень обрадовала. Теперь только обозлила. То же самое, может быть, ты, «добрый человек», повторял Фомину, пока он не умер, и ты все-таки запирали его аккуратно, произнося свои добрые слова и немудрые утешения...

Я ничего не ответил, и он не пытался заговорить больше. Мы были опять на узеньком дворике. Он сел на свой обрубок и даже повернулся к стене. Мне показалось, что он сделал это не случайно, что ему немного стыдно теперь следить за мной.

«Ладно, — подумал я опять. — Ты можешь деликатничать потому, что надеешься на замки и на высокие стены. Посмотрим».

Около Гаврилова тихо ласкалась и визжала маленькая собачка... IX

Первый мой взгляд был опять на крайнее окно. Каторжника не было видно, когда мы проходили вместе с Гавриловым. Но в первый же раз, как я пошел мимо один, он опять появился, ткнул пальцем в угол четырехугольного пустыря и нырнул за стену так быстро, как будто боялся последствий. На обратном пути я внимательно посмотрел в этот угол и вздрогнул.

Чего добивался мой искуститель или искустители, — так как теперь мне было совершенно ясно, что все каторжное отделение принимало участие в моей судьбе? Было ли это участие или простое любопытство?.. Правда, что нам часто приходилось встречать проявление товарищеского участия со стороны каторжан, которые видели, что для нас, «политических», тюрьма готовит все свои суровости и стеснения, не представляя взамен никаких облегчений, связанных с обществом себе подобных и с артельной жизнью. Однако в ту минуту мне представилась другая сторона дела: так скучно сидеть месяцы и годы в этом дворике, так однообразно идут дни за днями... А тут побег, может быть, выстрел часового на верхушку стены, может быть, стон и падение человеческого тела, а может быть, и удача, за которую переберут все начальство... Это, конечно, хорошая программа для временного увеселения тоскливого и тесного военно-каторжного дворика.

Думаю, что я был совершенно не прав по отношению к моим соседям и, если хотите, товарищам того времени.

Если бы я действительно убежал, следы несомненного содействия со стороны каторжан должны были бы обнаружиться и все отделение подверглось бы репрессиям и стеснениям. А на это, несомненно, также не мог бы решиться ни один из членов этого общества самовольно. Итак, это сделано было, по всем видимостям, именно каторжной артелью, и каторжная артель действовала бескорыстно и даже самоотверженно.

Как бы то ни было, но дело в том, что, пока я сидел в своей конурке в течение дня, арестанты, гулявшие по двору, натыкали в щели бревенчатой стены цейхгауза обломки железа, толстые щепы, а в одном месте торчало даже сломанное долото. Все это образовало теперь вертикальную лестницу почти до крыши.

Невольная дрожь пробежала по мне при виде этой дороги к свободе или к смерти...

Я быстро прошел мимо и потом замедлил шаги, чтобы еще раз обдумать свое положение. Что-то говорило мне, что я поступаю нерасчетливо и безумно. Кто мне сказал, что я останусь здесь надолго? Один только свисток удалявшегося парохода и мрачная камера, в которой как будто бродил призрак несчастного Фомина... И из-за этого я рискую своей судьбой, этим бедным Гавриловым, у которого трое детей, этим часовым, который теперь склонился головой на ружье. Наконец, горем матери, жизнь которой, я чувствовал это, ставится теперь на карту вместе с моей...

Однако все это шевелилось где-то слишком глубоко, как это случается часто... Теперь, когда я вспоминаю весь этот эпизод, эти соображения меня трогают и разнеживают, но в то время я их почти не сознавал. Как будто они тихо всплывали со дна души, но на поверхности сознания появились уже значительно позже.

Я, или, вернее, тот, другой мещанин Иванов, решил за меня, что я пройду еще три раза, а на четвертый незаметно скользну за стену. С этой мыслью я весело кивнул каторжнику и пошел дальше. В окне смотрительской квартиры мелькнули очертания детской головки. «Еще, быть может, одна невинная жертва, — подумал я про себя. — Отец будет без места, мать будет

плакать, девочке придется, пожалуй, голодать и томиться...» Но тотчас же эту мысль сменило беспокойство. Она увидит меня на крыше! Впрочем, что же поймет ребенок, а если и поймет, то, пока она позовет отца, я уже буду на пустыре, за стеной, или...

Проходя мимо солдата, я взглянул на угол крыши, прилегающей к стене. Здесь я буду виден ему совершенно ясно, значит, нужно будет вооружиться ловкостью для последнего прыжка с крыши на стену. Впрочем, я много занимался гимнастикой и прыгал очень легко и ловко...

В третий раз, подойдя к углу цейхгауза, я круто повернул за угол. Гаврилов по-прежнему сидел на своем обрубке, понурив голову, собачки с ним не было. Солдат охватил штык руками и свесил голову дремотные сумерки нагнали на него сон или тихие мечты о далекой родине, может быть, тоже о жене и о детях.

Каторжник смотрел в окно, вытянув шею, точно хищная птица...

Я быстро скинул пальто и попробовал первые ступени. Все было прикреплено прочно. Я взялся за обломок долота, потом ступил шаг, другой... Помню, что в эти несколько секунд во мне замерли все соображения. Я ничего не думал, ничего не вспоминал, кажется, был совершенно спокоен и видел ясно только деревянный сруб цейхгауза, натканые в щели ступеньки импровизированной лестницы и гребень стены... X

Не знаю, что предстояло мне через минуту, если бы не неожиданная случайность. Теперь мне казалось уже, что там, за стеной, я был бы почти наверное свободен. Наружного караула не было. Стена очень высока, но я прыгал ловко. Моим тюремщикам придется пробежать три двора, а в это время я спущусь в юрод и буду у людей, адрес которых помнил. В одежде, в которой никто в тюрьме меня не видел, с паспортом в кармане, мне стоило еще остричь буйные волосы и сбрить бороду — и я мог бы безопасно ходить по улицам Тобольска... Меня не узнал бы красивый полицмейстер...

Если бы на крыше лист жести загремел под ногой или я оборвался бы со стены, тогда, наверное, пуля часового уложила бы меня на месте, — или меня прикончили бы озверевшие тюремщики. Случай, вероятно, заставил бы говорить о себе...

Побег из тюрьмы несомненное преступление. Солдат, застреливший беглеца, только «исполнил бы свой долг», а преступник понес бы должное наказание... Этим наказанием и была бы импровизированная смертная казнь...

Пришло ли бы тогда кому-нибудь в голову проверить хоть на этот раз первоначальное обвинение и все ступени этой фатальной лестницы «печальных недоразумений», которые привели меня, невинного, не осужденного и даже никогда ни в чем не обвинявшегося, под пулю столь же неповинного солдата?..

— Мы должны согласиться, — говорил мне впоследствии один либеральный господин в департаменте полиции, — что первоначальная ваша ссылка была результатом «печального недоразумения»... — Одним «недоразумением» больше или меньше, что за беда! Мой избитый труп похоронили бы в деревянном ящике, наскоро сколоченном тюремным плотником... Получилось бы в Петербурге соответствующее донесение, которое пришили бы к делу «об административно-сосланном N». Может быть, тогда его превосходительство счел бы не лишним перелистовать дело. Может быть, при этом обнаружилось бы, что все первоначальные подозрения по отношению ко мне давно пали сами собой...

Вздохнул ли бы, по крайней мере, его превосходительство о напрасно загубленной жизни этого «по недоразумению» сосланного молодого человека, подумал ли бы, что ряд тюрем, ссылок, наконец, смерть от пули — слишком суровое наказание за все, что прочитано только в сердце молодого студента да еще плохо прочитано полуграмотным шпионом?.. XI

К счастью, от последнего вывода меня спасла маленькая собачка. Это была черная небольшая дворняжка, почти щенок, которого обыкновенно приводил с собою и ласкал Гаврилов. Иванов гонял ее, и потому она показывалась только в дни дежурства Гаврилова на дворике каторжного отделения. Теперь, получив от Гаврилова свою долю хлеба и ласки, она, довольная, свернулась на куче мусора, в уголке за цейхгаузом и мирно дремала. Помню, что она поглядела на меня, когда я свернул за угол, как-то искоса, умными черными глазами, но ничем более не выразила своих подозрений. Однако, по-видимому, тюремный хлеб делает тюремщиками даже животных. Как только я стал подыматься на свою воздушную лестницу и повис на третьей или четвертой ступеньке, собака нашла, что это уже слишком. Она внезапно с визгом подбежала к стене, подпрыгнула и, ухватясь за полу моего казакина, повисла на ней всей своей тяжестью.

Все было, разумеется, кончено. Я услышал крик и шаги Гаврилова. Добрый человек объяснил очень просто мою отлучку за угол, и мне нужно было удержать его в этом убеждении. Я легко спрыгнул на землю, отбежал шага три и быстро надел скинутое пальто. Соскакивая, я видел в окне моего доброжелателя каторжника. Он безнадежно взмахнул руками и скрылся за стеной...

Не знаю, догадался ли Гаврилов о настоящей причине этого эпизода. Я отошел от угла, чтобы он не увидел устроенной арестантами лестницы, и продолжал надевать пальто на ходу. Солдат оглядывался чутко и беспокойно. Гаврилов хотел было пнуть собаку ногой, но она отбежала так разумно и с таким видом своей правоты, что он не пошел за ней к ее куче мусора и только задумчиво несколько раз перевел свои глаза то на нее, то на меня...

— Пожалуйте в камеру, пора, — сказал он мне наконец с каким-то особенным выражением.
XII

Должно быть, арестанты успели наутро разобрать свои сооружения незаметно для начальства; по крайней мере, мне не удалось узнать о последствиях этого эпизода для каторжного отделения.

А вскоре дверь моя отворилась как раз перед прогулкой, но вместо прогулки Гаврилов пригласил меня собрать вещи.

— Слава-те господи, на волю! — сказал он с искренней радостью.

Воля для меня представилась в виде двух бравых жандармов, которые ждали в конторе. Принимая меня из тюрьмы, они не были слишком строги при обыске моих вещей...

В последнюю минуту прискакал красивый полицмейстер. Он опять радушно попрощался со мной и лукаво погрозил пальцем.

— Скажите, пожалуйста, — спросил я, обращаясь к нему и к смотрителю, — на каком основании вы держали меня в военно-каторжном отделении?

Каменное лицо смотрителя осталось неподвижно, но полицмейстер захохотал, закинув назад свою голову в папахе.

— А что? — спросил он. — Вы находите, что вид оттуда не обширный?

— Помилуйте, даже окно забрано досками...

— Так лучше, господин К., меньше видно. Мы не любим, когда об нас пишут, — прибавил он, многозначительно улыбаясь и пожимая мне на прощание руку.

Я тоже невольно засмеялся и вздохнул полной грудью, когда за мной щелкнули замки тяжелых ворот. У ворот стояла тройка бойких сибирских лошадей. Один жандарм устроился

уже в сиденье, другой, по правилам, дожидался, пока я сяду в середину. Ласковая, хотя и свежая августовская ночь приняла нас вскоре в свои владения.

Мы мчались быстро и без остановки. Я не спал, любуясь то степью, то темным лесом, то туманом над какой-нибудь речкой, то ночным перевозом с заспанными фигурами перевозчиков, чуть видимыми в темноте, то тихим позвякиванием колокольчика, которое дрожало над сонной рекой и отдавалось в бору противоположного берега.

Все это — и ночь, и дали, и горы, и звезды, и туманы — казалось мне исполненным невиданной прелести... Я чувствовал себя точно вновь родившимся, и действительно я опять был — я, имярек, хотя на мне был все тот же казакин чернского мещанина Ивана Иванова.

Но чернский мещанин Иван Иванов мирно покоился у меня за спиной все в том же потайном кармане.

Вдобавок жандармы сообщили мне «по доверию», что мой предшественник Фомин жив и переведен в Карийск. Это настоящая каторга, но все же не смерть в одиночке...

Я мчался тоже в далекую ссылку, но что за дело!.. Я был полон жизни и надежд, неясных, как эти дали, искрившиеся в золотистых туманах лунной ночи...

1891

Ат-Даван[12]

Из сибирской жизни I

— Н-ну! уж и дор-рога! — сказал мой спутник, Михайло Иванович Копыленков. — Самая эта проклятая путина, хуже которой уж и быть невозможно... Правду ли я говорю ай нет?

К сожалению, Михайло Иванович говорил совершенную правду. Мы ехали вниз по Лене. По всей ширине ее торчали в разных направлениях огромные льдины, по-местному «торосья», которые сердитая быстрая река швыряла осенью друг на друга, в борьбе со страшным сибирским морозом. Но мороз наконец победил. Река застыла, и только гигантские торосья, целый хаос огромных льдин, нагроможденных в беспорядке друг на друга, задавленных внизу или кинутых непонятным образом вверх, остался безмолвным свидетелем титанической борьбы, да кое-где еще зияли длинные, никогда не замерзающие полыньи, в которых прорывались и кипели быстрые речные струи. Над ними тяжело колыхались холодные клубы пара, точно в полыньях действительно был кипяток.

А с обеих сторон над этим причудливым ледяным хаосом стояли молчаливые огромные Ленские горы. Жидкая листвень цеплялась по склонам, широко раскидывая корни, но камень не дает ей расти, и склоны усеяны сплошь густою древесною падалью. Ближе вы видите трупы деревьев, запорошенных снегом, с вырванными из почвы, судорожно скрюченными корнями. Дальше эти подробности исчезают, а к вершине горы склон покрыт валежником, точно густою сеткой. Упавшие деревья кажутся бесчисленными иглами, точно хвои в сосновом лесу, а между ними, еще живые, тянутся такие же прямые, такие же тонкие и жалкие лиственницы, пытающие счастье над трупами предков. И только на ровной, будто обрезанной, вершине лес сразу становится гуще и тянется длиною, темною, траурною каймой над белым скатом берега.

И так на десятки, на сотни верст!.. Целую неделю уже наш возок ныряет жалкою точкою между торосьями, колыхаясь, точно лодочка на бурном море... Целую неделю я гляжу на полосу бледного неба меж высокими берегами, на белые склоны с траурной каймой, на

«пади» (ущелья), таинственно выползающие откуда-то из тунгусских пустынь на простор великой реки, на холодные туманы, которые тянутся без конца, свиваются, разворачиваются, теснятся на сжатых скалами поворотах и бесшумно втягиваются в пасти ущелий, будто какая-то призрачная армия, расходящаяся на зимние квартиры. Тишина томит душу. И только по временам по реке ухнет вдруг тяжелым стоном треснувший лед, зашипит, как пролетающее ядро, отдастся эхом, как пушечный выстрел, пронесется куда-то далеко назад, в оставленные нами пустынные извилины Лены, и долго еще звенит отголосками и умирает, пугая воображение причудливыми, внезапно воскресающими дальними стонами.

Мне было грустно. Мой спутник томился и нервничал. Возок наш то и дело кидало с боку на бок, и уже не раз он опрокидывался совсем. При этом, к великой досаде Михайла Ивановича, случилось все как-то так, что валились мы неизменно в его сторону. Это было естественно, но все же причиняло ему большое неудовольствие. Однако случись иначе, мне грозила бы серьезная опасность, тем более что в таких случаях он, с своей стороны, не делал ни малейших усилий. Только крикнет, бывало, и деловито обращается к ямщику:

— Подымай!

Ямщик, как ни трудно, подымает, и мы едем далее.

Мне казалось, что уж месяц отделяет меня от Якутска, из которого мы выехали всего дней шесть назад, и чуть не целая жизнь от ближайшей цели путешествия. Иркутска, до которого осталось более двух тысяч верст.

Едем мы тихо: сначала нас держали неистовые морозные метели, теперь держит Михайло Иванович. Дни коротки, но ночи светлы, полная луна то и дело глядит сквозь морозную мглу, да и лошади не могут сбиться с проторенной «по торосу» узкой дороги. И однако, сделав станка два или три, мой спутник, купчина сырой и рыхлый, начинает основательно разоблачаться перед камельком или железной печкой, без церемонии снимая с себя лишнюю и даже вовсе не лишнюю одежду.

— Что вы, Михайло Иванович! — пытаюсь я протестовать в таких случаях. — Станок бы еще можно сегодня...

— Куда к шуту торопиться-то? — отвечает Михайло Иванович. — Чайком ополоснуть утробу-те, да на боковую.

Есть, «полоскаться» чаем и спать — все это Михайло Иванович мог производить в размерах поистине изумительных и все это совершал тщательно, с любовью, почти с благоговением.

Однако, кроме этого, у него были еще и другие соображения.

— Народ здесь, — говорил он таинственно, — на копейку до чрезвычайности, братец ты мой, жаден. Бедовый самый народ, потому что золотом набалован.

— Ну, золото-то далеко, да и не слышно ничего такого о здешних местах.

— А вот как нас с тобой ограбят, так и услышишь, да поздно... Чудак! — прибавлял он, быстро впадая в «сердце», — какая это есть сторона, не знаешь, что ли? Это тебе не Расея! Гора, да падь, да полынья, да пустыня... Самое гиблое место.

Вообще Михаилу Ивановичу «здешняя сторона» не внушала ничего, кроме искреннего омерзения и брезгливости. Все здесь, начиная с угрюмой природы и людей и кончая бессловесною тварью, не избегало с его стороны самой придирчивой критики. Он знал только одно: здесь, если «пофартит», можно скоро и крупно разжиться («в день человеком сделаешься»), и поэтому жил здесь уже несколько лет, зорко выглядывая случай и стремясь

неуклонно к известному «пределу», после которого намеревался вернуться «во свою сторону», куда-то к Томску. В этом отношении он напоминал человека, которому за известное вознаграждение предложили пробежать голым по сильному морозу. Михайло Иванович согласился и вот теперь он бежит, ухая и пожимаясь, к своему пределу. Только бы добежать, только бы схватить, а там, пропадай хоть пропадом вся эта гиблая сторона. — Михайло Иванович не пожалеет.

В данное время, кажется, он уже значительно приблизился к пределу и, быть может, именно поэтому ужасно нервничал: а что, дескать, ежели именно теперь кто-нибудь у него схваченное-то и вырвет?.. Михайло Иванович, о котором я слышал много рассказов, рекомендовавших в самом ярком свете его предприимчивость, доходившую до дерзости в начале здешней карьеры, — теперь трусил, как баба, и мне поневоле приходилось из-за этого проводить с ним скучнейшие вечера и долгие ночи на пустынных станках угрюмой и безлюдной Лены. II

В один из таких морозных вечеров я был разбужен испуганным восклицанием Михайла Ивановича. Оказалось, что мы оба заснули в возке, и когда проснулись, то увидели себя на льду, под каменистым берегом, в совершенно безлюдной местности. Колокольчика не было слышно, возок стоял неподвижно, лошади были распряжены, ямщик исчез, и Михайло Иванович протирал глаза с испугом и удивлением.

Вскоре, однако, недоумение наше рассеялось. Я вгляделся в ровный каменный берег, уходивший стеной вдаль и искривившийся под лучами полного месяца. Невдалеке тропинка исчезла в расселинах скал, а прямо над головой свесился высокий крест якутской могилы. Хотя могила на берегу, даже и совсем пустынном, не редкость в том краю, так как якут старается лечь на вечный покой непременно на возвышенности, у воды, в таких местах, где много дали и простора, — но все же я узнал Ат-Даванскую станцию, которую заметил уже в первую свою поездку. Красный сланец с причудливыми слоями, напоминавшими какие-то неведомые письмена, ровный, будто искусственно сложенный обрыв, жидкие листовенницы, якутская могила с крестом и срубом и, наконец, длинная пелена белого дыма, тихо нависшая с берега над рекой, — все это вспомнилось мне сразу. Здесь нет въезда, берег представляет отвесную стену, и потому зимой сани оставляют на реке, а лошадей приводят узкой тропой прямо на лед. Михайло Иванович тоже скоро успокоился, тем более что на тропинке уже мелькали фонари.

Через минуту мы были наверху, на станции.

Маленькая станционная комната была натоплена; от раскаленной железной печи так и пыhalo сухим жаром. Две сальные свечки, оплывшие от теплоты, освещали притязательную обстановку полуякутской постройки, обращенной в станцию. Генералы и красавицы чередовались на стенах с объявлениями почтового ведомства и патентами в черных рамах, сильно засиженных мухами. Вся обстановка обнаруживала ясно, что станция кого-то ждала, и мы не имели оснований приписать все эти приготовления себе.

— Вот, братец ты мой, и чудесно! — радостно говорил Михайло Иванович, принимаясь за перемены со всякою дорожною снедью. — Эка теплота-то благодатная! Тут уж шабаш, ночуем беспременно! Эй, кто там!.. писарь, что ли? Самоварчик бы нам да кипяточку для пельменей.

— Ну, нет, Михайло Иванович, — попытался я возразить, — еще рано. До N доедем, а там и ночлежничать можно.

— Лошадей, милостивый государь, нет, — послышался сзади меня дребезжащий, слащавый и как будто робеющий голос.

Я оглянулся. В комнату входил небольшой круглый человечек неопределенного возраста,

одетый довольно оригинально. Кургузый сюртучок, клетчатые панталоны, пикейный жилет, сорочка с манжетами и даже старинною плойкой, цветной галстук с золотыми мухами по зеленому полю — все это слегка уже полинявшее, слежалое, как будто надетое по случаю, напоминало о каких-то давно прошедших временах. На ногах у вошедшего были тяжелые валенки, наряду с которыми кургузый немецкий костюм выглядел очень комично. Впрочем, маленький человечек не сознавал, по-видимому, этого контраста и выступал щеголевато, мелкими, «щепоткими» шагами.

Физиономия незнакомца, как и вся фигура, была какая-то серенькая, тоже как будто слегка подержанная или лежалая, а теперь приглаженная и почищенная для случая. В улыбке, в серых глазах, в тоне голоса заметна была претензия на некоторую культурность. Маленький человечек как будто хотел показать, что он видал лучшие дни, знает «обращение» и при других обстоятельствах стоял бы с нами на равной ноге. Но вместе с тем он как-то сжимался и робел, как будто его слишком часто осаживали, и он боялся того же от нас.

— Как же нет лошадей? — возразил я, посмотрев в книгу, выложенную, по-видимому, недавно на видном месте. — Две тройки должны быть на станции.

— Так точно, — покорно ответил он, — должны находиться. Только, собственно... как бы вам, милостивый государь, объяснить...

Он замялся.

— Пожалейте меня, господа проезжающие, не требуйте, — произнес он вдруг чрезвычайно жалобным и приниженно-просящим голосом.

— Но почему же это? — удивился я.

— Экие вы, право! — с неудовольствием вмешался Михайло Иванович, успевший уже стащить с себя даже брюки. — Почему да почему? Ну, куда вы торопитесь? Дети у вас, что ли, плачут?.. Видишь ведь, братец ты мой, человек слезно просит — значит, причина!

— Так точно-с, — обрадовался незнакомец и обратился к Копыленкову с сочувственной улыбкой, обдергивая полы своего пиджака, — так точно-с, как вы изволили заметить: неужели без причины стану чинить господам проезжающим задержку? Никогда-с!

Последнее слово он произнес как-то даже гордо, выпрямился при этом и обдернул пиджак.

— Ну, хорошо, — сказал я, сдаваясь тем охотнее, что понимал невозможность вытянуть моего быстро разоблачившегося спутника из этой теплой комнаты на трескучий вечерний мороз. — Но все же объясните вашу причину, если это не тайна...

Сочувственная улыбка озарила все лицо маленького человечка. Он увидел, что дело сладилось, и намеревался ответить мне с видимою благосклонностью, но вдруг насторожился. Снаружи, с реки, сквозь треск железной печурки, слышался звон.

Дверь отворилась, староста, полуякут по наружности, осторожно вошел в комнату, тщательно запер дверь и сказал:

— Почта келле, Василь Спиридоныч...

— А, почта! — успокоился старичок. — Ну, бар-антах (ступай), чтоб живо!.. Сейчас иду, извините меня, почтенные господа...

Он вышел. Станция переполнилась движением. Хлопали двери, скрипели ступени, ямщики таскали баулы и сумки, суетливый звон уводимых и перепрягаемых на льду троек теснился каждый раз в отворяемую дверь, ямщики кричали друг на друга по-якутски и ругались на

чистом русском диалекте, доказывая этим свое российское происхождение... III

Через несколько минут в комнату не вошел, а вбежал какой-то человек небольшого роста в сильно потертой казенной шинели, в якутском малахае и обвязанный шарфом. Он вбежал так торопливо, как будто за ним кто гонится, и тотчас же направился к железной печке.

Скинув шинель, он остался в какой-то жиденькой шубке на кроличьем меху, сильно похожей на женскую кацавейку; когда же снял и шубку, то под ней оказался старый, изорванный под мышками мундир почтового ведомства.

Действительно, это был почтальон, так торопливо убежавший от мороза, который на протяжении длинного перегона, видимо, одержал над ним значительные победы. Бедный молодой человек рвал с себя настывшие одеяния, как будто в них засел целый рой пчел, и, не снимая еще малахая и шарфа, быстро скинул с ног валенки, которые и уложил подошвами к печке. Снятие шарфа и малахая заняло более времени. Якуты и карымы не носят бороды и усов. Это вошло уже в эстетические привычки, но объясняется чисто климатическими условиями: бедняга почтальон, по-видимому, дорожил этими атрибутами, и теперь жидкая бороденка и такие же усики, которыми он, быть может, пленял где-нибудь в Киренске какую-нибудь заезжую невесту из семьи состоятельного поселенца, — превратились в одну сосульку, плотно соединившую его голову с малахаем и шарфом. Нужно было немало времени, пока наконец представитель почтового ведомства, совавший голову чуть не в самое пламя и разминавший льдины полужастывшими пальцами, предстал перед нами в своем настоящем виде: молодое, но значительно отекавшее лицо, беспокойные, но тусклые глаза, испуганная подвижность во всей фигуре, короткий и узкий мундир, лопнувший по швам, и заячьи чулки на ногах.

— Че! — отряхнулся он. — Тымны берть, мороз улахан (очень холодно, большой мороз)... Дозвольте рюмочку, господа!

— Угощайся, — ответил Копыленков благодушно. — Несчастный ты самый человек.

Глаза молодого человека как-то опять испуганно заморгали. Холодное сожаление купца только ярче напомнило ему холод дороги, и проглоченная рюмка пролетела, будто льдинка. Вследствие этого он налил другую и отправил вслед за первой. Только тогда испуганное выражение начало исчезать с лица бедного малого.

— Верно, — сказал он. — Собачья жизнь... Да и морозы же стоят, удивительное дело...

— Одежка у тебя — ой-ой плоха. Не по здешнему месту.

— Одежа ничего. А впрочем... на восемь рублей не очень нащеголяешь...

Почта пробегает по этому огромному тракту один раз в неделю. Зимой трехтысячный путь она делает в девятнадцать дней, летом, конечно, дольше. Осенью и весной, когда Лена еще не стала или уже тронулась и ледоход мешает движению лодок, почту везут в переметных суммах верхами. Целый караван вьючных лошадей жметя тогда между рекой и каменными горами, то огибая, по брюхо лошади в воде, какую-нибудь выдающуюся скалу, то карабкаясь по каменистым тропинкам, то мелькая на вершинах чуть не под облаками. Трудно себе представить занятие, требующее большей выносливости, присутствия духа, терпения и здоровья... Три тысячи верст!.. Ямщикам тоже трудно, но ямщики давно вернулись по домам и отдыхают, в ожидании редкого проезжающего, порой даже до следующей почты, а почтальон опять трясется в седле, или качается на бурной волне огромной реки, или коченеет, забившись меж кожаными баулами в санях. И это при обычных почтовых окладах...

Правда, почтальон изобретает еще посторонние средства. В Иркутске он запасается

бочонком дешевой водки, которую продает на станках писарям и ямщикам, купит только что вышедшие календари, возьмет на комиссию пачку лубочных картин. Все художественные произведения, обильно украшающие стены станков, ему обязаны доставкой своей в эти далекие страны. Он совершенствует эстетические взгляды полуякутов-станочников, водворяя на стенах гравированные портреты получивших где-то премию красавиц, он содействует популярности генералов, он же развенчивает их, заменяя старых героев новейшими... Однако эта полезная деятельность мало скрашивает судьбу горемыки-почтальона, и если он остается жив в своей плохой одежке среди необычайных морозов, то приписывает это главным и даже исключительным образом водке, которой выпивает на каждой станции огромное количество без всяких видимых последствий, благо она достается ему дешево и доставляет даже некоторый, — право же, невинный при этих условиях, — доход...

От него же главным образом этот трехтысячный тракт, с его почти единственными обитателями-станочниками, узнает новости, совершающиеся в далеком мире.

Такой-то подвижник почтового ведомства стоял теперь у железной печки, с подогнутыми от холода ногами, протянув руки к пламени и кидая жадные взгляды на наши бутылки.

— А это у вас коньяк?.. Коньячку я еще хвачу, — произносил он вдруг с робкою фамильярностью, подбегал к столу, наливал, опрокидывал и опять убегал к огню все с тем же видом человека, испуганного внутренним ознобом.

— Слышь, почта, давай чайком побалуемся, — предложил Копыленков.

— Невозможно, господа почтенные, — тороплюсь. Слушай, парень, — дружески обратился он к вошедшему в эту минуту писарю, — поберегайся! Едет ведь...

Старичок вздохнул.

— Что бог даст! Ждем давно, хоть бы уж как-нибудь скорее...

— Теперь живо. Мне бы вот как-нибудь улететь, не напороться бы. Да где, не уйти — догонит! Хорошо, если на дороге где-нибудь...

— Тебе-то что?

— Да все от греха подальше. А слышь, парень, про жалобы-то узнал ведь...

— Ну?

— То-то... Сказывают, осатанел, беда!

— Авось бог милостив. Мы не жаловались...

— Да вы это про кого? — спросил Копыленков.

— Арабин, курьер... Теперь из Верхоянска обращается.

— Так-так-так! Вот почему у тебя и лошадей-то не оказалось. Понял! А вдруг бы мы у тебя лошадей-то последних и взяли...

— Совершенно верно-с... Судите сами: приедут они сюда, и вдруг я им объявлю: нет лошадей! Что же это-с... Ведь тогда им здесь ночевать-с...

Копыленков захохотал.

— Ну, он тебя, братец, за ночь-то съест и с пиджаком с твоим.

Почтальон тоже засмеялся, как-то порывисто, закинув голову назад. Старичок постарался улыбнуться, но больше из вежливости. Глаза его были задумчивы и озабочены.

— Бог знает, бог знает... Прошлый раз уберегла царица небесная... Скотиной все-таки назвал.

— Удостоил?

— Да-с. Это что ж... Конечно, по прежнему времени, состоявши в чине коллежского секретаря, мог обижаться... Ну, между прочим, в настоящем ничтожном положении обязан терпеть... Вы самоварчик изволили приказывать? — спохватился он вдруг. — Ах, боже мой, что же я-с... Сейчас будет готово, — два самовара у нас. Ежели в случае приедет, и ему подадим... Сейчас... IV

Через несколько минут нестарая еще и довольно красивая женщина, при входе которой почтальон опять закинул голову и засмеялся своим прерывистым смехом, а писарь стал как-то особенно серьезен, внесла небольшой самоварчик и принялась уставлять чайную посуду. Мы пригласили к чаю старичка и почтальона. Последний отказался и так же быстро, как прежде скидал с себя, стал натягивать свои не совсем высохшие одеяния. Писарь тоже пытался отказаться из приличия, но затем, на вторичное приглашение, согласился, видимо польщенный.

— С превеликим удовольствием разделю компанию, — сказал он и затем, застегнув пиджак на все пуговицы и взявшись рукой за спинку стула, поклонился и произнес:

— В таком случае считаю за честь рекомендоваться: Кругликов, Василий Спиридонов, бывший коллежский секретарь... Приятно приобрести знакомство.

— Значит, служил? — спросил Копыленков.

— Так точно-с, по комиссариатской части, во флоте-с.

Почтальон облачился, сунул нам всем на прощание руку, еще раз сказал: «А это спирт у вас? Хвачу-ка еще спирту!» — хватил и торопливо выбежал на мороз. Я оделся и вышел за ним.

Нужно было подойти к обрыву у могилы с наклонившимся крестом, чтоб увидеть почту внизу.

Река, загроможденная белым торосом, слегка искривилась под серебристым и грустным светом луны, стоявшей над горами. С того берега, удаленного версты на четыре, легла густая неопределенная тень, вдали неясно виднелись береговые сопки, покрытые лесом, уходившие все дальше и дальше, сопровождая плавные повороты Лены... Становилось и жутко, и грустно при виде этой огромной ледяной пустыни.

Почта — три тройки — двинулась, колокольчики сразу, как-то сбивчиво и шумно, заговорили под моими ногами, как будто ободряя друг друга. Три черные пятна, точно фантастические многосоставные животные, шевельнулись по снегу и замелькали между торосьями, становясь все меньше и меньше. Их давно уже не было видно, а звон все стоял такой же ясный в морозном, точно стеклянном, воздухе... Каждый колокольчик говорил по-своему: расстояние уменьшало только силу, но не ясность звука. Потом все исчезло внезапно, только торосья искрились фантастическим хаосом, да сопки тихо спали в тени, и какие-то неясные грезы передвигались под дальними берегами.

Чуть не все население станка провожало почту... На бедном Ат-Даване, приютившемся под каменными горами, этот пролет редкой почты — целое событие.

Но станок ждал и томился ожиданием еще другого события.

Когда почта исчезла и звон затих, гурьба ямщиков, тихо подымавшихся с реки, прошла мимо меня, разговаривая по-якутски. Мне трудно было разобрать эти тихие речи, однако я понял, что говорят они не о том, кто уехал, а о ком-то, кто должен приехать сверху. При этом имя «Арабын-тойона» раза два коснулось моего слуха.

Я остался еще на берегу, привлекаемый грустным очарованием. Воздух был неподвижен и полон какой-то чуткой, кристаллической ясности, не нарушаемый теперь ни одним звуком, но как будто застывший в пугливом ожидании. Стоит опять треснуть льдине, и морозная ночь вся содрогнется, и загудит, и застонет. Камень оборвется из-под моей ноги — и опять надолго наполнит чуткое молчание сухими и резкими отголосками...

Мороз все крепчал. Здание станции, которое наполовину состояло из юрты и только наполовину из русского сруба, сияло огнями. Из трубы над юртой целый веник искр торопливо мотался в воздухе, а белый густой дым поднимался сначала кверху, потом отгибался к реке и тянулся далеко, до самой ее середины... Льдины, вставленные в окна, казалось, горели сами, переливаясь радужными оттенками пламени...

Я еще раз окинул взглядом окружающую картину, полную захватывающей грусти, и пошел в избу. V

В ямщицкой огромный камелек, плотно сбитый из глины, зиял, точно раскрытая огненная пасть сказочного чудовища. Огонь с невероятной силой рвался в трубу, как будто целая река пламени струилась кверху. Наклонные стены юрты то тесно сдвигались, охваченные багряным отблеском, то утопали чуть заметно во тьме; тогда юрта казалась огромною пещерой с темными сводами. Группа огненных же фигур, будто только что отлитых из не остывшего еще металла, сомкнулась полукругом около камина. В середине, уставившись на огонь задумчивыми глазами и опершись подбородком на руки, сидел молодой станочник с резко инородческими чертами, представитель этого странного, наполовину объякутевшего населения средней Лены. Из горла его лились, примешиваясь к шипению и треску пламени, странные — то протяжные, то истерически прерывистые — звуки. Это была якутская песня-импровизация, — песня, в которой только привычное ухо может уловить признаки своеобразной гармонии. «Господи боже, — подумал я невольно, — как только не выражается человеческое чувство!..» Но так как красота все-таки в самом чувстве, то есть своя доля красоты и в этом диком гортанном, прерывистом завывании, похожем то на плач, то на шум ветра в диком ущелье... Достаточно было взглянуть на бронзовые лица станочников Ат-Давана, чтобы убедиться в присутствии захватывающего и поглощающего душевного движения, царившего в грязной, неприветливой юрте.

Молодой станочник пел, остальные слушали, изредка поощряя певца резкими, произвольными короткими восклицаниями. Мы имеем свои песни, записанные, положенные на ноты, в которых более сложное чувство кристаллизовалось в постоянную форму. Дикая тайга, каменистые тропинки над Леной, угрюмый и сиротливый Ат-Даван — имеют свои песни. Они не записаны, не выработаны, не гармоничны и довольно грубы, но зато каждая из них рождается по первому призыву, отзывается, как золова арфа, своею незаконченною и незакругленною гармонией на каждое дуновение горного ветра, на каждое движение суровой природы, на каждое трепетание бедной впечатлениями жизни... Певец-станочник пел об усилившемся морозе, о том, что Лена стреляет, что лошади забились под утесы, что в камине горит яркий огонь, что они, очередные ямщики, собрались в числе десяти человек, что шестерка коней стоит у коновязей, что Ат-Даван ждет Арабын-тойона, что с севера, от великого города, надвигается гроза и Ат-Даван содрогается и трепещет...

Песенный якутский язык отличается от обиходного приблизительно так же, как наш славянский от нынешнего разговорного. Песенный язык родился где-то далеко, в неведомых глубинах Средней Азии, откуда великое смешение народов бросило жалкий осколок какого-то племени на дальний северо-восток. Он сохранил на севере пышные образы и краски

далекого юга. От севера же, от пугливого морозного воздуха, в котором треск льдины вырастает в пушечный выстрел, а падение ничтожного камня гремит, как обвал, песня приобрела пугливую наклонность к чудовищным гиперболам, к гигантским устрашающим преувеличениям. Вот почему, надо думать, якутский Иванушка, бедный сиротина Эр-Соготох в своих горестных странствиях натывается то и дело на сказочных молодцов, самый меньший из которых обладает икрами в обхват старой лиственницы, а глаза его весят по пяти фунтов.

Я стал в тени, не замеченный, и слушал песню станочника об Арабын-тойоне... Арабин, Арабин!.. Я где-то слышал эту фамилию. Мне стоило значительного усилия отодвинуть от себя сказочную фигуру, и из-за нее в моей памяти выдвинулась другая. В Иркутске, в знакомом доме, я несколько раз встречал — правда, мимолетно — казацкого хорунжего с этой фамилией. Это был человек ничем не выдававшийся, молчаливый, слегка даже застенчивый тою особою застенчивостью, которою отличаются болезненно самолюбивые люди. Я едва заметил его тогда, но потом слышал, что он чем-то обратил на себя внимание тогдашнего генерал-губернатора и что его употребляют для «особых поручений». Неужели это он? Неужели это о нем я слышу теперь по всему пути — о нем, чье имя едва различалось в иркутской толпе?.. Он уже третий раз пролетает по Лене в качестве курьера, и каждый раз толки о нем долго не смолкают на пустынной реке. На станциях он вел себя как человек, на единичные усилия которого возложено усмирение бунтующего края. Врывался, как ураган, бушевал, наводил панический ужас, грозил пистолетом и... забывал всюду платить курьерские прогоны. Вероятно, благодаря этим приемам он исполнял поручения в сроки, удивлявшие самых привычных людей, и начальство отличало его еще более. «Курьер» стало кличкой и чуть не постоянной профессией Арабина. Скромный и застенчивый в Иркутске, он становился совершенно другим, лишь только выезжал из города. Быть искренно убежденным, что всякая власть сильнее всякого закона, и чувствовать себя целые недели единственным представителем власти на огромных пространствах, не встречая нигде ни малейшего сопротивления, — от этого может закружиться голова и посильнее головы казачьего хорунжего.

И она действительно кружилась. В последний проезд он уже скакал через редкие города (Киренск, Верхоленск и Олекму), стоя в повозке и размахивая над головой красным флагом. В этом было что-то фантастическое: две тройки мчались, как птицы, с смертельным ужасом в глазах, ямщик походил на мертвеца, застывшего на облучке с вожжами в руках; седок стоял, сверкал глазами и размахивал флагом... Местные власти покачивали головами, обыватели разбегались. В этот проезд Арабин отметил свой путь таким количеством павших лошадей, воплей и жалоб, прорвавшихся наконец наружу, что почтовое начальство сочло необходимым вмешаться. Забегая вперед, скажу только, что из-за Арабина поссорились два ведомства, что непосредственное начальство курьера вынуждено было все-таки отказаться от его услуг, но, снабженный отличными рекомендациями, он перешел на службу еще дальше на восток и там, на Амуре, застрелил, наконец, наповал станционного смотрителя. Тогда об Арабын-тойоне заговорили даже в России, и только тогда узнали, что судить, в сущности, некого, так как знаменитый курьер был уже... вполне сумасшедшим.

Такова дальнейшая история грозного и несчастного Арабын-тойона, ожидаемого в эту ночь на далеком Ат-Даване. Вот о ком скрипела и завывала унылая якутская песня в ямщицкой юрте. VI

В станционной комнате Михайло Иванович в одном белье сидел за столом. Кругликов помещался напротив в позе значительно более свободной, чем прежде. По наивному оживлению, сверкавшему в простодушно-хищных глазах моего спутника, я сразу увидел, что ему удалось уже завязать один из тех разговоров, до которых он был великий охотник. Это были именно разговоры чисто биографического и отчасти стяжательного характера: кто, где и каким образом сумел нажить деньгу. Все подробности наживательских драм имели для него какую-то особенную, обаятельную прелесть. Кругликов давал эти подробности охотно и с объективным спокойствием человека, глядящего на все это со стороны, глазами

наблюдателя.

— Так, говоришь, прогорел? — спрашивал Михайло Иванович, наклонясь через стол.

— До основания-с! — ответил Кругликов и подул на блюдечко с чаем. — Совсем-с, так что, с позволения вашего сказать, в рубашке одной остался, да и та чужая.

— Ах ты, братец мой, какой человек пропал!

— Пропал? Ну, это зачем же-с! Где же этакому человеку пропасть! По здешним-то местам, я говорю, да такой голове...

— Действительно, шельма естественная. Говоришь, поправился?

— Да еще как поправился!..

— Ну, дела!.. Чем же он взялся-то?

Кругликов поставил блюдечко и загнул палец:

— Первым делом — женится он вторично на вдове с капиталцем. Капитал, положим, ничтожный...

— Постой! Говоришь: женится! А первая-то померла, что ли?

— Живехонька-с! Это ничего не составляет.

— Ай-ай-ай!.. Н-н-ну-с? Что ты, братец, мямлишь, говори далее!

— Ну-с, и стал легонечко поторговывать на приисках спиртом.

— Спир-том?.. Ну, нет, ноне, брат, на спирту далеко не уедешь. Ноне, брат, на спиртовом-то деле тюрьму себе заработаешь, а богат не станешь. Не прежние времена...

— Ах, нет, позвольте-с, это вы напрасно! Спиртовое дело, оно само по себе, а ежели при этом пшеничка...[13]

— Ну, вот это так! ежели ловкому человеку...

— Этот ловок. Шире-дале, шире-дале и взошел он в копейку настоящую.

Михайло Иваныч хлопнул себя рукой по колену.

— Ах ты, братец мой! Вот голова, так голова... Пей еще! — предложил он радушно, когда г-н Кругликов положил пустой стакан на блюдечко в знак того, что он доволен, но выпьет еще, если его попросят (опрокинуть стакан и положить на него огрызок сахара — значило бы отказаться окончательно). — Пей! А что касающее должности, не сомневайся. Определю, будешь доволен. Я, братец, люблю разговорчивых людей. Только уж ты скажи мне, по правде-истине: хмелем зашибаешься?

Господин Кругликов посмотрел ему прямо в глаза ясным взглядом и ответил:

— Пью-с... Пьяницей или, сказать, пропойцей себя не полагаю-с, а пью-с... Но спросите: почему пью? — потому, что нахожусь в горести после прежней благополучной жизни. Вот и Иван Александрович — наверно, извольте знать, прииски у него богатейшие были — говорит, бывало: «Зачем, Кругликов, пьешь? Тебе бы, при твоём уме, вовсе бы касаться не надо... Почерк имеешь прекрасный, экипирован прилично, сам себя ведешь аккуратно... Тебе бы какое место можно занимать, только не касайся вина!» Так вот нет, сердце не позволяет...

«Иван Александрович», — говорю ему...

Господин Кругликов заволновался. По-видимому, он забыл, кому и по какому поводу он делал эти излияния, и, ударив себя в грудь, продолжал:

— Иван Александрович, благодетель, не суди! Господи! Да я бы смолу, — понимаешь ты? — с-смолу бы кипящую пил, ежели бы мог иной раз себе облегчение получить, — забвение горести! Смолу-у!.. Боже мой, создатель! за что ты судьбу мою в эту гиблую сторону закинул?.. Хлеба пуд — четыре с полтиной, говядина — восемь рублей! Ни покою, ни пищи...

— Это верно, — поддержал Михайло Иванович, — корма-то здесь дороги, нечего говорить.

— Эх, нет, не то! — с тоской заговорил вдруг маленький писарь, и эта тоска глубоко щемящую нотой прорвалась в его голосе, промелькнула в лице, изменила всю несколько комичную его фигуру. — Не то-с... Сердце закипает во мне, размышление одолевает...

— Задумываешься? — перебил Михайло Иванович с каким-то пугливым участием.

— Бывает! — угрюмо сознался Кругликов.

— Ах, братец! Ты как-нибудь тово... брось... Самое это плохое дело. У меня, брат, смолуду тоже было; насилу отец-покойник выгнал. После женитьбы и то еще, бывало, нет-нет да и засосет... На свет не глядел бы от мыслей этих... Последнее дело!

— Чего хуже! Поверите: иной раз ночью проснешься, опомнишься: «А где-то ты рожден, Василий Спиридонов, в коих местах юность свою провел?.. А ныне где жизнь влачишь?..» Морозище трещит за стеной или вьюга воет... К окну, в окне — слепая льдина... Отойдешь и сейчас к шкапу. Наливаю, пью...

— Легче?

— В голову ударит, — ну, и омрачит отчасти... Затуманит, потому — настойка у меня... Водка настоена крепчайшая... А настоящего облегчения не вижу.

— Вот оно дело какое! И верно, что лучше бросить... Займись делом, оно, брат, тоже по голове-то ударит не хуже настойки... А скажи ты мне вот что: за что тебя сюда-то уперли?

Этот вопрос, предложенный с такою грубою внезапностью, прошел еще раз по всей фигуре г-на Кругликова, и еще раз она преобразилась, теряя в моих глазах прежний оттенок комизма. Казалось, какая-то искра пробивается из-под давно потухшего, но еще не остывшего вполне пепелища.

Он как-то подернулся, потупился, и его голос, когда он спросил позволения налить себе рюмку, стал глуше.

— Дозволите?

— Угощайся!

Он налил, осмотрел рюмку на свет, как будто ища там ответа на мучительный вопрос, выпил ее залпом и сказал:

— За любовь-с.

Михайло Иванович разинул рот от удивления. Я должен сказать, что заявление г-на Кругликова, высказанное с такою краткою решительностью, было так неожиданно, что

заставило и меня взглянуть на него с удивлением. Кругликов, казалось, и сам понимал, что своими словами произвел значительную сенсацию.

— Да говори ты, братец, толком! — сказал наконец Михайло Иванович с досадой.

— Что ж, я правду говорю, — ответил Кругликов, — так как, собственно из любви к одной девице, в начальника своего, статского советника Латкина, дважды из пистолета палил.

Это было уже слишком.

Михайло Иванович окаменел и смотрел на своего собеседника какими-то бессмысленными, мутными глазами. Он походил на путника, который, пробеседовав часа два с самым любезным, хотя и случайно встреченным попутчиком, и совершенно очарованный его прекрасными качествами, вдруг узнает, что перед ним не кто другой, как *celebrissime*[14] Ринальдо Ринальдини.

— Из пистолета? — протянул он растерянно. — Как же это так? Да ты верно ли говоришь: из пистолета?

— Так точно-с. Пистолет настоящий.

— Палил?

— Два раза.

— Да ведь это, братец ты мой, такое дело, такое... самое, сказать тебе, политическое...

— Что тут поделаете! Судите меня, как знаете... Любовь-с.

— Да вы расскажите, Василий Спиридонович, как эта вся история вышла... — обратился я к г-ну Кругликову.

— Да, — поддержал мою просьбу и Копыленков, — что ж, братец, расскажи, расскажи, — ничего! Что уж тут... Удивительно! VII

Господин Кругликов, отхлебнув последний глоток чаю, опрокинул стакан, положил на доньшко кусок сахара и отодвинул все это от себя. После этих приготовлений налил себе рюмку и опять посмотрел на свет. Я сожалел в эту минуту, что я не живописец и не могу изобразить сложных ощущений, совместившихся на оригинальном лице ат-даванского станционного писаря, освещенном оплывшими сальными свечами. Круглый облик, пепельные, аккуратно причесанные волосы с чем-то вроде кока впереди, подстриженные котлетками бакенбарды и бритый подбородок. В серых глазах, внимательно глядевших рюмку на свет, можно было бы прочесть и предвкушаемое удовольствие, и тщеславную гордость заинтересовавшего слушателей рассказчика, и искреннюю горечь разбитой жизни и жгучих воспоминаний. Он, запрокинув голову, выцедил рюмку коньяку, поставил ее на стол, обтер губы истрепанным фуляровым платком и обратился к рассказу:

— Моя биография жизни, почтенные господа, очень печальная... Чувствительный человек может окончательно все понимать, а другие смеются-с... Впрочем, это все равно-с...

Он горько улыбнулся, все еще несколько рисуясь, и затем спросил:

— Не случалось ли кому из вас, почтенные господа, бывать в Кронштадте?

— Это где? — спросил Копыленков.

— Вблизи Петербурга, часа два паровой езды-с, портовый город.

— Я бывал, — сорвалось у меня.

— Бывали-с? В самом Кронштадте-с?

Кругликов живо повернулся ко мне, и глаза его сверкнули оживлением.

— Да, бывал и даже жил несколько месяцев.

— Великолепный город! Порт, крепость, твердыня-с, оплот, окно в Европу-с... Превосходный город, уголок Санкт-Петербурга!

— Да, город хороший.

— Ах, как можно, как можно! Этакого другого города... да где вы найдете? Помилуйте. А правда ли-с, что теперь, говорил мне как-то проезжий офицер, на Екатерининской улице чугунная мостовая положена?

— Верно.

— Красота, должно быть!.. А пристани-с, Купеческая стенка, форт Павел, форт Константин...

Он увлеклся. Моя мысль тоже как-то мгновенно перенеслась с угрюмой Лены в Кронштадт, где я провел несколько радостных месяцев еще студентом... Меня, как и Кругликова, охватили воспоминания: плескала морская волна, сливающаяся с невскою, свистел пароход, длинная дамба гудела под копытами извозчичьих лошадей, везущих публику с только что приставшего парохода, сновали катера, баркасы, дымились пароходы... Белые ялики с стройно взмахивающими веслами, грузные броненосцы, шпич немецкой кирки, улицы, перерезанные каналами доков, где среди зданий, точно киты, неведомо как попавшие в середину города, стоят огромные морские громады с толстыми мачтами, каменные дома, бульвары, казармы, блеск и роскошь уголка столицы... И опять — лес мачт в синем небе, купеческая гавань, отлогая коса и шум морского прибора... Синяя даль, сверкающие гребни волн и грузные форты, выступившие далеко в море... Облака, чайки с белыми крыльями, легкий катер с сильно наклонившимся парусом, тяжелая чухонская лайба, со скрипом и стоном режущая волну, и дымок парохода там, далеко из-за Толбухина маяка, уходящего в синюю западную даль... в Европу!..

Иллюзию нарушил, во-первых, новый выстрел замерзшей реки. Должно быть, мороз принимался к ночи не на шутку. Звук был так силен, что ясно слышался сквозь стены станционной избушки, хотя и смягченный. Казалось, будто какая-то чудовищная птица летит со страшною быстротой над рекою и стонет... Стон приближается, растет, проносится мимо и с слабеющими взмахами гигантских крыльев замирает вдали.

Копыленков нервно вздрогнул и затем, как это часто бывает после испуга, с досадой накинудся на Кругликова.

— Ну, так что же, — сказал он нетерпеливо, — родом ты, что ли, из этого самого городу? Начал, так уж говори толком, не мямли!

— Да-с, родом, — отрезал Кругликов с гордостью. — На Сайдашной улице и свет увидал. Сайдашную извольте знать? У отца моего в этой улице собственный дом находился, может, стоит еще и поныне. А родитель мой, надо сказать, хотя и из ластовых был, но место имел доходное и, понятное дело, сыну тоже дал порядочного ходу. Образованием не очень увлеклся, ограничиваясь начатками грамоты и почерком, но, как и сам я был молодой человек аккуратный, по службе исполнитель и у начальства несколько на виду по причине родителя, то и стоял я, могу сказать, на лучшей линии... Да-с, по началу судьбы моей не того можно было ожидать, чем я ныне постигнут. Ясное утро и печальный закат-с...

— Не ропщи! — наставительно произнес Копыленков.

— Ну-с, итак... сказал я вам, милостивые мои государи, что у родителя был собственный дом на Сайдашной улице. А в этой же улице, насупротив, несколько этак наискосок, проживал товарищ моего отца, тоже из ластовых и, по выслуге, занимал место и еще тою доходнее...

— А какое? — не вытерпел Михайло Иванович.

— В порту, где происходят ремонт и постройка морского флота судов. Оклады тогда шли не очень чтобы сказать большие, но сторонний доход по тому времени выпадал обильно, — просто было! Можете судить по тому, что с должности редкий день уходили не обмотавшись...

— То есть это что же, насчет чего?.. — недоумевающе спросил Копыленков, для которого, как знатока по части самых разнообразных доходов, эта форма оказалась непонятной.

— Это, видите, в чем состоит. Судно морского флота не то, что ваши паузки. Наружность само собой, крепление там, ванты, рангоут и прочее, но еще внутренняя отделка требует материалу дорогого и тонкого. Великолепие, блеск и даже, можно сказать, комфорт... Ну-с, так вот, в материальных складах материй этих, лионского бархату, аглицких разных шелков... горы... Теперь представьте: надо ему уходить с должности домой; снимает он скюртук, берет кусок шелковой материи, обернет вокруг корпуса, опять одевается, уходит. Пришел домой, разматывает его жена, как катушку какую, — вот и приобрел!

— Важная штука!.. Только как же их там не щупают, на выходе-то?

— Как можно! Рабочих, конечно, обыскивают у ворот, а с господами и обращение другое, на доверчивом начале.

— Ничего, можно дела делать... Только надо умному быть. Ежели на жадного человека, который не знает меры, — живо пропасть можно. Все-таки ведь казна!

— Будьте добры, продолжайте, — в свою очередь, перебил я, видя, что теперь увлекается уж Копыленков.

— Да-с, конечно, дело не в этом. А что просто было — это верно. Просто, просто, а только что просвещения было в нашем кругу мало, а дикости много... Из-за этого я и крест теперь несую. Видите ли, была у этую папашина товарища дочка, на два года меня моложе, по восемнадцатому году, красавица! И умна... Отец в ней души не чаял, и даже ходил к ней студент — обучением занимался. Сама напросилась, — ну, а отец любимому детищу не перечил. Подвернулся студент, человек умный, ученый и цену взял недорогою, — учи!

— Напрасно, — сказал вскользь Копыленков. — Баловство! Женскому полу это ни к чему...

— Ну-с, а я был той девице, Раисе Павловне, нареченный жених. Родители наши приятели были, мы почти что и выросли вместе, и задумали отцы между собою так, чтобы непременно меня на ней женить. И мы, с своей стороны, имели друг к другу чувствительное расположение. Сначала-то, знаете, дружба, играем, бывало, вместе, а потом уж и серьезно. От родителей препятствия не видели и имели постоянно друг с дружкой обращение.

— Грех вышел? — забежал вперед Михайло Иванович.

— Никакого греха! — отрезал Кругликов холодно. — И в мыслях не было, — оба младенцы чистые. Рая до чтения была охотница, так вот в этом больше и время проводили. Сначала Гуаки там, рыцари разные, Францыль Венецыян, — чувствительные истории!.. Пустяки, конечно, а нравилось: маркграфиня, например, бранденбургская, принцесса баварская, и при всем этом свирепый сераскир... Все такое-этакое... Возвышенные персоны-с и все насчет

любви и верности упражняются и претерпевают приключения... Конечно, головы молодые! У меня все-таки служба, а она управится по домашности, как минута свободная — сейчас в комнате своей с ногами на диванчик, в платочек завернется и читает. Под вечер — я с должности вернусь — гулять идем, под ручку-с. В Кронштадте известно какое гулянье: на крепостной вал, на Купеческую стенку, бывало, сходим, на море смотрим... Она мне и рассказывает, что за день-то прочитала. Говорит, говорит, потом и задумается.

«Вот, Васенька, говорит, какие на свете бывали любовники... Вот бы и нам с тобой этак же. Можешь ли ты в испытании, например, верность сохранить?.. Вдруг бы ко мне какой-нибудь свирепый сераскир присватался?»

Ну, я, конечно, с своей стороны:

«Могу-то я могу, да только ведь нам, говорю, не к чему, если нас хоть завтра по родительскому приказу в соборе обвенчают...»

Смеюсь, конечно, потому что каждый день в канцелярию хожу, так и то обращение в свете имею, а она — дитё.

«Видишь, говорит, вон у маяка парусок бежит?»

«Вижу, бриг из-за границы идет».

«А что, говорит, может, на этом корабле пират едет: кинется вдруг, город спалит, тебе копьём грудь пронзит, меня в плен...»

Задрожит сама, испугается, жметя ко мне. Ну, я ее опять успокою:

«Что ты, бог с тобой! Это бриг идет голландский или там аглицкой, с хлопком. Мало ли их, эгличей этих, и сейчас по улицам ходит. Конечно, буянят иной раз, так ведь и в участок недолго».

«Да, — говорит и Рая, — наша жизнь есть совсем другая... Вот и студент, Дмитрий Орестович, тоже все смеется... А мне, говорит, что-то скучно...» — И вздохнет.

Ну, подошло время уже и о свадьбе думать. Начали отцы о приданом поговаривать. Вот раз мой отец и говорит: «Женить — так женить, нечего откладывать! Я, говорит, своему даю шесть тысяч, ты сколько?»

«И я, — Раин родитель отвечает, — столько же, вместе составитя двенадцать — куда им больше?»

«Нет, — мой опять говорит, — не так! Сам подумай: мой Вася может время от времени в чины взойти, а твоя дочь какая есть, такая и останется, только что стареть будет. Тебе бы по-настоящему и десять тысяч дать не обидно...»

Слово за слово — заспорили. Тот человек горячий, а уже моего-то родителя будто муха укусила: укрепился на своем, и только. Гвоздит одно, не спускает ни копейки. Ну, тот, разумеется осердился.

«Когда так, говорит, ты своего щенка над моей Раичкой на целых четыре тысячи превознес, так не надо ничего. За генерала дочку отдам, не твоему пащенку чета!»

— Нашла, значит, коса на камень, — засмеялся Копыленков.

Кругликов взглянул на него с каким-то удивлением, как будто не расслышал, и продолжал:

— Ох-хо-хо! Так-то вот из пустяков началось. Надо же вам сказать, что начальник наш, действительно, на Раю начал умильным оком поглядывать. Он хотя, скажем, не полный генерал был, да мы-то в правлении всегда его вашим превосходительством звали. Сам приказал: «Для чужих я, говорит, может, и меньше полковника, а своим подчиненным я бог и царь!»

— А что ты думаешь? И верно! — опять вставил Копыленков. — До бога высоко, до царя далеко, а он тебя тут завсегда ухватит... Это он правильно!

— В летах он был преклонных, бездетный вдовец, и заметьте, сколько ни сватал из равных себе, — никто за него не отдавал: наружности был самой скаредной... Ну, и пала ему на глаза моя Раичка. Разумеется, она и не знала, тем более что я уж считался женихом. Из себя — дело прошлое — был хорош, росту хоть небольшого, да лицом приятен, усики там, волосы всегда напомажены и щегольнуть любил... Да и отец-то ее сначала все-таки жалел единственную дочку. А тут как забрало его за живое, встал на дыбы, захрапел и сейчас мне от дому отказ, как шест, а генералу надежду подал... О-ох! И стала у нас в Сайдашной улице генеральская карета прокатываться...

Глаза Кругликова стали влажны, искра из-под пепла пробилась яснее. К сожалению, он тотчас же залил ее новой рюмкой водки. Рука, подносящая рюмку, сильно дрожала, водка плескалась и капала на пикейную жилетку.

— А там и чаще! Пешком уж стал захаживать и подарки носить. А уж я-то на порог сунуться не смею: вдруг я туда, а генерал там сидит... Убиваюсь... Вот однажды иду с должности мимо одного дома, где студент этот, учитель, квартировал, — жил он во флигелечке, книгу сочинял да чучелы делал. Только гляжу, сидит на крылечке, трубочку сосет. И теперь, сказывают, в чинах уже больших по своей части, а все трубки этой из рта не выпускает... Странный, конечно, народ — ученые люди...

Кругликов улыбнулся тихой улыбкой, встал, пошарил в какой-то шкатулке в своей темной клетушке и вынес старую книгу.

— Вот, — сказал он, — посмотрите...

Я взглянул, и на меня пахнуло давно прошедшим. Книга была издания 60-х годов, полуспециального содержания по естествознанию. Она целиком принадлежала тому общественному настроению, когда молодое у нас изучение природы гордо выступало на завоевание мира. Мир остался незавоеванным, но из-под схлынувшей свежей волны взошло все-таки много побегов. Между прочим, движение это дало нам немало славных имен. Одно из этих имен — хотя, быть может, и не из первых рядов — стояло на обложке книги.

— Они-с, Дмитрий Орестович, сочинили, — сказал Кругликов, тщательно завертывая книгу в какой-то почтовый бланк. Очевидно, он хранил ее с гордостью, как одно из своих самых лестных воспоминаний о невозвратном прошлом.

Да, так иду мимо него, слышу, окликает: «Эй, вы, господин Венецыян, поди-ка сюда!»

Подошел я: вижу, что меня зовет... Шутник был.

«Что вам угодно-с?»

«Что вы это, говорит, маркграфиню-то бранденбургскую совсем, что ли, бросили? Ведь убивается».

Посмотрел на меня этак с головы до ног... «И то, говорит, как об этаким храбром рыцаре не убиваться...»

Вижу я, что это насмешка, а все-таки человек он был души добрейшей. Рая тоже сначала очень его боялась, потому что все больше смешком да срывом, а после очень хвалила. Я не обижаюсь и говорю ему:

«Что мне делать, Дмитрий Орестович, научите!»

«А вы, говорит, не знаете?»

«То-то, не знаю».

«Ну, так и я тоже не знаю... А все-таки должен вам передать, что Раиса Павловна ждет вас сегодня в сумерки у себя. Отца не будет, свирепый сераскир тоже в Тамбов уехал. Прощайте!»

«Посоветуйте, Дмитрий Орестович, как мне быть!»

«Ну, нет, говорит, я вам в этом деле не советчик. Я вот советовал Раисе Павловне, чтоб она бросила за окно всех сераскиров, да и Венецияна одного кстати туда же... Не слушает; а вам что и советовать...»

Грустно мне тогда, признаться, сделалось. «Что, думаю, ему в самом-то деле надо мною смеяться? Чем же я хуже других-прочих женихов, только что вот несчастлив: невеста моя начальнику приглянулась. Так опять это вина не моя». Ну, потом вспомнил, что идти вечером с Раей повидаться, и повеселел.

В сумерки пробрался к ней... Кинулась мне Раиса Павловна на шею и заплакала. Посмотрел я на нее, не узнал. И та — и не та. Побледнела, осунулась, глаза большие, смотрит совсем по-иному. А красота... неописанная! Стукнуло у меня сердце-то. Не моя это Раинька, другая девица какая-то. А обнимает: «Вася, говорит, ми...лый, же...ланый, говорит, пришел, говорит, не за...был, не бр...»

Внезапно прилив слез подступил к глазам Кругликова, горло его сжалось спазмами. Он встал, отошел к стене и простоял несколько времени лицом к какому-то почтовому объявлению.

Взглянув на Михаила Ивановича, я с великим изумлением заметил, что и без того рыхлые черты этою не особенно сентиментального человека тоже как-то размякли, распустились и глаза усиленно моргали.

— Что уж это, — произнес он растроганно, — до чего чувствительная, право, история!.. Ну-ка ты, бедняга, чебурахни стаканчик! Ничего, брат, что делать! Жизнь наша, братец, юдоль...

Кругликов стыдливо подошел, налил, выпил и обтер лицо фуляром.

— Простите, господа почтенные, не могу... В последний раз я тогда Раичку свою обнимал. С этих пор уже она для меня Раиса Павловна стала, рукой не достать... воспоминание и святыня-с... Недостоин...

— Ну, ну, — защищался Копыленков от нового припадка чувствительности, — ты уж, братец, как-нибудь того, как-нибудь досказывай дальше. Что уже тут...

— Ну, просидели мы вечер этот. Раиса Павловна повеселела маленько.

«Полно, говорит, кого это мы, в самом деле, хороним. Ничего! укрепляйся, Васенька! Видно, и наше время настало. Помнишь ли, говорит, наш разговор на валу? Вот оно по-моему и вышло; свирепый-то сераскир — ведь это, говорит, сам Латкин и есть».

И засмеялась, а за нею я... Часто это у нас бывало; она, как солнышко из-за тучи,

просветлеет — ну, и я, на нее глядя...

«Смотри, говорит, Васенька, укрепись; покажем, какая может быть наша любовь; ты только не сдавайся, а уж я-то не сдамся. Погоди, какую я вещь намедни купила...»

Вынимает из комода пистолетик. Так, небольшая штучка, — ну, да ведь все-таки оружие огнестрельное, не шутка. У меня даже в пятки вступило... Вот под конец вечера я эту штучку-то у нее из стола взял да тихонечко в пальто, в карман боковой, и спрятал... Спрятал, да так и забыл, да и она-то не хватилась... Сам на следующий день иду к родителю. Сидел он у себя, чертежи делал, судно они новое строили... Увидел меня, повернулся, в глаза не смотрит... Э-эх! чуял ведь, что сына губит из-за гордости своей... Да, видно, судьба!..

«Что, говорит, надо?» Я в ноги. Куда тут! и слушать не хочет. Встал я тогда и говорю: «Ну, когда так, то я нахожусь в совершенных моих летах. Женюсь без приданого».

А родитель у меня, надо заметить, хладнокровен был. Шею имел покойник короткую, и доктора сказали, что может ему от волнения крови произойти внезапная кончина. Поэтому кричать там или ругаться шибко не любили. Только, бывало, лицо нальется, а голос и не дрогнет.

«Вот, говорит, что дурак ты, Васька, право, дурак! Говоришь, а не сделаешь... А я скажу, так уж будет по-моему. Помни это: при твоих совершенных летах я тебя отдеру, как Сидорову козу...»

«Не может быть, говорю, я чиновник».

«Не веришь? Ладно».

Отворил окно, поманил пальцем... Жили у нас во дворе, во флигелечке, два брата — бомбардиры отставные, здоровенные, подлецы, усищи у каждого по аршину, морды красные... Сапожничали: где починить, где подметку подкинуть, где и новую пару сшить, а более насчет пьянства. Вошли в комнату, стали у косяков, только усами водят, как тараканы: не перепадет ли? Отец подносит по рюмочке.

«Вот, говорит, вам, господа бомбардиры, шнапсу на первый раз. Посмотрите вот на этого молодца хорошенько. Можете ли вы его моей родительской рукой высечь?...»

Посмотрел тут младший бомбардир на старшего, а тот отвечает:

«Родительской рукой завсегда можно, — закон дозволяет».

«Ну, имейте в виду на будущее время. Как сигнал выкину, сейчас вы, говорит, его на буксир, клади в дрейф, грузи с кормовой части!.. Ну, ступайте все трое!»

Прихожу после того на службу, а там говорят: начальник звал. Вхожу. Сидит на кресле один в кабинете, искоса на меня смотрит, пальцами по столу этак барабанит, молчит. Потом повернулся, поманил к себе ближе, опять на меня смотрит.

«Вы, говорит, что это... Мечтаете?»

«Помилуйте, отвечаю, ваше превосходительство, кажется, со всем усердием служу и ничуть не мечтаю. Смею ли я?...»

«Нет, говорит, я не превосходительство вовсе... Не стесняйтесь, молодой человек. Нынче это, говорит, в моде-с. Такие времена, что начальство нипочем! Вы, кажется, имеете намерение жениться?»

«Это, говорю, ваше превосходительство, в моем возрасте и притом с дозволения начальства дело законное».

«Так, так... А кого имеете в виду?»

Замялся я. Погрозил он пальцем и говорит:

«Вот видишь, Кругликов, совесть у тебя против начальства не чиста, небось замялся... Ну, брось, забудь об этой девице думать, отринь, говорит, всякое помышление, получше тебя жених найдется. Ступай!»

Вышел я из кабинета, слезы у меня так и текут. В канцелярии и то удивляются. Должно быть, говорят, ведомости перепутал. А уж какие тут ведомости — свет мне не мил: тут — начальник, домой придешь — бомбардиры выбегают из флигеля, на окно к отцу смотрят, нет ли сигналу... Просто некуда стало податься, и что мне делать, не знаю, потому что выходу себе не вижу. Извожусь... Отец уж сам стал замечать и бомбардирам запретил меня тревожить. Выскочили они раз за сигналом, так я весь задрожал, рухнул оземь, изо рта пена пошла. Ну, отец видит, что испортил меня тиранством, велел оставить, подумывать стал, сделался осторожнее. А гордость-то все-таки осталась... Царствие небесное! Пока жив был, не оставлял меня. Писал три раза в год и деньги сюда посылал. Перед смертью письмо прислал: «Простишь ли, сын мой, что я тебя несчастным сделал?..» Бог простит, конечно. Меня-то вот... меня-то никто не простил...

— Ну? — прервал опять Копыленков тяжелое, хотя и недолгое молчание, и Кругликов продолжал рассказ:

— Враг-то мой видит, что я ослаб, тут и вздумал насесть. Через неделю этак или маленько поболее зовут меня к начальнику. Встречает серьезно.

«Одевайся! Помни, говорит, Кругликов, что мне нужны подчиненные, которые бы со всею преданностью... А кто, говорит, не предан, такие терпимы быть не могут...»

— Понятное дело! — одобрил эту сентенцию Копыленков. Кругликов опять пропустил это замечание мимо ушей и продолжал:

— Ну, сели мы... сели-с и поехали... А куда именно поехали, так этого я, милостивые мои господа, и подумать не мог... В Сайдашную улицу, к Раисе Павловне...

— Зачем? — невольно вырвалось у меня.

Кругликов посмотрел на меня с выражением, в котором смешивалась старая печаль и тщеславие.

— Сватом-с, — ответил он не без гордости.

— Бог знает, что вы это рассказываете нам, Василий Спиридонович!

— Нет, не бог знает что-с, а истинную правду... Потому что, видите ли-с... Раиса Павловна пожелала. «Если же, говорит, вы можете так утверждать, что он от меня отступился, то присылайте его сватом...»

— Ну, и девка же... Ах, бедовая! — не выдержал опять Копыленков.

— И вы пошли? — спросил я с невольной укоризной.

— Да ведь повез... — застенчиво ответил рассказчик и затем с внезапную резкостью повернулся к Копыленкову: — А вы, милостивый государь, не можете ничего понимать!

Замечания делаете, а понятия чувств не имеете-с.

— Очень нужно еще и понимать-то тебя, — отразил неожиданную атаку озадаченный купец.

— Ну, и м-м-малчи-те-с, — отрезал Кругликов каким-то скрипучим голосом и опять повернулся ко мне.

— Да, милостивый государь... Как изволите справедливо говорить-с, я и поехал... По-е-хал-с... После тоже везли меня, для объявления приговора... называется публичная казнь, на площади-с... А было мне все-таки легче. Верьте мне, легче было... А все-таки поехал-с. Люди видели, как мы оба в Сайдашной улице выходили из кареты. Генерал были сумрачны, а уж на мне-то и лица не было... Да!.. И все-таки поехал-с, милостивый государь! Судите об этом, как ваше понятие дозволяет, а поехал-с... Что делать!.. Только входим мы в переднюю, а навстречу как раз Дмитрий Орестович, студент. Увидел нас, остановился, поглядел на меня и говорит: «Ну, так и знал. Хорош, нечего сказать, принц венецианский... И свирепый сераскир тут же», — это про генерала.

Кругликов вздохнул и улыбнулся.

— Резкий человек был, бесстрашной породы. Генерал так даже позеленел и говорит ему: «Я вам, молодой человек, не сераскир! Не сераскир-с, а государя моего статский советник! Прошу не забывать-с...» Дмитрий Орестович повели этак плечом и говорят: «Ну, там какой бы ни было, а что напрасно беспокоитесь, это верно». И вышел, а генерал повернулся ко мне: «Помни, говорит, ты это: никогда я тебе этого не забуду, ни-ког-да-с...» Вот, милостивые господа, какова правда на свете... Студент нагрубил, а Кругликов отвечай!..

Однако, между тем, прошли мы гостиную, входим к Раисе Павловне... Сидит моя Рая, генеральская невеста, глаза наплаканные, большие, прямо так на меня и уставилась... Опустил я глаза... Неужто, думаю, это она, моя Раинька? Нет, не она, или вот на горе стоит, на какой-нибудь высочайшей... Ну, стал я у порога, а генерал к ручке подошел. «Вот, говорит, вы, королева моя, сомневались, а он и приехал!..»

Приподнялась она, оперлась руками на столик, глядит на меня, будто узнать не может. Генерал тоже повернулся, смотрят оба, а я... стою в Раиной комнате... у порога-с.

«Васенька...» — хотела, видно, сказать что-то, потом откинулась на кушетку и засмеялась...

«А что, говорит, можете вы его в лакеи к себе определить?» Генерал и обрадовался: «Могу, говорит, если вы, моя королева, пожелаете...»

«Что ж, говорит, возьмите, только жалованьем, говорит, не обижайте...»

У г-на Кругликова что-то вдруг сдавило горло. Он опустил голову, скрывая от нас лицо, и в комнате водворилось молчание. Даже Копыленков только глядел на писаря широко открытыми, как будто удивленными глазами, не смея нарушить тишину, наполненную тяжким сознанием глубокого человеческого унижения...

Наконец Кругликов перевел дух и посмотрел на меня каким-то свинцовым, тусклым взглядом.

— Вот тут-то, — сказал он с расстановкой, — вот в эту самую минуту, в меня, милостивый государь, и вступило. Точно я ото сна очнулся. Гляжу: комната знакомая, будто сейчас еще мы в ней с Раичкой вечером сидели. На кушетке сидит сама она, лицо закрыла, перед ней генерал семенит, а рядом столик открытый... И вспомнилось мне вдруг, как я оттуда пистолетик вынул. Да ведь он, думаю, и теперь в пальто у меня в кармане лежит... Повернулся тихонечко, вышел в переднюю. Пистолетик в боковом кармане прикорнул, будто вот дожидается. Вынул я его и, помню, даже засмеялся.

Пошел опять назад, тороплюсь, как бы, думаю, генерал-то лицом к двери не повернулся... Повернись он, кажись, ничего бы этого не было. Да нет, Раиса Павловна плачут, лицо закрыли, генерал руки от лица отымают. Вошел я, Раиса Павловна отняла руку, взглянула да так и замерла. А я... ступил два шага... только бы, думаю, не повернулся... И раз-раз в него... сзади...

— Убил? — в ужасе приподнялся Копыленков.

— Нет, не убил, — с вздохом облегчения, как будто весь рассказ лежал на нем тяжелым бременем, произнес Кругликов. — По великой ко мне милости господней выстрелы-то оказались слабые, и притом в мягкие части-с... Упал он, конечно, закричал, забарахтался, завизжал... Раиса к нему кинулась, потом видит, что он живой, только ранен, и отошла. Хотела ко мне подойти... «Васенька, говорит, бедный... Что ты наделал?..» — потом от меня... кинулась в кресло и заплакала.

«Господи, говорит, сзади... подкрался... какая низость... Уйдите, говорит, оба, оставьте меня...» И все пуще да пуще и плачет, и смеется... Истерика! А тут и люди сбежались. Ну, дальше-то известно что: арестовали.

— Ну, выпьем! — сказал Копыленков. — Все, что ли? Очень уж страшно. Ах, братец ты мой! И отчаянные же вы, право, отчаянные!.. Как это вы можете только...

— Сужден старым судом, без снисхождения. Может быть, теперь бы... муку бы мою во внимание взяли, что я был человек измученный... А тогда всякая была вина виновата. Услали. Отец в год постарел на десять лет, осунулся, здоровьем ослаб, места лишился, а я вот тут пропадаю.

— А Раиса Павловна?

Господин Кругликов встал, вошел в свою каморку, снял со стены какой-то портрет в вычурной рамке, сделанной с очевидно нарочитым старанием каким-нибудь искусным поселенцем, и принес его к нам. На портрете, значительно уже выцветшем от времени, я увидел группу: красивая молодая женщина, мужчина с резкими, характерными чертами лица, с умным взглядом серых глаз, в очках, и двое детей.

— Неужели это?..

— Они-с, — сказал Кругликов почтительно. — Раиса Павловна. А это их супруг, Дмитрий Орестович. Не забывают. К новому году жду письма-с. И портрет этот прислали по униженной моей просьбе, да и... деньгами когда... то же самое...

Он говорил почтительно, как будто это была не та Рая, с которой он некогда читал о королевнах Ренцывенах и Францылях Венецианских. Только когда он указывал на старшую девочку, тоненькую, светловолосую, с большими мечтательными глазами, то голос его опять слегка дрогнул.

— Похожа... две капли воды Раиса Павловна девочкой-с.

Он быстро взял портрет, к которому потянулся было заинтересованный Копыленков, унес в свою комнату и долго стоял там у стены, как прежде перед почтовым объявлением.

Вся фигура в кургузом пиджачке нервно вздрагивала... VIII

После этого никакие уже разговоры не клеились. Сторож принес в печку дров, в ямщицкой юрте огромный камелек тоже весь заставили дровами, так как огонь разводится на всю ночь. Пламя разгорелось и трещало. В приоткрытую дверь все еще виднелись у огня фигуры ямщиков, лежавших вокруг камелька на скамьях.

Ат-Даван успокоился на ночь.

Господин Кругликов отвел нам соседнюю комнату, где Копыленков тотчас же заснул. Станционная комната осталась незанятой.

— Для Арабина? — спросил я.

— Да, — как-то особенно угрюмо ответил Кругликов.

Женщина, прислуживавшая нам, вероятно, давно спала; поэтому г-н Кругликов хлопотал сам: он накидал в самовар мелкого льду, бросил углей и поставил его, на случай, у камелька. Потом принялся убирать со стола, причем не преминул, уставляя бутылки, выпить еще рюмку какого-то напитка. Он становился все более мрачен, но, казалось, сон совсем не имел над ним власти.

Наконец на Ат-Даване все смолкло. Только по временам снаружи трещал мороз да в потемневших комнатах, по которым пробежали теперь только трепетные красноватые отблески пламени, слышались глухие шаги и шлепанье валенок, а порой тихо звенела рюмка и булькала наливаемая жидкость. Г-н Кругликов, которому расшевелившиеся воспоминания, по-видимому, не давали заснуть, как-то тоскливо соваля по станции, вздыхал, молился или ворчал что-то про себя.

Я забылся...

Когда я очнулся, была все еще глухая ночь, но Ат-Даван весь опять жил, сиял и двигался. Со двора несся звон, хлопали двери, бегали ямщики, фыркали и стучали копытами по скрипучему снегу быстро проводимые под стенами лошади, тревожно звенели дуги с колокольцами, и все это каким-то шумным потоком стремилось со станции к реке.

В соседней комнате г-н Кругликов не торопясь зажигал свечи; серная спичка сначала кинула синеватый, мертвенный свет, потом вдруг загорелась и осветила комнату.

Господин Кругликов поднес ее к светильне, зажег свечу и повернулся. Перед ним невдалеке стояла новая фигура: человек в оленьей дохе с капюшоном, запорошенный снегом. Из-под оленьего мешка глядели два черные глаза, слегка скошенные, как у карыма, виднелось бледное лицо, тонкий нос и длинные, черные, опущенные книзу усы. По этим чертам я узнал Арабын-тойона, которого с таким тихим трепетом и смирением ждал Ат-Даван уже несколько дней. И в то же время это был мой знакомый, казацкий хорунжий, незначительный и застенчивый в Иркутске.

По-видимому, первый выход обещал, что все сойдет благополучно. Арабин, очевидно, сильно устал, может быть, от дороги, а может быть также — от роли грозного Арабын-тойона... Казалось, он хочет просто отдохнуть, напиться чаю, прилечь... Теперь он стоял, слегка опустившись, с сонным лицом, в ожидании света. Только по временам в мутных глазах загоралось нетерпение... Зато с г-ном Кругликовым произошла резкая перемена: он совсем не был похож на того маленького, невзрачного и смешного человечка, который еще вчера униженно просил пожалеть его и не требовать лошадей. Теперь он был угрюм, серьезен и сдержан. Движения его были неторопливы и полны какой-то решимости. Он даже как будто вырос. По-видимому, вчерашний рассказ, большое количество водки, пары которой только проходили через его голову, разгоряченную старыми растревоженными воспоминаниями, и ночь без сна, — все это не прошло для г-на Кругликова даром.

— Черт возьми! — произнес Арабин нетерпеливо. — Шевелись там!

— Покорнейше прошу потише, здесь проезжающие, — спокойно отвечал Кругликов.

Арабин снимал свою шапку, и когда снял ее, то в его черных глазах сверкнуло что-то вроде изумления. Однако он все еще, по-видимому, старался удержаться.

— Самовар! — буркнул он, кидая доху и садясь к столу.

— Готов.

— Лошадей!

— Пожалуйте прогоны.

Голова Арабина, низко остриженная, с тонкими, слегка торчащими по-монгольски ушами, повернулась тревожно и живо. В глазах сверкнуло уже что-то порезче простого удивления. Он поднялся и произнес опять:

— Лошадей, живо!

— Прогоны пожалуйте, — с каким-то вызывающим спокойствием отрезал г-н Кругликов.

Вблизи меня что-то зашевелилось. Проснувшийся Копыленков, полусидя на кровати, старался без шума натянуть какую-то принадлежность костюма с таким видом, будто на станции начинался пожар или неприятельское нашествие. Его шея была вытянута, простодушно-хитрые глаза сверкали в полутьме от испуга и любопытства.

— Н-ну, что-то будет, — наклонясь вдруг ко мне, прошептал он, — беда!.. И отчаянный же этот Кругликов... Помни, братец ты мой, мы с тобой ничего не видали — в свидетели еще попадешь...

Только теперь, после этих слов, я сообразил положение вещей... Спрашивать у г-на Арабина, известного и грозного Арабын-тойона, прогоны, да еще таким решительным тоном, да еще как условие подачи лошадей, — это была со стороны смиренного, приютившегося под дикими горами Ат-Давана неслыханная дерзость. Арабин вскочил, сердито дернул к себе сумку, выхватил какую-то бумагу и порывисто швырнул ее Кругликову. По всему было видно, что он, усталый и разбитый, хочет удержаться в известных пределах, что ему теперь тяжела и неприятна роль грозного Арабын-тойона в этот поздний час, на теплом и освещенном Ат-Даване. Но он не хотел также платить прогоны, тем более что эта тихая, смиренная Лена имеет одну особенность: заплати г-н Арабин на Ат-Даване — и его престиж сразу падет, и уже всюду, на протяжении трех тысяч верст, ямщики от станка до станка разнесут известие, что улахан Арабын-тойон сдался и платит... И всюду уже с него неотступно потребуют тоже прогонов. Он, вероятно, надеялся еще, что Кругликов забыл, кто он такой и бумага ему напомнит. Но вышло еще хуже.

Кругликов, все так же не торопясь, развернул бумагу, прочитал ее внимательно, долго переводил глаза от строки к строке и потом сказал:

— Здесь вот сказано: «на четверку лошадей за установленные прогоны». А вы берете шестерку под две повозки и не изволите платить прогонов. Незаконно-с...

Голос его звучал тоже спокойно, но он как будто разнесся по всему Ат-Давану. Шум, которым был полон станок, приостановился; ямщики теснились с робким интересом к дверям, ведущим из ямщицкой в горницы. Копыленков притаил дыхание.

Арабин встrepенулcя, окинул станок вспыхнувшим взглядом, выпрямился, стукнул кулаком по столу, и по лицу его пробежало зловещее выражение.

— Молчать! — крикнул он. — Это что... бунт?

— Никакого бунту-с, а по закону. По указу его императорского величества. Что, в самом деле, до коих пор...

Кругликов не успел окончить. Сильный удар свалил его с ног... Арабин кинулся было к лежащему...

Я вбежал в ту комнату и остановился. Арабин стоял против меня, удивленный моим неожиданным появлением. Это, вероятно, спасло и Кругликова, и самого Арабина от дальнейших последствий его исступления. Бледное лицо его подергивалось, в глазах бегало что-то беспокойное и больное. Казалось, казацкий хорунжий, забывший на Лене о том, что он только казацкий хорунжий, и сам уже отвык представлять себя иначе, как Арабын-тойоном, могучим и грозным, с головой выше приленских сопок. И вдруг мое появление перенесло его в Иркутск, в низкую комнату, где голова хорунжего далеко не достигала потолка и не поднималась выше десятков других, самых обыкновенных голов.

Однако Ат-Даван не заметил ни этой растерянности, ни этого душевного движения. Он видел только удар, видел, что писарь лежал на полу. Двери из ямской захлопнулись, на дворе опять началась беготня. Из нашей комнаты слышался притворный храп Михаила Ивановича...

Очевидно, бунт в Ат-Даване прекратился, и Арабын-тойон остался для Ат-Давана тем же могучим и грозным, о котором недавно пела песня.

Через несколько мгновений Кругликов поднялся с полу, и тотчас же мои глаза встретились с его глазами. Я невольно отвернулся. Во взгляде Кругликова было что-то до такой степени жалкое, что у меня сжалось сердце, — так смотрят только у нас на Руси!.. Он встал, отошел к стене и, прислонясь плечом, закрыл лицо руками. Фигура опять была вчерашняя, только еще более убитая, приниженная и жалкая.

Женщина торопливо внесла самовар, искоса и с жалостью кинув на хозяина быстрый взгляд... Арабин, тяжело дыша, уселся за самовар.

— Я вам пок-кажу бунтовать! — ворчал он. Дальше разобрать было трудно. Слышно было, однако, какое-то упоминание о «свидетелях», которым г-н Арабин советовал отправиться ко всем чертям, о чести мундира и еще что-то в том же роде. IX

Между тем в полутьме нашей комнаты Михайло Иванович Копыленков спешно заканчивал свой туалет. Через несколько минут он появился в дверях, одетый, застегиваясь, покашливая и стараясь изобразить на лице приветливую улыбку. Арабин взглянул на это неожиданное появление с выражением сердитого недоумения. По-видимому, он не мог понять сразу, что нужно этому улыбающемуся, подпрыгивающему на ходу и кланяющемуся незнакомцу, однако приятные улыбки и поклоны озадачивали его и предупреждали вспышку не утихшей еще свирепости. Он подносил слегка дрожащею рукой блюдо с горячим чаем и искоса недоброжелательно следил за маневрами Копыленкова.

— Вам что надо? — вдруг отчеканил он резко, ставя блюдо на стол.

Копыленков чуть-чуть дрогнул, но тотчас же опять принял прежнее выражение подловатой любезности.

— Собственно, ничего-с. Почтение засвидетельствовать... Не изволили признать, видно... У Лев Степановича, у горного исправника, если изволите вспомнить, имели разговор и даже-с... дельце одно происходило...

— А-а!.. Ну, так, — произнес Арабин, опять принимаясь за чай. — Теперь помню.

— Именно-с, — обрадовался Копыленков. — А могу побеспокоить вопросом, по какому

поручению изволите?..

— Не ваше дело!

— Это справедливо, — смиренно согласился Михайло Иванович. — Может, касающее секрета...

Бедняга не мог понять, что самое упоминание об Иркутске, о горном исправнике, обо всех этих будничных делах не могло быть приятно Арабын-тойону, все еще находившемуся в эпическом, сказочном мире.

— Справедливо-с, — в раздумье еще раз произнес Копыленков и, чтобы удержать позицию, прибавил: — Сердиться изволили тут мало-мало... Да уж истинно, что в здешних местах ангел — и тот рассердится. Верно.

Он покосился в сторону Кругликова и вздохнул:

— Необразованность!

Однако и это не помогло. Арабин не обратил на него внимания, допил стакан, вынул книжку, что-то записал в ней, потом торопливо оделся, рванулся к двери, потом остановился, взглянул, нет ли в дверях кого-либо из ямщиков, и, будто обдумав что-то, вдруг резким движением швырнул деньги. Две бумажки мелькнули в воздухе, серебро со звоном покатилося на пол. Арабин исчез за дверью, и через минуту колокольчики бешено забились на реке под обрывом.

Все это было сделано так неожиданно и быстро, что все мы, трое безмолвных свидетелей этой сцены, не сразу сообразили, что это значит. Как всегда в денежных вопросах, первый, однако, догадался Копыленков.

— Уплатил! — произнес он с величайшим изумлением. — Слышь ты. Кругликов? Ведь это, смотри, прогоны. Ах ты, братец мой!.. Вот так история!

Из ямщиков никто не был свидетелем этой уступки со стороны грозного Арабын-тойона. Х

Поздним утром следующего дня мы с Копыленковым опять усаживались в свой возок. Мороз не уменьшался. Из-за гор, синевших в морозном тумане за рекой, бледными столбами прорывались лучи восходящего солнца. Лошади бились, и ямщики с трудом удерживали озябшую тройку.

На Ат-Даване было грустно, серо и тихо. Кругликов, подавленный обрушившеюся вчера невзгодой, угнетенный и приниженный, проводил нас до саней, вздрагивая от холода, похмелья и печали. Он с каким-то подобострастием подсаживал Копыленкова, запахивал его ноги кошмой, задерживал пологом.

— Михаил Иванович, — произнес он с робкою мольбой, — будьте благодетель, не забудьте насчет местечка-то. Теперь уж мне здесь не служить! Сами видели, грех какой вышел...

— Хорошо, хорошо, братец! — как-то неохотно ответил Копыленков.

В эту минуту ямщики, державшие лошадей, расскочились в стороны, тройка подхватила с места, и мы понеслись по ледяной дороге. Обрывистый берег убежал назад, туманные сопки, на которые я глядел вчера, — таинственные и фантастические под сиянием луны, — надвигались на нас теперь хмурые и холодные.

— Ну, что ж, Михаил Иваныч, — спросил я, когда тройка побежала ровнее, — доставите вы ему место?

— Нет, — ответил Копыленков равнодушно.

— Но почему же?

— Вредный человек-с, самый опасный, д-да!.. Вы вот рассудите-ка об его поступках. Ну, захотел он тогда, в Кронштадте-то в этом, начальника уважить — и уважь! Отказался бы вчистую от невесты и был бы век свой счастлив. Мало ли их, невестов этих. От одной отступился — взял другую, только и было. А его бы за это человеком сделали. Нет, он, вот посмотрите, как уважил... из пистолета! Ты, братец, суди по человечеству: ну, кому это может быть приятно? И что это за поведение за такое?.. Сегодня он вас этак уважил, а завтра меня.

— Да ведь это давно было. Теперь он не тот.

— Нет, не скажи! Слышал, чай, как он вчера с Арабиным-то разговаривал?..

— Я слышал: требовал прогоны, — это его обязанность.

Копыленков повернулся с досадой ко мне.

— Ведь вот умный ты человек, а простого дела не понимаешь. Протоны... Нешто он ему одному не платил? Чай, он, может, сколько тысячей верст ехал, нигде не платил. На вот, ему одному подавай, велика птица!

— Обязан платить.

— Обязан! Кто его обязал-то, не вы ли с Кругликовым со своим?

— Закон, Михайло Иванович.

— За-а-кон... То-то вот и он вчера заладил: закон. Да он знает ли еще какое это слово: «закон»?

— Какое?

— А такое: раз ты его скажи, десять раз про себя поддержи, пока не спросят. А то, вишь ты, развеличался: «Закон, по закону!..» Дубина ты, а не закон тебе! Нашелся тоже большой человек — начальнику законы указывать...

Видя, что Михайло Иванович начинает сердиться свыше всякой меры, и опасаясь, чтоб окончательно не испортить дела, я попробовал зайти, в интересе Кругликова, с другой стороны.

— Однако вспомните, Михаил Иванович, ведь вы же ему обещали.

— Мало ли что обещал... Разжалобился, оттого и обещал...

— Подымай! — крикнул вдруг Михайло Иванович, так как возок, скользя с наклонной льдины, опять опрокинулся, и опять Михайло Иванович очутился подо мной.

Пришлось выйти. Вероятно, в этом месте борьба реки с морозом была особенно сильна: огромные белые, холодные льдины обступили нас кругом, закрывая перспективу реки. Только по сторонам дикие и даже страшные в своем величии горы выступили резко из тумана, да вдали, над хаотически нагроможденным торосом, тянулась едва заметная белая струйка дыма...

Это, должно быть, и был Ат-Даван.

I. Станочники

Осенью 188.. года мне с двумя товарищами пришлось совершить по Лене путь от Якутска до Иркутска, что составляет приблизительно около трех тысяч верст.

Наше положение давало нам право на «тройку обывательских лошадей с провожатым» бесплатно. Но перед отъездом мы имели несчастье повздорить несколько с местной властью. Исправник, «из хохлов», человек в высшей степени флегматичный и ленивый, не стал с нами спорить или изобретать способы мщения. Он только нашел, что выданная нам бумага составлена неправильно, и выдал другую. В этой последней было все то же, что и в первой, за небольшим исключением: как и в первой, в ней было сказано, что мы имеем право «следовать от станка до станка» и даже с провожатым, но о лошадях не было упомянуто ни слова.

Впоследствии мы узнали, что такими загадочными бумагами якутская полиция снабжала иногда в виде особого одолжения проторговавшихся или прокутившихся на летней якутской ярмарке иркутских приказчиков. Остальное предоставлялось ловкости и авторитету путников. Если они сумеют импонировать забитому и неграмотному населению, то проедут даром всю дорогу... Они будут кричать, торопить ямщиков, кое-где откупаться подачками от редких грамотеев, кое-где даже, для большей уверенности, бить старост по скулам, а ямщиков по шее. Во всяком случае, такая дружеская бумажка дает возможность сильно сократить расходы длинного и дорогого пути.

С такой же бумажкой в руках очутились и мы. Наше право на «обывательских лошадей» было неоспоримо, но, чтобы восстановить его, нам пришлось бы жаловаться и ждать. Ждать, пока жалоба и резолюция проедут те же три тысячи верст, до Иркутска и обратно, какие приходилось сделать нам... И мы решились пуститься в путь без жалобы...

Сначала дело шло гладко. Под городом споров не возникло. Далее мы ехали от станка до станка, и ямщики везли нас беспрекословно только потому, что нас к ним привозили соседи. Значит, так и нужно. Но затем, уже довольно далеко от города, на одном из станков какой-то грамотей, одетый в звериные шкуры, вчитался в наше «свидетельство» и заподозрил в нем форму знакомой «дружеской бумаги», смысл и значение которой население уже разгадало. Он стал что-то говорить ямщикам по-якутски, те робко окружили нас, топтались, молчали, поталкивали друг друга, и, наконец, задние объявили, что по этой «бумаге» нас везти не следует. Станочники, вероятно, ждали с нашей стороны вспышки и обычных проявлений авторитета, которые доказали бы им если не наше право, то степень нашего значения в мире повелевающих (грамотей на всякий случай поместился сзади всех). Но мы не имели к этому ни охоты, ни способностей. Мы просто стояли только на своем. Тогда толпа стала смелее, голоса все больше возвышались, начались шумные споры...

Положение становилось затруднительным. Мы походили на путников, отчавивших с ненадежным парусом от одного берега и рисковавших не пристать к другому. Прогоны, особенно в осеннее время, на три тысячи верст требовали несколько сот рублей. Таких денег у нас не было. Если бы где-нибудь произошла окончательная остановка, у нас не хватило бы и на обратный путь до Якутска. Год был голодный, хлеба трудно было на пустынных станках

достать и за деньги, и поэтому провизию мы тоже везли с собою. Вообще, мы физически не могли уступить, если бы и хотели, и наш путь обратился в настоящую каторгу: приезжая к вечеру на станцию, усталые и озябшие, мы вместо отдыха встречали новые сомнения, возражения, упреки и споры... Они продолжались обыкновенно и утром следующего дня. Выезжали мы поздно, проезжали мало, и если была в этом хорошая сторона, то разве та, что таким образом мы имели случай ознакомиться с своеобразным бытом этих ленских станочников...

Ленские станки — это как бы сколок прошлых веков, оставленный на далекой реке в нетронутым виде периодом российских реформ, как остается зимний лед в глубоких ущельях... Это бывшие «государевы ямщики», мужики, несущие на жалованье ямскую государеву службу. Государству необходимо поддерживать сношения с отдаленным и мало населенным краем. Изредка проедет по реке чиновник или полицейский заседатель, в неделю раз проскачет почта, порой промчится эстафета или генерал-губернаторский курьер пролетит, как сорвавшийся с цепи, по-старинному понукая ямщика полновесными ударами по шее. И уже совсем редко появится купец или иной партикулярный человек, следующий по собственной надобности и, значит, платящий «прогоны», в общем составляющие совершенно ничтожную цифру...

Да еще порой в эту узкую ленскую щель с юга, от Иркутска, пригонят партию арестантов и пустят ее дальше самостоятельно вниз по реке. Начальник партии уезжает вперед, а команда с арестантами растягивается на далекое расстояние. Скрыться из этой щели некуда: направо и налево за береговыми хребтами дикая таежная пустыня, населенная лишь бродячими тунгусами. Назад — уже пройденные станки, население которых, раз накормивши арестанта (своего рода натуральная повинность), в другой раз его не примет. И партия, растягиваясь иногда на неделю, спускается от станка к станку летом в лодках, зимой на дровнях, мечтая о далеком якутском остроге, как о земле обетованной. День за днем на станки являются эти люди в серых халатах, испуганные, подавленные суровым величием этих камней и голодные. Их с проклятиями разводят по очередным избам и проклятиями же сопровождают каждый кусок подаваемого дорогого хлеба...

Наконец, порой поселенец напраказит на приисках, — тогда его снабжают «листом», и ямщики везут его до места приписки... А весной он опять спускается в лодке, чтобы через некоторое время опять катить на обывательских обратно...

В совокупности всею этого — смысл существования ленских ямщиков. Когда-то давно по реке проехали землемеры и чиновники, высматривая из лодки «места, годные для поселения», и по глазомеру определяя расстояние. Потом из разных мест России и Сибири пригнали мужиков и поселили на голых камнях. Мужики, по большей части завербованные волшебными сказками о «золотых горах», плакали и били кайлами углубления порой в сплошном камне. В ямы вставляли столбы, на столбы клали венцы и строили избы и юрты... И с тех пор они живут здесь столетия — мужики, несущие на жалованье государственную службу! Старинные «ямы» всюду давно исчезли, исчезло крепостное право во всех видах. Осталось оно только на Лене...

Выбор мест для станков, по-видимому, из «государственных видов» останавливался преимущественно на местах, совершенно неудобных для земледелия. Станочники не наделены землей, и все их существование зависит от почтовой гоньбы...

Каждые три или четыре года исправники, их помощники или заседатели проезжают по станкам и заключают с ямщиками контракты «по добровольному соглашению». Для станочников это добровольное соглашение определяется тем, что без «жалованья» они перемерут голодную смертью... Целыми станками, поголовно, они будут умирать среди этих равнодушных камней, и никому до этого не будет дела... Зато, если бы они действительно отказались, почтовая служба станет, и необходимое «воздействие центра на окраину»

прекратится. В ямщики нужен мужик и только мужик Варнака-поселенца, с которым пришлось бы пробираться сам-друг этими дикими камнями и ущельями, боится начальство. Якуты и инородцы, в свою очередь, боятся начальства, и было много случаев, когда при первом же окрике или ударе грозного фельдъегеря ямщики-инородцы бросали лошадей и разбегались... Ввиду этого признано, что для правильной гоньбы идет только правильный и настоящий русский мужик, искушенный в долготерпении и понимающий начальственное обращение.

На этой почве возникают отношения в высшей степени запутанные, своеобразные, а пожалуй, и безобразные. Чиновник, отправляющийся по станкам для заключения новых контрактов, прежде всего должен обеспечить гоньбу, а затем сделать это как можно дешевле, так как этим он может отличиться и получить награду. Поэтому в тех местах, где поблизости есть пашни и покосы, которые станочники снимают у якутов или бурят, население держится крепко, и пены за пару доходят иной раз до тысячи и более рублей. Одна из таких счастливых волостей носит даже название «дворянской». Здесь мужчины ходят в приисковых, расшитых кафтанах, собольих шапках, и молодые ямщики курят привозные папиросы «Лаферм» с золотыми орлами на мундштуках. Однажды при мне такой ямщик, которому проезжий обещал на чай, если он подаст лошадей скорее, посмотрел на него равнодушным взглядом и ответил:

— Я тебе, господин, сам, пожалуй, дам на чай, — только не езд!

И это понятно, потому что редкие прогоны, разверстываемые по душам, — ничтожны сравнительно с «жалованьем» этих счастливцев.

Зато в других местах, где нет ни пашен, ни покосов, ни сторонних заработков, — цена сбивалась до трехсот и даже до двухсот шестидесяти рублей, особенно в трудные годы дороговизны хлеба и сена... Население таких обездоленных станков — наследственно угнетенное, необыкновенно печальное и явно вырождающееся. Уйти им целым обществом в переселение нельзя! Это будет уже «бунт», и начальство примет «строгие меры». Отдельных же членов своих не пустит само общество: остающиеся не желают принять от уходящего часть тяжкого бремени этой ужасной жизни.

Так и тянется забытая историей жизнь своеобразных ямщицких общин. На каждом станке должно быть столько-то пар лошадей, по столько-то за пару. Население разделяет «по душам» и почтовую повинность, и плату «Душа» ямщика — это такая-то доля лошади... В станках с меньшим населением эта доля будет больше, и на домохозяина придется половина лошади и даже целая... Где население более многочисленно, «душа» соответствует четверти, осьмой и т. д. части лошади... Разверстка этих лошадиных «душ» с лежащими на них повинностями и «жалованьем» чрезвычайно своеобразна и заслуживала бы внимания исследователя... Если лошадь пала, на ямщика навалит ее работа: он будет грести летом или таскать лодки лямкой... Если работник захворал или умер, — семья тоже вымирает медленной смертью, на которую полуголодные соседи глядят с испуганным состраданием, а камни и леса — с величавым стихийным равнодушием...

В общем, большинство этих забытых жизнью «государевых ямщиков» производят впечатление медленного вымирания. Они болезненны, бледны, печальны и хмуры, как эти берега. Свою родную реку они зовут «проклятою» или «гиблою щелью» и уверяют с полным убеждением, будто «начальники» (устанавливающие «добровольное соглашение») не верят в бога, отчего земля ни одного из них после смерти не принимает в свои недра. «Что губернаторы, что исправники, что заседатели, — все одно... Положат его в домовину, он так сквозь землю и пойдет, и пойдет... в самые, видно, тартарары».

И с этими-то несчастными людьми мы, хитростью нашего лукавого врага, были поставлены в положение взаимной борьбы... И теперь еще я не могу вспомнить без некоторого замиранья сердца о тоске этого долгого пути и этих бесконечных споров с людьми, порой так глубоко

несчастливыми и имевшими полное основание подозревать с нашей стороны посягательство на их даровую труд... Да, это была настоящая пытка...

II. Микеша

На одной из станций произошла серьезная остановка. Ямщики уперлись и, не видя с нашей стороны решительных действий, продержали нас целые сутки. К счастью, ранним утром я услышал колокольцы: кто-то проезжал на почтовых в Якутск. Пока перепрягали лошадей, я вынул свою дорожную чернильницу и бумагу и при свете камелька стал писать письмо в город, изображая наше положение. Это таинственное в глазах станочников и совершенно необычное действие произвело сильное впечатление. Ямщики входили, смотрели на меня с глубочайшим вниманием, уходили опять, и, наконец, когда письмо было готово и я собрался его заклеивать, вошел, видимо, встревоженный, староста, поклонился мне и сказал:

— Зачем писать? Не надо, пожалуйста. Повезем... Брось бумагу...

И, действительно, около полудня нам подали трех верховых лошадей. На четвертой впереди ехал хозяин-ямщик и еще сзади — вприпрыжку бежал пеший, молодой парень лет двадцати трех, придерживаясь по временам за мое стремя. Дорога на этот раз отошла от берега и пролегла тайгой; уже пожелтевшей, но еще не совсем потерявшей листву... Порой из-за верхушек деревьев мелькали вдали береговые горы и ущелья, освещенные косыми лучами осеннего солнца. Лошади бежали бойко, и, когда я нарочно сдерживал свою, чтобы не затруднять бегущего, — хозяин-ямщик оборачивался и покрикивал:

— Не отставай! Не отставай!

А пеший глубоко вдыхал воздух и прибавлял шагу.

— Ничего, ничего! Ударь!.. — говорил он и, все так же держась за стремя, продолжал бежать рядом...

Это было странное существо с очень смуглым лицом и глубокими вдумчивыми глазами. Пока я писал свое письмо, он, войдя в избу, стоял рядом, не отрывая глаз от клочка бумаги, по которой бегало мое перо, выводя непонятные для него знаки. Когда этот процесс вызвал на станке суматоху и ямщики стали входить и выходить из избы с явными признаками беспокойства, — он так же внимательно следил за ними, переводя взгляд с бумаги на лица своих земляков и обратно, как бы изучая таинственную связь, установившуюся между этим листком и их настроением. По временам на лице его мелькало что-то похожее на злорадную улыбку. Когда же наконец станок уступил, — он крякнул и вздохнул так сильно, как будто это он сам только что свалил с себя тяжелую работу. В его глазах виднелось выражение восхищения, почти восторга, как будто он присутствовал при волшебном опыте, проделанном с замечательной чистотой и результаты которого он отчасти предвидел или угадывал. Когда впоследствии ямщики подняли обычные споры из-за очереди и разверстки, — он слушал этот галдеж равнодушно и отчасти насмешливо.

При этом как-то неожиданно вышло, что разверстка запуталась. Общество находило, что везти нас было выгоднее обычных очередей. Мы не пользовались продовольствием очередного станочника и, сколько могли, платили на чай везшим нас ямщикам. Таким образом «равнение» нарушалось, очередь становилась слишком легкой, и другим казалось обидно. Очередной ямщик горячился и спорил, находя, что это уже его «фарт», но кто-то вдруг предложил исход:

— Прибавить ему Микешу, — сказал он.

— И верно, — согласились остальные.

— Куда мне его? — протестовал хозяин.

— Ничего, — побежит пешком. Назад, однако, с четверкой трудно тебе... Помогет будто...

— И верно. А ты, значит, ему за четь... Оно и выйдет ровень...

— Много...

— Чего много?.. Надо тоже и ему как-ни-набудь... хоша бы и Микеше...

Микеша слушал эти разговоры с таким равнодушием, как будто речь шла совсем не о нем. Из разговоров я понял, что его считают несколько «порченным». Хозяйство после смерти отца и матери он порешил, живет бобылем-захребетником, не хочет жениться, два раза уходил в бега, пробираясь на прииски, и употребляется обществом на случайные междуочередные работы или, как теперь, в качестве некоторого привеска, для «равнения»...

Теперь этот живой привесок общинных весов бежал рядом с нами, держась по большей части у моего стремени, так как я ехал последним. Когда мы въехали в лес, Микеша остановил меня и, вынув из-под куста небольшой узелок и ружье, привязал узелок к луке седла, а ружье вскинул себе на плечо... Мне показалось, что он делает это с какой-то осторожностью, поглядывая вперед. Узел, очевидно, он занес сюда, пока снаряжали лошадей.

Вскоре впереди, между перелесками, послышался звон колокольцев, и, растянувшись длинным караваном с переметными сумами в седлах, мимо нас пробежала встречная почта. Передовой ямщик наш проводил ее разочарованным взглядом — очевидно, он надеялся приехать на станцию раньше и заодно на обратном пути захватить часть почты на свою четверку. К одной выгодной очереди он, таким образом, присоединил бы и другую, выгодную уже для всего станка. Микеша посмотрел на его разочарованную фигуру и свистнул.

— Глади, умные наши станочники, — сказал он с насмешкой. — Не спорились бы вчера, как раз бы успели... Четыре лошади не гоняли бы зря...

Очевидно, неудача станочников его не касалась и будила в нем лишь некоторую ироническую наблюдательность...

— Ну-ну! Сам умнай! — со злостью ответил ему ямщик. — Обчество учить станешь... — И он хлестнул опять свою лошадь, выбираясь на дорогу...

После этого мы поехали легкой рысцой, и Микеша вздохнул свободно. Верст уже десять он пробежал, не отставая от рыси лошадей, но, видимо, это скороходное искусство, созданное привычкой с детства, не давалось ему даром. Лицо его слегка побледнело, на лбу были крупные капли пота.

Теперь он не торопясь шагал рядом, все так же держась за мое с гремя, и закидал меня вопросами. На мои расспросы о жизни ямщиков он отвечал неохотно, как будто этот предмет внушал ему отвращение. Вместо этого он сам спрашивал, откуда мы, куда едем, большой ли город Петербург, правда ли, что там по пяти домов ставят один на другой, и есть ли конец земле, и можно ли видеть царя, и как к нему дойти. При этом смуглое лицо его оставалось неподвижным, но в глазах сверкало жадное любопытство.

Эта кипучая жадность, горевшая во взгляде молодого станочника, произвела на меня странно возбуждающее действие, и я неожиданно для себя разговорился. Казалось, горы, нас окружавшие, раздвинулись, я заглянул далеко за них и почти бессознательно старался дать

заглянуть туда и этому наивному станочнику. Товарищи уехали вперед, покрикивания передового ямщика смолкли, кругом нас тихо стоял лесок, весь желтый, приготовившийся к зиме, а из-за его вершин выглядывали верхушки скал, на которых угасали последние лучи дня.

Через некоторое время дорога вышла из лесу и направилась через опушку к реке. На другой стороне, казалось, совсем близко, стояли стеной скалы, изломанные, причудливые, мертвые, с трещинами, выступами, ущельями... А под ними, убегая вдаль, струилась темная река.

Зрелище было полно такой глубокой и такой красивой печали, что я невольно остановил лошадь. Микеша тоже остановился и с удивлением посмотрел на меня.

— Что стал? — спросил он.

— Хорошо очень, Микеша, — ответил я с невольным восхищением, не отрывая глаз от освещенного косыми лучами горного берега.

— Хорошо? — переспросил он все так же удивленно и прибавил с глубоким убеждением на наивно-изломанном наречии средней Лены: — Нет! Белом свете хорошо. За горами хорошо... А мы тут... зачем живем? Пеструю столбу караулим... Пеструю столбу, да серый камень, да темную лесу...

Впереди из-за куста выглядывал полосатый казенный столб, полинялый и наклонившийся. Его-то, очевидно, и разумел Микеша под «пестрой столбой». В голосе его слышалось столько глубокой грусти, что мне стало вдруг не по себе, как будто я был виноват в чем-то. Зачем я только что с таким увлечением рассказывал ему о далекой стране, куда мы едем? Пройдет месяца два или три, и я буду там, в этом широком белом свете, а этот странный молодой станочник с глубокими черными глазами все равно останется здесь, у своей «пестрой столбы», среди этих красивых, но мертвых и бесплодных камней, над пустынной рекой.

После этого с версту мы проехали молча. Лучи на камнях угасали, в ущельях залегали густые сумерки, насыщенные туманами, которые в Сибири называют красивым словом «мороки». В воздухе быстро свежело. Шаг лошади гулко раздавался по перелескам.

— На Титаринском станке опять, видно, писать будешь? — спросил Микеша, с любопытством поднимая на меня свои наивные глаза.

— Зачем? — спросил я, несколько удивленный.

— Не дадут лошадей, — пояснил он. — Титаринские станочники — не народ, а дьявол. Не пишешь — не дают, пишешь — боятся. Пиши! Я смотреть буду...

— Не отставай! Не отста-ва-ай! — донесся издали протяжный окрик передового ямщика.

— Ударь, — сказал Микеша. — Ночь придет...

Я тронул лошадь поводом, но, пробежав несколько сажен, она вдруг шарахнулась в сторону, так что я едва усидел. Впереди на дороге, прямо перед нами, стояли на коленях две человеческие фигуры.

— Батюшка, кормилец... ваше сиятельство!.. — услышал я два гнусавых, лицемерно жалобных голоса. — Не дай пропасть душам христианским...

— Ва-ш-ше высоч-чество! — подхватил другой. — Помираем... Обносились, оголодали...

— Бродяги, — спокойно сказал Микеша, остановившись у моей лошади и с обычным своим внимательным любопытством присматриваясь к приемам бродяг и к тому действию, какое

они окажут на меня... Вид у бродяг был действительно ужасный, лица бледные, в голосах, деланно-плаксивых и скулящих по-собачьи, слышалось что-то страшное, а в глазах, сквозь заискивающую и льстивую покорность, настораживалось вдруг что-то пристально высматривающее и хищное.

Я дал серебряную монету и вынул кусок хлеба из переметной сумы. Оба схватились за хлеб, и в голосах их послышалась радостная благодарность. Отъехав на некоторое расстояние, я заметил, что Микеша остановился и дружелюбно, как с знакомыми, беседует с варнаками. Впрочем, через несколько минут он опять присоединился ко мне.

— Сколько дал? — спросил он у меня и, получив ответ, прибавил: — Хитрый варнак. Глаза закатит — слепой делается, ногу подогнет — хромой делается... Одного в лесу встречает тебя — горло перервет, пожалуй. А тут ногам кланяется.

— Ты их знаешь?

— В тайге встречал, чай варили... Этот Иван — умнай, беда! Говорит: царю помогал, деньги делал. Не знаю — правда, не знаю — хвастает... В остроге много сидел.

И, пройдя еще несколько сажень, он прибавил задумчиво:

— В остроге человек много сидит, умнай бывает...

Он вздохнул... Мы опять ехали под скалами, и лицо его мне было видно довольно плохо в вечернем сумраке. Но в его голосе слышались ноты такого же почтительного удивления к острожникам, какое он выказывал по поводу моего писания...

Через полчаса стало уже совсем темно. Вверху угасали еще в синем небе последние отблески заката, но в затененной ленской долине стояла тьма... Вдруг мой спутник издал легкий гортанный крик удивления и вскочил сзади на круп моей лошади.

— Гони! Скорей! — сказал он.

— Что такое?

— Огонь! Слепой ты, что ли?

Действительно, взглядевшись в темноту, я заметил впереди слабые отблески переливавшегося, как дыхание, огня... Горело где-то в стороне, в ущелье...

— Островский горит, поселенец, — сказал Микеша, всматриваясь вперед и усиленно колотя по бокам лошадь пятками своих торбасов.

Через несколько минут лошадь тяжелой рысью вынесла нас двоих к повороту дороги, и здесь из-за возвышенности перед нами открылось направо широкое ущелье. В глубине его, на отлогом скате горы виднелось догоравшее пожарище. Языки пламени еще вырывались из обугленной кучи бревен, и довольно резкий ночной ветер, дувший из пади, тихо колебал стлавшийся по земле беловатый дым. Какой-то человек то и дело мелькал черным силуэтом на фоне пламени и, как мне показалось, кидал что-то в огонь. Невдалеке виднелось еще несколько фигур, конных и пеших, стоявших в некотором отдалении неподвижно, в роли праздных зрителей...

Передовой ямщик успел съездить туда и теперь выехал опять на дорогу. Он сказал Микеше несколько слов по-якутски и хлестнул лошадь. Опять прежний звук, выражавший не то удивление, не то радостный восторг, раздался за моей спиной...

— Ча! — крикнул Микеша. — Погляди ты, какие люди бывают: сам юрту зажигал, амбар

зажигал, городьбу, что есть, в огонь бросал... У-у, дьявол!

— Кто это?

— Да кто иной: Островский, говорю, униат...

И Микеша с интересом и оживлением стал рассказывать мне историю этого пожара.

Она была проста и сурова, как эти берега и горы. Несколько лет назад униат Островский был выслан, кажется, за отпадение от православия и поселен на Лене. За ним пришла молодая жена с маленькой девочкой. Якуты отвели ему надел в широкой пади, между двумя склонами. Место показалось удобным для земледелия, якуты оказали некоторую помощь. Сравнительно нетрудно было сбывать хлеб на прииски, и Островский бодро принялся за работу. Якуты не сказали ему одного: в этой лощине хлеб родился прекрасно, но никогда не вызревал, так как его уже в июле каждый год неизменно убивали северо-западные ветры, дувшие из ущелья, как в трубу, и приносившие ранний иней. Якуты, не желающие вообще поселенцев на своих землях, имели свои вилы, а соседи-станочники, арендовавшие у якутов покосы и поэтому зависимые, тоже не предупредили поляка, боясь рассердить якутов.

Первые годы Островский приписывал свои неудачи случайности и, глядя на необыкновенно буйные урожаи, все ждал, что один год сразу поставит его на ноги. И он убивался над работой, голодал, заставил голодать жену и ребенка, все расширяя свои запашки... В этом году лето опять дало одну солому, а осенью измученная горем жена умерла от цинги.

Островский вырыл могилу, без слез уложил жену в мерзлую землю и заровнял ее... Потом он взял билет на прииски и пособие у якутов на дорогу. Якуты охотно дали то и другое в расчете избавиться от поселенца и воспользоваться его домом и кое-каким имуществом. Но Островский обманул эти наивно-хитрые ожидания: он снес все имущество в избу и зажег ее с четырех концов. Этот-то пожар мы и видели теперь, проезжая мимо. Роковой ветер из ущелья раздувал пламя, пожиравшее пять лет труда, надежд, усилий и жертв...

— Все зажигал! В один раз кончил, — заключил Микеша свой рассказ и потом спросил по-своему вдумчиво: — Уни-ат... Что такое униат?.. Какой человек бывает?

— Вера такая, — ответил я.

— То-то. И он говорит: вера. В одну церковь сам не идет, в другую не пускают. Чего надо?..

Я не знал, как объяснить ему. Мне казалось, что для этого нет слов, понятных Микеше, и некоторое расстояние мы проехали молча среди темной и притихшей тайги... Потом он легко соскочил с лошади и пошел рядом, несколько впереди, заглядывая мне в лицо.

— Другие люди на белом свете, — сказал он серьезно, — вздорят за веру... Есть скопец, есть духобор, есть молокан... Много их мимо нас гоняли. За веру своей стороны лишаются... А у нас никакая церковь нету... Лесине хочешь молишь, никто не спросит...

Я молчал. Над горами слегка светлело, луна кралась из-за черных хребтов, осторожно окрашивая заревом ночное небо... Мерцали звезды, тихо веял ночной ласково-свежий ветер... И мне казалось, что голос Микеша, простодушный и одинаково непосредственный, когда он говорит о вере далекой страны или об ее тюрьмах, составляет лишь часть этой тихой ночи, как шорох деревьев или плеск речной струи. Но вдруг в этом голосе задрожало что-то, заставившее меня очнуться.

— Другие говорят... никакой бог нету, — говорил Микеша, стараясь в сумерках уловить мой взгляд... — Ты умной, бумага пишешь... Скажи, может это быть?..

— Не может быть, Микеша, — ответил я с невольной лаской в голосе.

Он вздохнул, как мне показалось, с облегчением.

— Не может быть!.. Враки! — подхватил он убежденно. И, подняв глаза к темным вершинам береговых гор или к холодному небу, красиво, но безучастно сиявшему своими бесчисленными огнями, и как бы отыскивая там что-то, он прибавил: — Хоть худенький-худой, ну, все еще сколько-нибудь делам-те правит.

Теперь я невольно наклонился с седла, стараясь поймать взгляд человека, только что и так изумительно просто исповедавшего странную веру в «худенького бога». Была ли это ирония?.. Или это было искреннее выражение как бы ущемленной и тоскующей веры, угасающей среди этих равнодушных камней?..

Луна совсем поднялась над суровыми очертаниями молчаливых гор и кинула свои холодные отблески на берег, на перелески и скалы... Но лицо Микеша было мне видно плохо. Только глаза его, черные и большие, выделялись в сумерках вопросительно и загадочно...

— Не отста-вай, не отста-ва-ай!.. Ночь пришла-а! — слышалось издалека, из глубины таинственной и сумеречной дали...

III. Отчаянный человек на Титаринском станке

Предсказание Микеша сбылось: на Титаринском станке опять не признали нашу «бумагу», и опять целый день мы провели без движения в избе очередного станочника. В середине этого дня уехал обратно наш прежний ямщик. К его, а отчасти и моему удивлению, Микеша не последовал за ним, а остался на станке. Ямщик звал его, ругался, грозил даже, но Микеша молча сидел на лавке, потупившись, с видом безнадежного упрямства. Когда ямщик наконец увязал гусем всю четверку и, сев на переднюю лошадь, еще раз крикнул Микешу, тот только махнул рукой и ответил:

— Не еду я!.. — И потом, повернувшись ко мне, спросил: — Писать будешь? Пиши, пожалуйста.

Но писать мне на этот раз не приходилось: почта пробежала вчера, проезжающих не было, и до следующей почты у титаринцев времени было слишком много, чтобы испытать наше терпение. Оставалось сидеть в избе, бродить с тоской по берегу Лены и ждать счастливого случая.

К вечеру на станке появился вдруг «униат» Островский. Это был человек небольшого роста, коренастый, с сильно загорелым энергичным лицом настоящего земледельца. На плечах он нес несколько связанных вместе узлов, образовавших целую гору, а за полу его суконного кафтана держалась девочка лет восьми или девяти, тоненькая, бледная и, видимо, испуганная. Я встретил его на площадке и сразу угадал, кто это: в глазах у него как будто застыло охладевшее тяжелое горе. Станочники робко оглядывались при встрече с этим человеком, в несчастье которого станок чувствовал и свою долю, хотя и пассивного, участия.

Он спросил очередную избу и вошел в нее вслед за мною. Не скидая шапки и не здороваясь, он сбросил на лавку свою ношу и сказал грубо:

— Ну, хозяйева, принимайте гостя. Чайник, лепешку, живо!

— Вот он какой... униат, — сказал мне Микеша, тотчас же принявшийся наблюдать суетню оробевших хозяев... Наш чайник был уже готов, и мы пригласили Островского разделить с нами наши дорожные запасы. Но он осмотрел нас с холодным вниманием и, составив

какое-то заключение, ответил решительно и сурово:

— Нет, вы люди дорожные... А с ними я все равно сосчитаюсь, — прибавил он с усмешкой, кивая в сторону хозяев. — Ну, живее, что ли! Падаль!

— Позвольте хоть девочку напоить чаем.

Он посмотрел на нее, поколебался и потом сказал дочери:

— Садись с ними... Да мне только для нее и нужно... Самому и кусок в горло не пойдет.

В последних словах прозвучала горечь и как будто усталость. Свои дальнейшие планы, на наш вопрос, он изложил с холодным лаконизмом:

— На прииски иду... Если дорогой не пропаду, наймусь... А девочку стану господам продавать...

Я с ужасом взглянул на него, стараясь разглядеть в суровом лице хоть что-нибудь, что выдало бы неискренность его слов. Но его лицо было просто пасмурно, слова звучали резко, как холодные льдины во время ледохода... А девочка ласково прижималась к нему, и грубая рука, может быть, механически гладила ее волосы...

— Как же вы доберетесь с девочкой до приисков? — спросил я.

— В лодке, — ответил он сухо.

— У тебя, Островский, разве есть ладья? — вкрадчиво спросил хозяин избы.

Островский уставился в него своим тяжелым, холодным взглядом.

— Мало, что ли, лодок на берегу?.. — ответил он. — Возьму любую...

— Так то ведь наши, — наивно сказал станочник, и, видя, что Островский только усмехнулся, он как-то робко поднялся и вышел из избы.

После этого на площадке, освещенной луною, собрались станочники, и даже в нашу юрту долетали их шумные разговоры. Станок жужжал, как рой обеспокоенных пчел... По временам ямщики поодиночке входили в избу, здоровались, переминались у камелька с ноги на ногу и смотрели на пришельца, как бы изучая его настроение. Островский не обращал на все это ни малейшего внимания... Он сидел, согнувшись, на лавке, против огня; по временам клал в камелек полено и расправлял железной кочергой угли...

Проснувшись среди ночи, я увидел его в той же позе. Слабый огонек освещал угрюмое лицо, длинные, опущенные книзу усы и лихорадочный взгляд впалых глаз под нависшими бровями. Девочка спала, положив голову ему на колени. Отблеск огня пробежал по временам по ее светлым, как лен, волосам, выбившимся из-под красного платочка. Кроме Островского, в юрте, по-видимому, все спали; из темных углов доносилось разнотонное храпение...

Девочка потянулась и заплакала.

— Спи! — сказал отец угрюмо. — Ночь еще...

Она всхлипнула как-то горько и спросила сонным голосом:

— Куда пойдём?..

— Ага! — с злобной горечью ответил про себя Островский. — Когда бы я сам знал... К дьяволу, верно... Больше некуда...

— Куда? — громче спросила девочка, но сон брал свое, усталое тельце снова съежилось, и она стала засыпать.

— Ку-да?.. Куда-а? — еще раз два прошептали сонные губы, и, не дождавшись ответа, она заснула.

Сквозь стены доносилось к нам жужжанье голосов. Я протер запотелое оконце и глянул наружу.

Ночь сильно изменилась... Луда поднялась высоко над горами и освещала белые скалы, покрытые инеем лиственницы, мотававшиеся от ветра и кидавшие черные тени. Очевидно, после полночи ударил мороз, и вся каменная площадка побелела от инея. На ней черными пятнами выделялась группа людей... Станочники, очевидно не ложившиеся с вечера, обсуждали что-то горячо и шумно.

Потом группа ямщиков медленно направилась к нашей юрте. Дверь скрипнула, ворвался клуб холодного воздуха... Ямщики один за другим входили в избу, подходили к камельку, протягивали руки к огню и смотрели на Островского. Тот как будто даже не замечал их...

После всех вошел седой старик. Очевидно, его сняли с теплой лежанки собственно для этого случая. Волосы у него были белые, как снег, редкие усы и борода тоже. Рука, опиравшаяся на длинную палку, дрожала. Под другую руку его поддерживал молодой ямщик, вероятно, внук.

— Здравствуй, брат! — сказал он слегка дрожащим по-старчески, но приятным и каким-то почтенным голосом.

— Здравствуй, дед, — ответил Островский, не поворачиваясь. — Зачем слез с печи?

— Да, дело старое, — вздохнул старик и потом спросил политично: — На прииски собрался?

— Ну, на прииски. Так что?

— Добро... Как пойдешь с девочкой?

— В лодке.

— Где возьмешь?

— У вас...

— Дорогой чем девку кормить станешь?

— Хлебом.

— Где возьмешь?

— Вы дадите... Пуд муки и кирпич чаю!..

Среди ямщиков послышался негодующий говор. К камельку протискался между тем Микеша, и мне с моего места было видно его заинтересованное лицо. Черные глаза переходили с мрачной фигуры Островского на почтенного станочного патриарха.

Тот покачал головой. Островский посмотрел на него, усмехнулся и сказал:

— Ну, говори, старый хрыч!

— Буду говорить, — сказал старик. — Я, старый человек, могу тебе сказать. А ты, молодой, послушай. У тебя, Матвей, изба была ведь?

— Была.

— Что ты с нею сделал?

— Спалил, чтоб собакам якутам не досталась.

— Твое дело. У тебя добро тоже было... Где оно?

— С дымом улетело.

— Пошто с дымом пустил? Огонь съел, спасибо не сказал. Мы тебе соседи. Пришел бы к нам... Возьмите, дескать, что осталось. Сбруя, телега, два хомута, дуга хорошая, стол, четыре лавки... Вот и добро было бы. Ты бы до нас, мы до тебя...

— Не надо! Все спалил, чтоб и вам не досталось.

— Ну, спалил, твое дело. Зачем теперь к нам пришел?

Островский посмотрел на старика прищурившись.

— Ты не знаешь, зачем я пришел?.. Сосчитаться с вами пришел. Давайте лодку, давайте хлеба... Дешево прошу... Смотрите, не обошлось бы дороже...

— Иди, у огня проси... — ответил старик, сердито стукнув клюкой. — Огню все отдал, у него и проси. Нам не давал, как теперь просишь? Негодяй!

Эта ясная логика и твердый тон пришлись, очевидно, по вкусу ямщикам. По всей избе пошел одобрительный говор. Но Островский только сверкнул глазами и с внезапной яростью ударил кочергой по дровам. Пук искр метнулся в трубу камелька... Ямщики дрогнули; ближайшие попятнулись.

Девочка, разбуженная резким движением, проснулась и села на скамье. Островский не обратил на нее внимания.

— Вот так, — сказал он с дикой энергией, — пошло все мое добро... Видели, как хорошо горело вчера ночью?

Он повернулся и посмотрел на замолкшую толпу ямщиков упорным и злым взглядом.

— Своего не пожалел... Думаете — ваше пожалею?

В толпе опять послышался ропот. Микеша тяжело перевел дух.

— Нас, смотри-ка, много, — сказал сзади чей-то задорный голос.

Островский посмотрел туда и отвернулся опять к огню.

— Убейте, — сказал он спокойно. — И меня, и девку... Мне все одно. А не убьете, — давайте хлеба, давайте лодку... И с парусом...

— Еще с парусом ему!.. — зароптали ямщики.

Старик стукнул палкой об пол и, когда водворилось молчание, сказал:

— Слушай, Матвей. Я тебе еще скажу слово, ты послушай.

— Говори, мне все одно, что ветер.

— Ты сюда за что прислан?.. За веру?

— Забыл, — угрюмо ответил Островский.

— В господа бога веруешь? — торжественно сказал станочный патриарх, глядя ему в лицо.

— Не знаю, — ответил Островский и вдруг поднялся со скамьи. Ямщики шарахнулись прочь, тесня друг друга. — Слушай, — сказал Островский, отчеканивая слова. — Слушай и ты меня, старая со-ба-ка...

— А-ха! — охнул внезапно Микеша при этом тяжком оскорблении станочного патриарха. Ямщики смолкли. Несколько мгновений слышно было только легкое потрескивание огня в камельке.

— Помнишь ты, — продолжал Островский, — как я в первый раз приходил к тебе с женой, как я кланялся твоим седым волосам, просил у тебя совета?.. А-а! ты это позабыл, а о боге напоминаешь... Собака ты лукавая, все вы собаки! — крикнул он почти в исступлении, отмахнувшись от девочки, которая, не понимая, что тут происходит, потянулась к отцу. — Вы — дерево лесное!.. И сторона ваша проклятая, и земля, и небо, и звезды, и...

Он остановился, и в потемневшей избушке опять водворилось молчание, полное тяжелой подавленности и испуга... Островский опустился на скамью, тяжело переводя дыхание, с искаженным, почти неузнаваемым лицом... Через несколько мгновений оно все передернулось неприятной гримасой, отдаленно напоминавшей улыбку, и он насмешливо сказал старику:

— Ну, скажи еще что-нибудь...

— Нечего с тобой и говорить, с отчаянным, — ответил старик грустно и как-то сконфуженно повернулся к выходу. Станочники молча расступались, но вид у патриарха был приниженный и жалкий... Микеша прошел за камельком и, тихо сев рядом со мной, сказал после короткого молчания:

— Слышал?.. А? Как он его... Евстигня Прокопича... Собака ты, говорит... А-ай-а-ай! Теперь, гляди, станочники все дадут. Побоятся... Чистой дьявол...

— Уни-ат, — прибавил он в раздумье, покачивая головой, как будто в этом малопонятном слове заключалась загадка странного могущества Островского...

Ямщики один за другим в глубоком молчании выходили из избы...

Вскоре, столпившись на той же площадке, они зажужжали и заспорили снова... Микеша угадал: ямская община, нравственно побежденная в лице патриарха, уже сдалась, станочники наметили старую лодку с оборванным парусом, оценивали ее и разверстывали по душам этот непредвиденный расход... Станок, очевидно, спешил избавиться от человека, который дошел до того, что уже не дорожит ничем и ничего не боится.

Островский все еще сидел на лавке. Потом он оглянулся по опустевшей избе, и его взгляд встретился с моим. Глаза его, еще недавно горевшие, теперь были совершенно тусклы и неприятно, как-то матово отсвечивали под слабым огнем камелька.

— Ха! — сказал он, продолжая глядеть на меня этим тяжелым взглядом. — За веру!.. Бога вспомнили... Давно это было... Не хотел ребенка хоронить на православном кладбище... Теперь жену зарыл в яму, завалил камнями, без креста, без молитвы... Лес, камни... и люди, как камни...

Он провел рукой по лицу и, как будто отряхнувшись, заговорил спокойнее и с насмешкой:

— Я бьюсь, голодаю, жду... В конце лета приходит мороз, и кончено... И если бы я работал

до Судного дня, — было бы все то же. А они знали... И никто не сказал, ни одна собака!..

— Врешь, Островский, — слышался вдруг около меня голос Микеша. — Я тебе говорил...

Островский пристально всмотрелся и увидел говорившего.

— А, это ты, Микеша... Верно, — ты говорил, да я не послушал, потому что ты полоумный... А умные говорили другое...

При слове «полоумный» я невольно взглянул на Микешу. Он сидел, опустив голову, лица его не было видно, но он не сказал больше ни слова...

Через час, когда Островский напился, как ни в чем не бывало, чаю вместе с хозяевами, а мы напоили его девочку, пришел молодой ямщик, принес в мешке муку и сказал, что лодка для Островского выбрана.

Меня поразило благодушное выражение голоса этого ямщика. Очевидно, раз общество решило, — ему уже не было дела до того, каким путем была отвоевана эта лодка... Ее приходилось еще чинить, но так как до берега было не близко, то Островский собрался совсем. Он заботливо одел девочку и взвалил на плечи свои узлы. Мы дали девочке сахару, белого хлеба и несколько серебряных монет. Она вопросительно посмотрела на отца. Он не сказал ни слова, не поблагодарил, даже не посмотрел в нашу сторону, но и не помешал ребенку сунуть все полученное в небольшую котомку. Лицо его оставалось все так же холодно и решительно. Уходя, он сказал только:

— Прощайте, господа! Вас они тоже повезут... В лодке не соглашайтесь... Повезут, подлецы, и на лошадях.

И, повернувшись на пороге, он прибавил:

— Бейте по морде... Тогда доедете скоро...

Затем он вышел, ведя девочку за руку.

Я посмотрел за ними в окно. Долгая осенняя ночь чуть-чуть бледнела, но луна все так же светила с вышины, так же дул предутренний ветер, так же качались и бились лиственницы под большой скалой, так же мелькали по инею отблески и тени. Только теперь к этому мельканию прибавились три человеческие фигуры. Впереди шел молодой ямщик, сзади — нагруженный Островский и рядом с ним девочка. И на белой равнине за ними следовали черные тени: одна огромная и уродливая, другая тоненькая и как будто готовая растаять среди этого холода и камней...

IV. По реке

По-видимому, раз уступив Островскому, станок как бы потерял силу сопротивления, и это послужило нам на пользу. Утром в избу вошел незнакомый нам ямщик, небольшой, коренастый, с беспокойно бегающими глазами. Он помолился на образ и, не глядя на нас, спросил:

— Чего думаете делать?.. Общество лошадей не дает.

— А тебе что нужно?

— Да я об вас хлопочу. В лодке, пожалуй, ямщики согласятся.

— Ну, в лодке, так в лодке.

Маленькие глазки ямщика радостно сверкнули.

— Значит, согласны? — прорвалось у него восклицание, и он быстро направился к двери. Отворив ее, он повернулся и сказал: — Микеша, подь-ка сюда... Говорить надо.

Через час мы уже были на берегу реки. Солнце поднялось над горами и сгоняло иней, еще лежавший в тени. Холод начинал уступать перед солнечными лучами, но в заливчиках и затонах держались еще льдистые иглы...

Подходя к берегу, мы с удивлением увидели, что к лодке подходит также Микеша. На одном плече он нес весла, на другом висела винтовка, в руке у него был узелок, который он тщательно спрятал в ящик на корме.

Проделав все это, он посмотрел на меня как будто укоризненным и слегка пренебрежительным взглядом.

— Зачем не писал? Лошадям ехал бы... Дальше тоже лошадей давали бы... Лодкой худо... Когда доедешь?

Мы, очевидно, много потеряли в его глазах, так легко согласившись ехать в лодке, тем более что станок, в сущности, уступил бы, и мы стали жертвой хитрости старого ямщика. У него пала лошадь, и он отправлял свою долю повинностей греблей. Поэтому он стоял на сходе за то, чтобы нас везти, но непременно в лодке, — таким образом ему выпадала сравнительно легкая очередь. Общество сомневалось, согласимся ли мы тащиться сорок пять верст против течения, когда дорога еще допускала более удобный и скорый способ передвижения. Старый ямщик взялся уговорить нас и теперь, к явному разочарованию Микеша, торжествовал легкую победу...

— У-у! хитрой ямщик, — говорил он, глядя с улыбкой на торопливо бежавшего по берегу старика... По-видимому, «хитрой ямщик» боялся, что мы еще можем раздумать...

Но мы беспрекословно уселись в широкую лодку, старик двинул ее багром, а Микеша толкал с носа, шлепая по воде, пока она не вышла на более глубокое место. Тогда и Микеша вскочил в нее и сел в весла.

Не успели мы обогнуть небольшой мысок, как от станка к берегу подбежала девочка и кинула нам с деревянных мостков узелок.

— Что это? — спросил я.

— Ничего, ничего, так, посылка... — ответил старик.

— Хлеб, чайник... — пояснил Микеша. — На острове чай пить будем. Далеко...

Старик сердито посмотрел на него: он уверял, что до захода солнца мы уже будем на станке, и боялся, что разоблачение Микеша еще может изменить наше решение. Он открыл дверку ящика, чтобы сунуть туда свой узелок, и остановился с удивлением, видя, что место занято. Мне показалось, что Микеша, в свою очередь, смутился, когда старик нащупал рукой в его узелке сапоги.

— Это что? — спросил старик, пылливо глядя на Микешу. — Сапоги взял, барахло взял, винтовку взял... Смотри, Микеша, опять, видно, дурить хочешь...

Микеша не ответил и только крепче налег на весла, так что они застонали в уключинах... Лодка взмыла вперед, под килем забились и зажурчали ленские волны. Высокие горы как будто дрогнули и тихо двинулись назад... Темные крыши Титаринского станка скоро потонули за мысом.

День обещал быть теплым. Ветер стих, речная гладь едва шевелилась, и широкие, пологие волны лишь тихо колебали, не взламывая, зеркальное отражение скал. Горы противоположного берега казались совсем близко, и, только пристально вглядываясь в подробности, можно было заметить, что это обман зрения: овраги представлялись извилистыми трещинками, а огромные лиственницы на склонах — былинками...

Наша лодка, тихо покачиваясь, шла точно по водяной аллее. По временам, будто кинутый чьей-то невидимой рукой, из-за гор вылетал черной точкой орел или коршун и плавно опускался к реке, проносясь над нашими головами. Порой где-то в воздухе раздавался торопливый перезвон птичьей стаи, но глаз не мог различить ее на пестром фоне лесистых скал, пока совсем близко в воздухе не пролетала стремительно горсточка черных точек, торопясь, свистя крыльями, погоняя друг друга и тотчас же сливаясь с пестрым фоном другого берега. Только серые бакланы неторопливо, деловито держались по следу нашей лодки, то припадая грудью к воде, то трепыхая на месте крыльями и погружая в воду тонкие красные лапки.

Порой дорогу нам загораживала далеко вдавшаяся в реку отмель... Тогда Микеша входил беззаботно в холодную воду, иногда по пояс, и тащил лодку лямкой.

— Гляди, вон там, под горой, Островский идет, — сказал мне ямщик, указывая вдаль. Вглядевшись пристально в пеструю полоску другого берега, я действительно увидел на воде тихо двигавшуюся лодочку, а по камням, часто теряясь между ними, двигалась, как муравей, черная точка. Это Островский тащил лодку лямкой.

Плес был прямой, и долго я видел впереди эту точку, пока бессонная ночь и утомление не взяли свое и я заснул под мерное взвизгивание уключин. Оба мои спутника тоже давно спали на дне широкой лодки.

Когда я проснулся, то сразу заметил, что кругом что-то изменилось. Микеша торопливо шлепал по воде, таща лямку, старик правил рулем, и лодка, круто забирая волну, перерезывала широкую курью (залив), направляясь к середине реки. В воздухе посвежело, берега как будто прижмурились, лица ямщиков были озабочены, движения торопливы.

— Сядь-ко к рулю, скорее будет, — сказал мне старший ямщик, заметив, что я проснулся. — Держи вон туда, на остров, — прибавил он, указывая на едва заметную полоску земли, как будто прижавшуюся к самому берегу на другой стороне, но оказавшуюся впоследствии большим островом на самой середине реки. Я сел к рулю, Микеша, разбрызгивая холодную воду, взобрался в лодку, и она понеслась на перерез течения.

— Халан (снеговая туча) придет, — пояснил старик. — Авось еще на остров поспеет.

Я не видел никакой тучи. Лодка наша торопливо удалялась от одного берега, но другой как будто не приближался, и река, имеющая здесь около шести верст в ширину, только раздвигалась перед нами, как море. Вверх по течению широко разлившаяся водная гладь почти сливалась с золотом близкого заката, и только туманная синяя полоска отделяла воду от неба.

Все было светло, задумчиво, спокойно.

— Где же туча? — спросил я, удивленный тревожной торопливостью ямщиков. Старик не ответил. Микеша, не переставая грести, кивнул головой вверх, по направлению к светлому

разливу. Вглядевшись пристальнее, я заметил, что синяя полоска, висевшая в воздухе между землею и небом, начинает как будто таять. Что-то легкое, белое, как пушинка, катилось по зеркальной поверхности Лены, направляясь от широкого разлива к нашей щели между высокими горами.

— Работай, работай! — поощрял старик, сам с усилием налегая на весла.

По лицам ямщиков катились крупные капли пота, руки напрягались... Лодка неслась, как стрела, остров заметно отделялся от противоположного берега.

— Не поспеть, — сказал старший, повернув озабоченное лицо в сторону все мутневшей дали...

— Не сдавай книзу, смотри! Как бы не миновать острова...

Я повернул лодку и сразу почувствовал, что ее колыхнуло сильнее, приподняло и в бока ударила торопливая, тревожная зыбь... Бежавший перед тучею охлажденный ветер задул между горами, точно в трубе. От высокого берега донесся протяжный гул, в лицо нам попадала мелкая пыль водяных брызгов, между берегом и глазом неслась тонкая пелена, смывавшая очертания скал и ущелий...

— Ну, запылит теперь, — сказал старик, — держи, смотри, подтверже, помни, где остров.

С гор неся уже протяжный шум лиственниц, и скоро к нему присоединился плеск прибоя. Некоторое время было видно, как берег весь побелел от пены. Но вскоре все это стало исчезать... По всей реке запорхали белые снежинки, ложившиеся на темные волны. Они становились все гуще, заволакивая сначала дальние уступы, потом ближние скалы, потом самый обрез берега... Птичьи голоса смолкали, жизнь, казалось, уходила с реки... Только чайки вскрикивали еще нервно и отрывисто, кидаясь навстречу ветру, гнавшему тучу и сгущавшему ее между высокими горными берегами... Некоторое время сквозь эту пелену еще доносился шум лиственниц, потом смолк и он, как будто задавленный густым снегом; ветер тоже стихал...

Один из моих товарищей, крепко спавших на дне лодки, проснулся от этой тишины, поднялся и, протирая глаза, спрашивал с удивлением:

— Что такое? Где мы?

Кругом стало однообразно, бело, спокойно, и только миллионы снежинок, больших, плоских, пушистых, порхая и кружась, сыпались на воду, на весла, на лодку, на лица гребцов. Скоро края лодки, лавки, одежда побелели под толстым слоем снега.

Ямщики сложили весла и тяжело перевели дыхание... Кругом стояла будто белая стена, а на небольшой площадке воды у самой лодки густо валились белые хлопья, таявшие в воде и тотчас сменявшиеся другими...

— Что же, надо все-таки грести к острову, — сказал я.

— А где он, остров? — ответил насмешливо старший ямщик.

Действительно, определить направление было трудно. Лодка, покачиваясь, казалось, стоит на месте на небольшом темном кружке воды, окруженном белою непроницаемой стеною. Но вдруг Микеша наклонился, протянул весло и вытащил из воды таловую ветку с неопавшими еще листьями.

— Остров близко, — сказал он, там...

Через минуту из белого тумана опять показались очертания, и мимо нас проплыло целое деревцо, очевидно, только что оторвавшееся с крутояра, оставляя за собой глинистый след еще не обмытых корней. Ямщики бодро ударили в весла...

Прошло с четверть часа, и нос лодки уткнулся в крутой и обрывистый берег. Остров был плоский, и укрыться от снега было негде; ямщики нарубили сухого тальнику, и белый дым костра смешался с густой сеткой снега... Я посмотрел на часы: было уже довольно поздно, и скоро за снеговой тучей должно было сесть солнце...

— А далеко еще до станка? — спросил я.

— Недалече, — ответил старик, бегая своими плутоватыми глазами. — Вот чаю напьемся, остров лямкой пройдем, потом ударимся на ту сторону...

Микеша усмехнулся.

— Остров десять верст, — сказал он равнодушно, — той стороной тоже десять... Ночь-полночь — и то на станке не будем... Ты писать можешь, а старик умнее тебя: обманул! — прибавил он. — Хитрой! Тюрьма сидел, и то оправился.

— За что? — спросил я.

— За купчиху, — ответил Микеша, спокойно и с некоторым любопытством вглядываясь в изменившееся лицо старика. У того глаза сверкнули внезапным огоньком.

— За какую купчиху... Врешь ты, — сказал он живо. — Не хлопай, чего не знаешь...

— Да тебя не Фролом ли звать? — спросил я.

— Ну, Фролом. Так что? — ответил он, настораживаясь, и в глазах его проступило что-то злое и чуткое, точно у зверя, сознающего опасность...

Историю этого Фрола мне рассказывали еще в Якутске, так как несколько лет назад она занимала всю Лену, небогатую вообще событиями. Это был когда-то хороший хозяин, и жена у него, значительно моложе его самого, считалась красавицей. Говорили, что он очень любил ее, но и мучил дьявольской ревностью, особенно после того, как, увлекшись каким-то кудрявым хохлом-поселенцем, она убежала было с ним на прииски... Ее скоро вернули, она захворала и умерла от тоски или от побоев. Фрол сначала очень тосковал, потом вдруг успокоился и даже повеселел. Когда ему напоминали о жене или принимались сватать других, он только лукаво усмехался и как-то загадочно уверял, что она опять убежала, но скоро вернется.

Однажды, лунною осеннею ночью, на середине перегона между двумя станками ему встретился ямщик соседнего станка, предложивший обменяться пассажирами. Это обычный прием ямщиков, выигрывающих таким образом целую путину. Пассажиры спали в открытых кибитках и не слышали даже, как ямщики перепрягали лошадей... Отъехав недалеко, встречный ямщик услышал назади как будто испуганный крик. Но он не обратил на него внимания и поехал дальше.

Оказалось, что пассажирка, ехавшая с ним до этой перепряжки, очнулась, когда Фрол влезал на козлы. Удивленная остановкой, она отодвинула фартук, и на Фрола взглянуло внезапно женское лицо, освещенное светом полной луны...

Что было после этого, и сам Фрол, и обезумевшая от испуга пассажирка помнили плохо. Только уже днем Фрол привез ее на станок, но вместо того, чтобы высадить у почтовой станции, привез к своей избе, сгреб в охапку, внес в избу и крепко запер. На расспросы соседей он объявил, что к нему опять вернулась жена и что теперь он ее уже не отпустит...

Явился староста, собрались станочники, и у сумасшедшего с трудом отбили до бесчувствия испуганную женщину, оказавшуюся вдовой-купчихой из приленского города, часто разъезжавшей по торговым делам...

Суд признал Фрола невменяемым, и он опять вернулся в общество, только хозяйство его сильно пошатнулось.

— Как мог оправиться? — спрашивал теперь у меня Микеша, с любопытством присматривавшийся к странным огонькам, тревожно вспыхивавшим в глазах старика...

Я тоже с любопытством взглянул на Фрола. Он был низкого роста, с широкими плечами, длинными руками и быстрыми движениями сильной обезьяны. В скуластом зеленовато-желтом лице, с тонкими, постоянно как будто жевавшими губами, виднелись типические признаки вырождения. Глаза бегали, и теперь в них загоралось лукаво скрытое мелькающее выражение, как будто он что-то затаил в себе, что-то относящееся до этой истории, известное ему одному, чему глупые люди, пожалуй, не поверят. Микеша приглядывался к нему с любопытством и отчасти с насмешкой; он, вероятно, давно уловил этот двойственный взгляд Фрола и по-своему характеризовал его часто повторяемым словом: «хитрой». Мне казалось, что из бегающих глаз этого станочника глядело просто сумасшествие... Очевидно, и теперь еще в нем, среди этих сумрачных скал, шла какая-то своя жизнь, полная сумасшедших мечтаний, быть может, радостных и светлых, а может быть, и еще более мрачных, чем эти горы. Но трудная доля ямщика, не дававшая отдыха и досуга от тяжелых повседневных забот, не выпускала его из своих тисков, и ей, вероятно, он был обязан тем, что ему позволяли оставаться на реке вместо сумасшедшего дома и тянуть до нового случая будничную лямку здравомыслящих земляков...

Впрочем, скоро беспокойные огоньки в его глазах, освещавшие эту глубоко скрытую и таинственную глубину омраченной человеческой души, угасли. Он стал распорядиться закипавшим чайником... Только лицо его стало несколько бледнее, и губы все как бы жевали что-то...

— Где-то теперь Островский? — спросил я, чтобы переменить разговор...

— Куда деваается? — ответил Фрол. — Тоже где-нибудь чай варит на том берегу... Варнак проклятой!..

— Чего ругаешься? — спросил Микеша.

— Хвалить, что ли, стану... — огрызнулся Фрол. — Лодку с общества взял нахрапом... Лодка чего-нибудь стоит...

— На прииски пошел... Проклятое место сидеть не хочет, — задумчиво сказал Микеша и потом, усмехнувшись, прибавил: — А титаринские испугались. Тридцать человек боятся... Один человек не боится... Деньги, сказал бы, давайте, деньги дали бы... Удивительное дело... Уни-ат!

— А тебе любо? — ехидно спросил Фрол и, живо повернувшись ко мне, сказал: — Микешко этот вот какой человек: гоньба гонять — не хочу, жениться — не хочу, начальник возить — не хочу. Ничего не хочу! Как будешь жить?..

— Неволя жить не хочу, — задумчиво и просто сказал Микеша. — Пашпорт давали бы, белый свет пойду...

Фрол посмотрел на него долгим и насмешливым взглядом...

— Безумной! — сказал он убежденно. — Как пашпорт тебе дадут? Другой тоже пашпорт

хочет... Все захотят, кто на станке останется? Начальник приедет, кто повезет?..

Микеша промолчал. Лицо у него было грустное. Быть может, он признавал неодолимую правильность аргумента, но внутри у него бессознательно, нелогично и непобедимо засело стремление к белу свету и вольной воле. Вообще мне казалось, что теперь роли ямщиков радикально изменились. Фрол представлял собою само здравомыслие, вековую мудрость ямщицких общин, — и он с уничтожающей насмешкой смотрел на «безумного» Микешу. В глазах последнего стояла лишь грустная растерянность и темное, бессознательное стремление... неизвестно куда...

— Как же ты говоришь, — заступился я за Микешу, к «безумию» которого я почувствовал глубокую симпатию, — как ты говоришь, что он не хочет работать, когда вот он ляжку с тобой же тянет...

— Так то я его нанимал, — ответил Фрол насмешливо. — Какой это станочник на чужой станок нанимается, свою очередь держать не хочет... Два раза бегал... обществом пороли... Может, скажешь, неправда?

Микеша продолжал молчать.

— Теперь, гляди, опять чего-то надумал, — с чисто мефистофелевской улыбкой продолжал Фрол, пронизывая бедного Микешу острым и насмешливым взглядом. — Скажешь — и это неправда? А зачем барахло взял?.. Сапоги зачем? Ружье для чего захватил? Смотри, общество все равно достанет тебя... Опять портки спустят.

Он говорил с негодованием и увлечением. Но Микеша вдруг перевел на него свои выразительные глаза, в которых засветилась определенная мысль, и сказал просто:

— Меняй у меня лодку. Моя лодка на станке осталась, хорошая!..

Маленькие хитрые глазки Фрола забежали. Он был сбит с бескорыстно-обличительной колеи и не мог сразу попасть на другую, тем более что ему приходилось стать пособником подозреваемого нового побега. Через некоторое время, однако, он ответил заискивающим тоном:

— Придачи, Микешенька, не спросишь?

— Где придачу возьмешь? Лодку сегодня давай. Проезжающих доставим, я в лодку сяду, ты пешком назад пойдешь.

— А я потом как твою ладью достану? Станочники не отдадут.

— Бумагу пишем. Вот он бумагу пишет, — указал Микеша на меня.

— Пишешь бумагу? — живо спросил у меня Фрол. — Ну, когда так, — меняю!

Они ударили по рукам, и я тут же на листке, вырванном из записной книжки, наскоро написал условие, буквы которого расплывались от снега. Фрол тщательно свернул мокрую бумажку и сунул в голенище. С этой минуты он становился обладателем хорошей лодки, единственного достояния Микешы, которому в собственность переходила старая тяжелая лодка Фрола. В глазах старого ямщика светилась радость, тонкие губы складывались в усмешку. Очевидно, теперь он имел еще больше оснований считать Микешу полоумным...

Снегу, казалось, не будет конца. Белые хлопья все порхали, густо садясь на ветки талины, на давно побелевшую землю, на нас. Только у самого огня протаяло и было черно. Весь видимый мир для нас ограничивался этим костром да небольшим клочком острова с выступавшими, точно из тумана, очертаниями кустов... Дальше была белая стена

мелькающего снега.

Вдруг оба ямщика насторожились.

— Будет! — сказал старик, подымаясь. — Собирайся, ребята, халан проходит...

Где-то совсем близко послышалось веселое щебетанье птиц, как будто птичья стая радовалась опять наступившему свету, и вслед за этим я и оба мои товарища вскочили на ноги, пораженные, почти испуганные. Сплошная завеса снега разорвалась в вышине, и оттуда, как-то угрожающе близко, точно в круглое окно, глядел на нас огромный утес, черный, тяжелый, опущенный снегом, с лиственницами на вершине. Впечатление было такое, как будто кто-то огромный и мрачный тихо раздвинул снеговую тучу и молчаливо смотрит сверху на кучку людишек, маленьких и беззащитных, затерявшихся на пустом острове.

Мгновение... окно закрылось, утес исчез, как мимолетный кошмар, но снег уже пришел в движение и несся мимо, волнуясь и колеблясь. Опять в этой колеблющейся пелене мелькнул разрыв, другой, чаще и шире, и через несколько минут весь горный берег выступил перед нами в поражающем величии...

Огромные базальтовые скалы стояли у самой воды, возвышаясь вершинами вровень с хребтом... Столбы, арки, крепостные стены с зубцами, башни, мосты, пещеры, фасады причудливых зданий, разбросанных по гигантскому склону, — все это, опущенное по выступам белыми каймами снега, облитое лучами заходящего солнца, полное покоя, величия и невообразимой первобытной красоты...

А последние столбы снеговой тучи мчались мимо, как остатки какой-то призрачной армии...

Ничего прекраснее этого зрелища я не видел никогда в своей жизни.

— Камнями этими поманили отцов наших, — сказал Фрол, и в лице его я прочел почти ненависть. — В них, говорит, золота лопатами греби... Поди, возьми его! Однако, братцы, ехать пора... Бери, Микеша.

— А во-он — Островский идет, — указал Микеша, когда мы вышли на откос берега.

Под огромными горами, на побелевшей и залитой косыми лучами вечернего солнца береговой полоске, опять виднелась маленькая черная точка...

Долго еще после этого плыли мы по темной реке. Последние лучи заката давно погасли, горы утонули в густом сумраке, река как будто притаилась между смутными берегами, и всплески наших весел одни нарушали очарованное молчание, отдаваясь чутким эхом заснувших ущелий... Вверху было глубокое, темное небо, внизу таинственно мерцающая глубина... И до сих пор еще, порой, я вижу во сне эту темную реку, и смутные отражения редких звезд, и эти горы, похожие в темноте на тучи, и нашу лодочку, покачиваемую невидимой волной великой сибирской реки... И на меня веет от этих воспоминаний глубокою, неизобразимой словами печалью. Откуда она — я сказать не могу... Отголосок ли невозвратного прошлого, смутное мерцание пройденного уже пути жизни? Или это определенная человеческая грусть этих станочников, обреченных караулить на диких берегах полосатые казенные столбы и холодные камни?..

— Огонь! — радостно сказал один из моих товарищей.

Действительно, за поворотом навстречу нам засверкал на берегу живой огонек костра под темными скалами. Подъехав ближе, мы услышали хриплый голос, выводивший какую-то песню, у костра виднелись три человеческие фигуры, в которых мы скоро узнали Островского и недавно встреченных нами бродяг.

Вероятно, заслышав плеск весел, Островский поднялся, отошел от костра и остановился, вглядываясь в темноту.

Потом он сошел на берег.

— Ага! Это вы? — сказал он. — Ого-го! и Микеша с вами...

— А вы, Островский, нашли себе товарищей, — сказал я.

— Ребята теплые! — ответил он с насмешкой в голосе.

— Не совсем только подходящая компания для девочки...

— Ни-и-чего! — ответил он уверенно. — Го-го! Островского никто не обидит, а за Анюту... горло перерву!..

— Островской! Куда ушел? С кем ты там разговариваешь? — крикнул один из бродяг от костра.

— Молчи! Не твое дело! — грубо ответил ему Островский и, опять обращаясь к нам, прибавил: — Думаете, пропаду?.. Нет, не пропаду... Был дурак, чуть не пропал... Ха! Думал святую землю работать, других научить, как за нею ходить надо... Спасибо, самого научили!

— Островской, дьявол! — послышалось опять с берега, и один из сидевших у костра бродяг зашевелился...

— Однако вы лучше проезжайте по добру, — сказал Островский. — Товарищи мои выпили... Как раз захотят познакомиться...

Фрол быстро двинул лодку багром, и она нырнула с нами из освещенного пространства в темноту.

— Храни господи, — сказал старый ямщик. — Жиган ныне голодный, как волк. На станках не подаем мы... А водку жрут, — прибавил он с удивлением и, пожалуй, с завистью...

Мне показалось, что Островский тоже был слегка выпивши. Мы отъехали сажен тридцать, когда с берега послышался пьяный голос бродяги:

— Микеша! А Микеш! Желторотой! На волю хочешь?

— Молчи ты, пьяный! — сказал сурово Островский.

— Ну, ничего, не сердись, Островской, я ведь любя...

— Микеш!.. Мике-ешь!.. Микешенька... — катилось еще долго над сонной рекой, перемежаясь пьяным хохотом. Ямщики молча налегали на весла, и вскоре огонек скрылся из виду.

Ночь продолжала тихо ползти над Леной. Взошла луна, красная, как кровь, и опять закатилась за вершину близкой горы. Северная Медведица спустилась низко, все растягиваясь и вырастая... Потом мутное облако поглотило редкие звезды, а наша лодка все плыла... Я как-то не заметил, как мы еще раз перерезали реку, и спохватился только, когда лодка зашуршала килем по песку.

Кругом было пусто. За широкой береговой отмелью лежала полоса гор, молчаливых и сонных...

Ямщики сложили весла, стали в лодке, приставили руки к щекам, и над пустынным берегом, будя ночные отголоски, понесся протяжный крик:

— Аг-ы-ы-ы...

Фрол кричал, видимо надрывая старую грудь. Микеша тянул свободно, полным и звучным голосом. Никогда еще я не слышал подобных звуков из человеческой груди... Крик был ровный, неустанный и гулкий, точно тягучий отголосок огромного колокола... Это был обычный призыв с берега к спящему за отмелью отдаленному станку.

— Аг-г-гы-ы... ямщики!

Старик сорвался глухим хрипом и болезненно закашлялся.

— Э-эх, — сказал он с горечью, — съела у меня голос река-матушка.

Микеша продолжал кричать, не останавливаясь для передышки...

— Идут, — сказал наконец Фрол.

Действительно, за отмелью мелькнули огни фонарей, и Микеша тоже смолк. И тотчас же со стороны реки, из-за горы, как бы в ответ на крик ямщика раздался такой же протяжный крик, только чудовищно громкий и глубокий. Мы невольно переглянулись и замерли, охваченные безотчетным испугом... Казалось — сказочное чудовище проснулось и завывало где-то неподалеку.

— Пароход, — сказал первым опомнившийся Фрол.

Вскоре в глубине темной ночи послышались частые гулкие удары, и на реку, сверкая огнями, выплыл пароход с двумя барками. Микеша быстро вскочил в лодку и отсунулся от берега, кинув Фролу его узел. Через минуту лодку едва можно было разглядеть на темных волнах Лены.

— Прощай, Микеша! — крикнул я вдогонку.

— Прощай-ай! — донеслось в ответ из темноты.

— Варнака к варнаку тянет, — с презрением сказал Фрол. — К жиганам, видно, пристанет.

— А ты разве не знал, зачем он у тебя выменивает лодку? — сказал я. — Зачем же уступил?..

Фрол ответил не сразу.

— Хорошо ли бумагу писал? Крепко ли? — спросил он через минуту. — Станочники чисто собаки. Не отдадут, пожалуй.

В это время к нам подошли станочники с фонарями, и все мы молча смотрели, как пароход, повернув к нам оба огня, бежал как будто прямо к нашему берегу... Под лучом пароходного огня мелькнула на мгновение черною тенью лодка Микеша и исчезла...

— Кто на реке? — спросил один из ямщиков.

— Микеша, — ответил Фрол торопливо. — Со мной приехал, да, вишь, сейчас отсунулся.

— Пошто?

— Я разве знаю?.. Ничего не говорил. А видно, опять в бега снаряжился.

— В бега, так пошто за барку зачалился? — сказал опять пришедший ямщик, зоркие глаза которого, очевидно, пронизывали темноту там, где я ничего не видел.

— С жиганами, видно, стакнулся. Жиганы повыше камней ночуют.

— Ну, ин, видно, так, — равнодушно подтверждали ямщики. Некоторое время они следили за поворачивавшимися огнями парохода, как бы обсуждая, что принесет им с собою эта редкая еще на Лене новинка: облегчение суровой доли и освобождение или окончательную гибель... Оба огня на кожухах исчезли, и только три звездочки на мачтах двигались еще некоторое время в черной тени высоких береговых гор... Потом и они угасли... Над Леной лежала непроницаемая ночь, молчаливая и таинственная...

Недели через две с теми же остановками и спорами, мы все еще двигались кверху по замерзающей Лене, когда нас догнал знакомый почталион, встреченный нами еще под Якутском и теперь возвращавшийся обратно. Сообщая различные новости пройденного уже нами пути, он рассказал, между прочим, что на несколько станков ниже Батамая оголодавшие бродяги ограбили было проезжего купца. Согнали народ и устроили облаву: варнаки отсиживались в пещере, отстреливаясь камнями, но в конце концов сдались. С ними, говорили, попался молодой ямщик, убежавший с Титаринского станка.

— А Островского с ними не было? — спросил я.

— Нет. Он отстал от них раньше.

— Неужели Микеша тоже участвовал в грабеже?

— Кто его знает. Сам говорит, что участвовал, но ни купец, ни бывший с ним ямщик его не видели. А бродяги смеются: «Так, говорят, припутался к нам желторотый зря...»

Мне казалось, что я понял Микешу: он, очевидно, думал, что если ему удастся выбраться «за горы» через острог, то это будет крепче, и станочники его уже не достанут, как свою собственность, обратно... Да и сам он, долгим общением в остроге с «умными» и бывалыми людьми, надеялся, вероятно, просветиться...

Да, всякие бывают мечты... Сбылась ли мечта молодого станочника — я не знаю...

1900–1901

Феодалы

I

Уже несколько дней мы ехали «разнопряжкой». Это значило, что на каждого человека (нас было трое) давали лошадь и узенькие дровнишки. Ямщик, иногда два ехали на таких же дровнях, отдельно. Составлялся караван, который, порой стуча и визжа полозьями по острым камням, медленно тянулся по берегу реки под скалами.

Кажется, только при таком путешествии чувствуешь настоящим образом, что такое огромный божий свет и сколько в нем еще могучей и гордой пустыни. Однажды мне случилось отстать, поправляя упряжь. Когда затем я взглянул вперед, — наш караван как будто исчез. Только с некоторым усилием под темными скалами, присыпанными сверху каймами белого снега, я мог разглядеть четыре темные точки. Точно четыре муравья медленно ползли меж камнями.

Река начинала «становиться», и сообщение между двумя берегами было уже прервано. В одном месте мы увидели на той стороне угловатые крыши станка, и над снегами вилась синяя струйка дыма. Серединой реки шел уже густой лед, и очередные ямщики с лошадьми и санями заблаговременно перебрались на левый берег, чтобы поддерживать почтовое сообщение без переправы. Здесь у них не было никаких строений. Под огромной скалой мы

увидели широкую яму, в которой ютились и люди, и лошади. В середине горел костер из целых стволов лиственницы, и дым подымался кверху, смешиваясь с падавшим из темноты снегом...

Ледоход затягивался, и люди жили таким образом вторую неделю. Огонь освещал угрюмые, истомленные лица ямщиков. Лошади фыркали под каменными стенами огромной землянки. Порой, когда костер вспыхивал ярче, вверху появлялись то кусок нависшей скалы, то группа лиственниц... Появлялись, стояли мгновение в вышине, как будто готовые обрушиться, и опять исчезали...

Я вспомнил старинное слово «ямы», и мне показалось, что я понял происхождение этого термина. Не в таких ли «ямах» начиналась в старину «ямская государева служба», не отсюда ли самое слово «ямщик»... Картина была фантастическая и мрачная, точно выхваченная из XVI столетия.

Через час наш караван выехал опять, звеня бубенцами, и скоро мутные отсветы подземного костра в пелене падавшего снега скрылись за поворотом... II

Молодой сон был нашим спасеньем в этом долгом пути. Убаюкиваемые неровной дорогой, ленивой трусцой лошадей, позваниваньем бубенцов и однообразием картин, мы проводили большую часть времени в полузабытьи. Засыпая иной раз при свете тусклой вечерней зари и просыпаясь темною ночью под шипенье легкой метели, я часто терял границу между сном и действительностью. Сны порой бывали теплые и яркие, как действительность, холодная действительность походила на кошмарный сон.

В таком неопределенном настроении проснулся я и в тот вечер, с которого начинается мой рассказ. Меня разбудила неожиданная остановка, и я открыл глаза...

Кругом было темно. Береговые скалы отодвинулись. Нас окружали какие-то громадные массивные постройки, которые оказались барками. Целый караван барок, охваченных льдом... Впереди на довольно крутом подъеме рисовалась силуэтом фантастическая фигура гигантского всадника. Я смотрел на него снизу. Его голова, казалось, уходила в облака, плечи высились над отдаленными горами. Рядом вприпрыжку бежал пеший человек в остроконечном шлыке.

Вдруг огромная рука всадника поднялась в мгlistом небе и опустилась. Пеший человек закрыл голову рукой, и острый свист нагайки прорезал воздух...

— Ты куда это завел, чтоб те язвило? — сказал гигант скрипучим и вместе гнусавым голосом.
— Давно надо быть в резиденции... А мы все еще на берегу?!

— Да я, — смиренно послышался голос пешего, — я, Кондратий Ермолаич, за имя вот подался...

— «За имя», — передразнил всадник... — Не можешь сам рентироваться, каналья... Гляделки у тебя ржа, что ли, выела, мразь ничтожная!.. червь ползучий, лярва... А я тут зябни!

Последние слова были сказаны гнусавым, почти плачущим голосом, и всадник опять поднял руку с нагайкой. Лошадь под ним испуганно затопталась. Пеший спутник уклонился от удара. Наши ямщики сошли с санок и приняли участие в обсуждении положения. Оказалось, что мы все заснули, лошади свернули к берегу. За нами потянулись случайные спутники, причем даже пеший проводник крупного незнакомца, очевидно, тоже заснул на ходу...

— Чего будем делать? — прокрипел опять тот же голос... — Оз-зя-яб ведь я! Смерть...

— Виска это, — сказал, выступая из темноты, один из наших ямщиков. — Эк-ка беды! Куда в

сам деле заехали!.. Вишь, это барки. Караван приисковой зимует...

— Ну, с богом, — сказал другой ямщик. — Ступай и ты, ваше степенство, за нами. Придерживай левой, ребята, левой... Берегись... Не спи... Левай, левай... Не задень, мотри... Камень тут... Ну, так и есть... Э-эх!.. Ну, слава те господи...

Резкий толчок саней о камень... Потом ровное поскрипывание полоза, и я опять сладко заснул. Только сначала еще сквозь дремоту, открывая порой глаза, я видел, что мы едем гуськом по широкой пустынной луговине, и ветер сыплет в лицо крупными хлопьями снега...

Но вдруг опять... Сон это или действительность? Копыта наших лошадей гулко стучат по деревянной настилке моста... По обеим сторонам не камни, не река, не скалы с шумящими сверху деревьями, а перила моста и... фонари! Впереди какое-то двухэтажное здание с светящимися окнами и яркие цепочки фонарных огоньков уходят в перспективу улицы...

Я протер глаза, но видение не исчезло... Лошади, перестав стучать по мосту, бежали по ровной дороге... Освещенный двухэтажный дом надвинулся ближе. На занавесках окон мелькали, точно китайские тени, силуэты танцующих... Слышались заглушенные звуки оркестра... А назади — холодная спутанная тьма, в которой угадываются горные склоны, темные ущелья, глубокое ложе замерзающей реки, холод, метель и пустыня...

Только тот, кто несколько долгих лет провел вдали от всякой культуры, может понять, каким изумительным красавцем кажется порой после этого простой фонарный столб с керосиновой лампой; светящей на улице... И как волшебно звучит самый незатейливый оркестр за освещенными окнами...

Поравнявшись с подъездом двухэтажного дома, наш караван остановился, и тотчас же рядом со мной выросла фигура мужика. Он был в большом полушубке, с головой, закутанной в башлык. Из-под башлыка торчал конец носа, заиндевевшие брови и белые усы. В одной руке у него была большая дубина, в другой — трещотка, из чего мы заключили, что это ночной караульщик.

— Что за народы? — спросил он. — Гости еще, что ли?

— Го-о-сти, — насмешливо сказал один из ямщиков. — Чай, видишь: этапные!

— Ну, так пошто ж вы сюда-то их приперли? Волоки на въезжу...

— Так, — сказал опять ямщик в раздумье... — Это мы знаем. А на какоу въезжу?

Мужик стал осматривать наши фигуры.

— Что тут у вас такое? — спросил я у него, указывая на освещенные окна.

— Это? — переспросил он. — Это у нас разведенция... Господа тут теперь гуляют. Вы Михаил Никитича знаете, что ль?

— Не знаем...

— Не знаете... та-ак... Дочку он просватал, так вот и гуляют на сговоре... Куда ж вас в сам-то деле?.. На черну, что ли? Или на господску? Бумага, что ль, с вами какая?

— Есть.

— Давай сюда. Схожу к заседателю, поспрошаю... Здесь он, тоже гуляет с прочими господами, в компании...

Я дал ему нашу бумагу, и он нырнул в калитку рядом с каменным домом.

Музыка смолкла. Мерное движение китайских теней приостановилось... Прошло несколько минут, в течение которых заседатель, может быть с участием веселых гостей, обсуждал наше положение...

Через несколько минут караульщик появился опять и сказал:

— Вались, слышь, на господску... Барин приказал... Дворяна, видно, — прибавил он в раздумье и вдруг отчаянно заколотил трещоткой, как бы желая показать освещенному дому, что он охраняет его беспечное веселье по соседству с насторожившейся холодной пустыней. Стук его трещотки наполнил улицу и полетел вдаль, в спутанную мглу реки и гор. Когда же трещотка смолкла, то на улицу опять порхнули звуки оркестра, и тени на занавесках опять двигались, подпрыгивали, встречались, отвешивали поклоны и расходились...

Еще один мостик с фонарями, еще пустырь — и мы въехали в улицу сибирской слободки, погруженной в глубокий сон. У одного дома мы увидели оседланную лошадь. Знакомая фигура в шлыке хлопотала около нее, снимая переметы... В замерзшие окна виднелся свет, тоже, как и в резиденции, мелькали тени и слышались нестройные пьяные песни...

— Въезжа эта... черная, — пояснил один из ямщиков. — Этапные, видно, загуляли...

Мы проехали мимо. Мне казалось, что все эти впечатления сейчас исчезнут и что я проснусь опять на угрюмой бесконечной дороге или у дымного «яма». Но когда наш караван остановился у небольшого чистенького домика, — волшебный сон продолжался... Теплая комната, чистые и мягкие постели... На полу — ковры, в простенках — высокие зеркала... Один из моих спутников стоял против такого зеркала и хохотал, глядя на отражение в ровном стекле своей полудикой фигуры...

Это была «господская въезжая» приисковой резиденции...

«Резиденциями» называют в Сибири такие пункты около больших рек или иных путей сообщения, которые служат посредниками между глубиной золотоносной тайги и остальным миром. В резиденциях происходит окончательная наемка рабочих и заключение с ними контрактов. Отсюда их уже разводят по тайге на места работ, и поэтому народ зовет их «разведенциями». Тут же рабочие получают окончательный расчет, отсюда на прииски доставляются припасы, здесь живет заседатель, а иногда и горный исправник с командой для поддержания во всем приисковом районе порядка и для борьбы с спиртоносами и хищниками золота. Одним словом, резиденция — это настоящая столица приискового царства. Рабочие и служащие отводят здесь душу после томительного однообразия таежной жизни... Ходят самые фантастические рассказы о разгуле, который врывается в эти места, когда хлынут сюда из тайги партии рабочих для расчета... Небольшие пароходики, пробирающиеся из резиденции в тайгу, нередко везут приисковым господам и их дамам последние новинки парижских мод.

В одну из таких резиденций приехали мы в этот мглистый вечер, начавшийся для нас в освещенной костром яме временного станка... Мы то и дело смеялись, беспричинно и бессмысленно, сидя за покрытым чистою скатертью столом, на котором кипел блестящий самовар.

Через полчаса все мы крепко спали в мягких постелях... Сквозь сон я слышал какую-то суету. Кто-то как будто называл мою фамилию, кто-то пытался осторожно разбудить меня... Затем меня оставили в покое. III

На следующее утро, едва я успел проснуться, как в спальню вошел молодой казак и почтительно остановился у двери. Он кинул быстрый и, как мне показалось, слегка

насмешливый взгляд на наши переметные сумы, в беспорядке лежавшие на ковре, на принадлежности нашего далеко не щегольского дорожного костюма и затем сообщил, что он прислан «барином» для услуг. «Барин» присылали вчера звать меня на «вечерку», но меня нельзя было добудиться. Теперь приказывают лично явиться к нему в канцелярию за бумагой.

— Кто же этот барин? — спросил я с недоумением. — Как его фамилия?

Барин оказался заседателем приискового участка, а фамилию его я только слышал ранее, но не связывал с нею никаких личных воспоминаний. Меня это заинтересовало, и, хотя особенной надобности в свидании не предстояло, — я был рад случаю повидать административного главу приисковой резиденции. Поэтому, одевшись, я отправился к заседателю.

Канцелярия помещалась в том самом поселке, который так поразил меня вчера ночью, в небольшом, но все-таки довольно просторном каменном доме. В первой комнате за столами помещалось два или три человека, усердно скрипевших перьями. На стене висел олеографический портрет государя и в черных рамках какие-то печатные листы и объявления. Пахло чернилами, носильным платьем и еще чем-то, составляющим специфическую принадлежность захолустных канцелярий, полицейских участков и духовных консисторий... Писцы имели вид людей, много испытавших в жизни. Вероятно, это были ссыльные; относились они к своему делу с угрюмою, озабоченною важностью и говорили друг с другом осторожным шепотом. Чувствовалось, что над канцелярией царит ощущение дисциплины, как будто просачивающееся из-за плотно закрытой двери, задернутой тяжелой коричневой драпировкой.

Когда я назвал свою фамилию и сказал, что явился по приглашению, один из писцов медленно положил перо на раскрытую ведомость, оглядел с ног до головы мою фигуру в полуякутском костюме и поднялся с своего места. Впрочем, подойдя к закрытой двери, он остановился и с оттенком нерешительности оглянулся на другого. Тот кивнул головой и сказал, склоняясь над бумагой:

— Доложи... чего тут...

И тотчас же деловито заскрипел пером.

Дверь тихо открылась и закрылась... В канцелярии опять водворилась робкая тишина, нарушаемая скрипом перьев.

Через полминуты писец вынырнул из-за портьеры.

— Пожалуйте, — сказал он, вежливо сторонясь и пропуская меня в кабинет.

Комната, куда я вошел, совсем не походила на канцелярию или деловой кабинет полицейского заседателя (должность, соответствующая становому приставу). Это был скорее будуар светской женщины. Прежде всего бросалась в глаза роскошная пестрота, в которой мягко терялись отдельные предметы. Нога ступала по толстому, лохматому ковру, под цвет тяжелых стеновых обоев. Стены были увешаны картинами и зеркалами. В одном месте сверкала на темном фоне коллекция оружия; в углу лапчатые листья тропических растений простерлись над роскошной оттоманкой. Середина комнаты была занята большим столом, вокруг которого стояли мягкие кресла, как будто приготовленные для каких-то заседаний. В задней стене был широкий пролет с тяжелыми драпировками. За ним в углублении виднелась большая ниша, что-то вроде спальни. В полутьме чуть пестрели пятна тигровой шкуры над кроватью, и женский портрет в золоченой раме выступал из полумрака... Комната со столом освещалась большим венецианским окном, в которое, точно на картине, виднелось серое небо с тяжелыми желтоватыми облаками и дальний берег Лены.

— Покорнейше прошу вот сюда... Кажется, имею удовольствие говорить с...

Только теперь я заметил среди пестроты этой комнаты фигуру хозяина. Он сидел в огромном кресле, вроде председательского, с очень высокой спинкой, и теперь сделал движение, как будто хотел подняться мне навстречу. Впрочем, движение это было скорее символическое: выходить из-за стола с близко придвинутым тяжелым креслом было неудобно. Я и принял это, как величаво-снисходительную любезность, подошел сам и назвал свою фамилию.

— Оч-чень рад... Пожалуйста...

Благосклонным жестом он указал на ближайшее кресло и назвался в свою очередь:

— Степан Осипович Костров.

Степан Осипович Костров оказался человеком еще молодым и довольно красивым. Преждевременная лысина сильно увеличила его высокий лоб, и все лицо, как-то излишне выхоленное и нежное, выделялось ярко и значительно на темновато-пестром фоне. На нем была щегольская серая тужурка с форменными жгутами на плечах, застегнутая сверху на одну пуговицу. Из-под нее выступали ослепительный стоячий воротничок и сверкающая белая жилетка с маленькими золотыми форменными пуговицами. Из рукавов тужурки выставлялись очень широкие крахмальные манжеты, и вся фигура давала прежде всего впечатление нескольких ослепительно белых пятен. Лицо тоже сразу напоминало о пудре и душистом мыле. Впрочем, серые глаза смотрели твердо, и в чертах лица проглядывала холодная самоуверенность. Мне показалось на одно мгновение, что моя невольная растерянность и инстинктивное ощущение дисгармонии, которую внес я своей полудикой фигурой в этот щегольской уголок, доставили хозяину некоторое удовольствие. По лицу его скользнуло что-то почти неуловимое, как будто оно стало еще мягче, свежее и душистее... Он подвинул ко мне ящик с сигарами и сказал:

— Да, я очень рад, что имел случай познакомиться. Слышал, что принимаете, так сказать, участие в литературе?.. Мы здесь это ценим...

Он придвинул еще коробку спичек и спросил очень любезно:

— Надеюсь, вы хорошо провели у меня эту ночь?

В тоне его мне почуялось легкое напоминание, что у кого-нибудь другого я мог бы провести эту ночь и гораздо хуже... на черной въезжей, например, а не на господской.

— Ночь мы с товарищами провели превосходно, — ответил я. — Я пришел, чтобы поблагодарить за гостеприимство и... взять свою бумагу.

Хозяин, по-видимому, не торопился закончить аудиенцию так скоро. Срезав конец сигары, он долго закуривал ее и затем, выпустив клубок дыма, сказал, откидываясь в кресле и протягивая ноги под столом:

— Мы позволили себе потревожить вас вчера, но вы уже спали... Маленькое семейное торжество... Кронид Иванович был тоже...

Заметив мой вопросительный взгляд, он пояснил:

— Кронид Иванович Шабельский. Ведь вы, кажется, знакомы?

— Нет, не знаю.

— Не знаете?.. Кронида Ивановича?.. Странно...

Он кинул на меня взгляд, в котором проскользнуло сомнение: то ли я лицо, по адресу которого он расточал свои любезности, и продолжал:

— Новый управляющий прииск... Я думал, что вы знакомы. Когда вчера принесли вашу бумагу, он сразу обратил внимание на вашу фамилию... Может, припомните?

— Нет, не припоминаю.

— Дстой-нейшая, просвещенная личность...

Лицо его при упоминании о просвещенной личности стало еще более матовым и разнеженным... Он опять с легким оттенком сомнения скользнул по моей фигуре, как бы сопоставляя ее с достойнейшим Кронидом Ивановичем, к большой, конечно, невыгоде для моей скромной особы, и сказал с озабоченным видом:

— Уехал утром, прямо с бала... Как-то удалось перебраться?..

Я сказал, что переправа, вероятно, очень трудна. На реке довольно крупное «сало». Ямщики на некоторых станках дежурят в «ямах». Людям приходится очень трудно. Он выслушал последнее замечание с небрежным видом и сказал:

— Народ привычный... Боюсь, что и мне скоро придется ехать в участок, и притом довольно далеко...

— Ваш участок, вероятно, велик, — сказал я, чтобы поддержать разговор.

Он слегка улыбнулся как-то особенно, одними бровями и уголком губ, в которых была заземлена сигара, и сказал кратко:

— На европейский масштаб — целое государство!.. Да вот, не угодно ли взглянуть на эту карту... Синей чертой обведены границы моих владений...

И он с изящной небрежностью сделал округленный жест рукой по направлению к большой карте, висевшей над камином.

Я с любопытством взглянул на нее. Синяя черта, извиваясь между хребтов, горных речек и падей, уходила на северо-восток, захватывала значительную часть течения Лены и ее безымянных притоков, подходила к водоразделу Енисея на северо-западе, а на юго-востоке широким синим пятном к ней придвигался Байкал...

Этот клочок разрисованной бумаги живо подействовал на мое воображение. Мне представились эти сотни и тысячи верст, оставшихся назади, которые мы одолевали так долго и с такими усилиями... Зеленые пятна, там и сям причудливыми массами разбросанные кистью чертежника, — это глухая, дремучая тайга, непроходимую, дикою чащею раскинувшаяся по горным уступам и ущельям. Черные точки — убогие станки, населенные несчастными, полуголодными и угрюмыми ямщиками. Извилистые полосы — это горные речки, через которые мы переправлялись с такими приключениями... Все это живо представилось мне при взгляде на карту «участка», который этот франтоватый господин в серой тужурке с такой великолепной небрежностью только что назвал «своими владениями».

«Да ведь это в самом деле владетельный князь», — подумал я и с невольным любопытством еще раз взглянул на г-на Кострова.

По наружности сразу видно, что это не коренной сибиряк, а из «навозного элемента», как их иронически зовут в Сибири... Сильно воспользовался жизнью в России... разорился... Потом взялся за ум... Приехал в хвосте генерал-губернаторской свиты и благодаря столичной протекции получил теплое место на приисках. В то время эти «навозные» господа не

пользовались особенным расположением сибиряков. Последние предпочитали своих аборигенов, с знакомым сибирским бытовым налетом. Они как-то лучше приходились ко двору. У навозных не было местного чутья. Они были высокомерны, заносчивы, и требования их часто превосходили всякие пределы...

Степан Осипович Костров имел руку в Иркутске... В последнее время, впрочем, толковали о перемене генерал-губернатора... IV

В кабинете вдруг послышался какой-то сторонний звук...

Оглянувшись, я увидел, что мы с заседателем не одни. У двери, прижавшись между портьерой и пестрой стеной, как бы стараясь уничтожиться в этой роскошной обстановке, стоял человек, которого я при входе не заметил.

Это был субъект большого роста, одетый в длинный серый пиджак и светлые брюки крупной клеткой. Пиджак висел на сухощавой фигуре, как на вешалке, брюки были засунуты в лакированные голенища, слишком широкие и нелепо спустившиеся книзу. На светлой, но порядочно обмызганной жилетке болталась толстая металлическая цепочка с массивными брелоками. Лицо у незнакомца было смугло-оливковое, с очень низким лбом, над которым торчали в разные стороны короткие и густые черные волосы. Большие торчащие уши, толстая нижняя губа и широкие челюсти давали впечатление странной, несколько комической гримасы. Маленькие черные глаза сверкали по временам враждой и каким-то унылым упорством.

Наклонив голову и глядя искоса и исподлобья на заседателя, он сказал:

— Можно мне уже идти, Степан Осипович?

Заседатель повернулся в его сторону и, откинувшись назад, некоторое время смотрел на незнакомца строго и холодно...

— Нет-с, нельзя, Кондратий... забыл, как по батюшке, — сказал он сухо. — Мы с вами еще не кончили нашего разговора...

— До коих же пор... в сам-деле? — пробурчал незнакомец угрюмо. — Стою, стою...

— Я, быть может, вам помешал? — сказал я, делая движение, чтобы подняться.

— Нисколько... Пожалуйста!.. У нас с этим господином нет никаких секретов... Даже совершенно наоборот... Дело наше, можно сказать, получило широкую огласку...

Мне показалось, что в последних словах прозвучал оттенок некоторой злости, но затем заседатель небрежно протянул руку, взял номер лежавшей на столе газеты и подал его мне.

— Посмотрите вот здесь... отчеркнутое место. Как вам понравится?..

Газета была сибирская, но выходила в столице. Отчеркнутое место заключало в себе сообщение о циркуляре, который волостной писарь Шушминской волости N-ского округа разослал по деревням «в руководство на случай военного могущего произойти столкновения». За много лет до действительной китайской войны газеты заговорили как-то о недоразумениях на китайской границе. Недоразумения были улажены, но волостной писарь отдаленной волости, очевидно, большой дипломат, счел нужным и с своей стороны принять участие в инциденте. Он разослал по деревням циркуляр, в котором предлагал «подведомым старшинам, сотским, а равно прочей мелкой власти» внушать населению полное спокойствие. «Я же, со своей стороны, — так заканчивался этот циркуляр, — за благо признаю, в силу облакаемой власти и политического равновесия, как равно и высшего соображения причин, клонящих намерение к строжающему нейтралитету, то имеешь ты,

старшина (имярек), с прочею низкою властью приложить всемерное старание под страхом в противном могущем быть случае настрожайшего штрафования, не исключая личной прикосновенности по закону и свыше... Подлинный подписал писарь Кондратий Замятин».

Самому ли Кондратию Замятину пришла в голову эта горделивая идея, или ее внушил ему какой-нибудь юморист из ссыльных, — сказать трудно; но имя Кондратия Замятина на время всплыло в сибирской и столичной печати.

— Да-с! Вот не угодно ли? — сказал Степан Осипович, когда я с невольной улыбкой положил номер на стол. — Подлинный подписал Кондратий Замятин — это вот они-с... Не угодно ли полюбоваться... Бисмарк Шушминской волости... Объявляет войну и мир и поддерживает политическое равновесие.

Кондратий Замятин повернул голову так круто, что казалось, он свернет себе шею, и в его лице, в глазах, даже в позе виднелось выражение сконфуженности и вместе упрямства. Такой вид должны были иметь в доброе старое время великовозрастные богословы и философы, которым предстояло ложиться под «учительную» лозу отца ректора...

— Можно... уйти?.. — процедил он опять, и губы его сложились в такую складку злости и обиды, что мне стало несколько жутко.

При этом что-то в его голосе показалось мне очень знакомым. В моей памяти встала вдруг вчерашняя темная ночь на льду затона, холодный ветер с изморозью, мое полупробуждение и огромный силуэт всадника, возвышавшийся над горами... Я невольно спрашивал себя, действительно ли этот человек, уничтожающийся теперь под взглядом заседателя, тот самый, который явился мне вчера таким титаном?.. И я подумал, что Степан Осипович несколько неосторожно злоупотребляет преимуществом своего положения над этим верзилой, который может расплющить его одним движением своей жилистой лапы...

— То-ро-опитесь? — сказал заседатель с уничтожающим сарказмом в голосе... — Сочинять министерские циркуляры?.. Или...

В глазах Кострова пробежало что-то быстрое и холодное, как змейка.

— Или с-строчить доносы вашему куму, исправнику?.. Нет-с, господин Замятин, на этот раз вы от меня дешево не отделаетесь. Я не посмотрю на ваших кумовей и на все ваши шашни... Сделайте одолжение... Сколько угодно! Пишите, выдумывайте, лгите... А пока...

Его лицо стало опять бледно и холодно. Он любезно повернулся ко мне и сказал:

— Извините, что делаю вас, так сказать, свидетелем... Но с этим народом и ангел потеряет терпение... Не угодно ли вот!.. Я ничего не знаю, а циркуляр уже попал в газеты. Пойдут теперь трепать... Того гляди, из самого Петербурга запрос: в чьем участке этот Талейран объявился?.. Сепаратизм еще приплетут... Ну-с, так вот, господин Кондратий Замятин, владетельный князь Шушминской волости... есть там у вас... в ваших «подведомых владениях» каталажка?..

— То есть... это в каком смысле?.. — угрюмо спросил Кондратий Замятин.

— А вот, в том самом смысле... куда сажают бродяг, воров и пьяниц и куда вы изволили посадить самовольно противузаконно тунгусского князца... Это вот самое строение... стоит еще на месте? Не сгорело?

Замятин издал невнятное, но, по-видимому, утвердительное ворчание...

— Так вот-с... вы получите в моей канцелярии предписание, которое приказываю исполнить точнейшим образом. Прежде всего, не медля здесь ни минуты, — слышите? ни одной

секунды, — вы отправляетесь к месту своей службы. По прибытии имеете предъявить старосте бумагу, которую тоже получите из моей канцелярии для объявления на сходе... И прошу добросовестно прочесть ее содержание, — прибавил Степан Осипович металлическим голосом. — Я проверю... И если вы... если ты, с-сукин... Ах, извините, я опять забылся, — спохватился заседатель, повернувшись ко мне.

Кондратий Замятин перестал жаться к стене и вытянул шею...

— В бумаге этой говорится, — холодно отчеканил заседатель дальше, — что писарь Шушминской волости Кондратий Замятин, из ссыльнопоселенцев, имеет отсидеть в сельской каталажке на хлебе и воде неделю... за составление бессмысленных циркуляров, выходящих за пределы его обязанностей и составляющих превышение власти... Можете идти...

Замятин, как будто все еще не вполне разобравший смысл сказанного, медленно, с медвежьей ухваткой повернулся к двери, потом остановился, мгновение постоял неподвижно и затем опять обратился вполборота к заседателю.

— Степан Осипович, — сказал он сдавленным, глухим голосом...

— Что-с?

— Отмените...

— Я никогда не отменяю своих распоряжений...

Замятин еще постоял, опустив голову, и потом продолжал так же глухо:

— Отмените... Я говорю: какой же после этого посреди дикого народу... престиж?

— Что-о-с, — вспыхнул заседатель... — Престиж? Престиж вам!.. Не угодно ли повернуться лицом, когда с вами говорит начальник... Что это за поза?.. Руки по швам! — крикнул Костров, выходя из себя.

Замятин неохотно и не до конца повернулся и опустил руки. Заседатель окинул всю его фигуру горящим взглядом.

— Тебе, Кондратий Замятин, — сказал он, отчеканивая каждое слово, — статья такая-то, о «состояниях» известна?.. Примечание такое-то об изъятых от телесных наказаний?.. Ступай и помни, что если ты выведешь меня из терпения, то я применю к тебе это примечание при первом случае... И никакие шашни, никакие доносы не помогут... Ступай...

Замятин издал что-то вроде глухого медвежьего ворчания, круто повернулся и исчез за занавеской. Вид у него был такой же зловеще-унылый и упрямый. Уходя, он даже непочтительно стукнул дверь... Степан Осипович проводил его враждебным и внимательным взглядом.

Когда портьера за писарем перестала колыхаться, Костров повернулся ко мне.

— Ну-с, вот вы изволили видеть сами... Так сказать, бытовая картина, которую бы можно озаглавить: положение сибирского администратора... Что скажете?

Я решительно не знал в ту минуту, что я могу сказать о положении сибирского администратора. Впрочем, Степан Осипович сам вывел меня из затруднения. Он подвинул мне коробку папирос, закурил сам и сказал тоном доверчивым, отчасти даже конфиденциальным:

— Вот вы человек просвещенный... Судите сами: на ответственности заседателя целое, так

сказать, государство... Заседатель отвечает за благосостояние и спокойствие в некотором роде сибирской Швейцарии...

Он опять меланхолическим жестом указал на карту.

— А между тем заседатель связан по рукам и ногам... Власть его ограничена до смешного! Верите, я не имею возможности прогнать какого-нибудь ссыль...

Он спохватился и поправился:

— С одной стороны, какая-нибудь уголовная фигура, вот вроде сейчас вами виденной... С другой — исправник, из местных, непросвещенный, грубый, который, однако, имеет возможность на всяком шагу ставить препятствия...

Он сделал усилие и передвинул свое тяжелое кресло, так что нас разделял только угол стола.

— Послушайте, — заговорил он несколько пониженным голосом. — Вот я и говорю: вы человек просвещенный, обладаете талантом. Скоро будете в России... Еще скорее в Иркутске... Что, если бы вы изобразили... ну вот хотя бы то, что видели... «К положению просвещенного администратора в Сибири»... Я, с своей стороны, мог бы дать некоторые пояснения... Тема для статьи — богатейшая... Если я отвечаю, дайте мне власть... Это понятно. Если мне доверяют, я должен быть независим от какого-нибудь... там... исправника старого закала, который принимает доносы, роняя, так сказать, престиж... А? Что такое? Что вам нужно?..

Сердитое восклицание относилось к писцу, который в эту минуту тихо приподнял портьеру и просунул в кабинет свою лысую голову с выразительно суровым лицом.

— Ну, что там такое? — нетерпеливо спросил Костров.

Писарь переступил порог, тихо опустил портьеру и, бесшумно ступая в мягких валенках по ковру, подошел к столу. Здесь он остановился как бы в нерешительности, глядя то на заседателя, то на меня...

— Пришел... — сказал он.

— Кто пришел? Да говорите вы, черт вас возьми, по-человечески!

Лысый писец как-то съежился, но после нетерпеливого начальственного окрика сказал почти шепотом:

— Бурмакин-с...

Заседатель как будто удивился.

— Уже? — сказал он. — А... да, да... Ну, хорошо, хорошо...

Он отодвинул свой стул и с любезною, несколько сконфуженною торопливостью повернулся ко мне.

— Да-с... так мне очень приятно... как же, как же: слышал от Кронида Ивановича... Очень, оч-чень сожалею, что обязанности службы лишают меня в некотором роде удовольствия... В противном случае, поверьте... счел бы за честь... Карпов, выдашь вот им бумагу... Счастливого пути... В Россию! На милую родину... Завидую...

Он вышел из-за стола и, задержав мою руку в своей, продолжал:

— Может быть, по приезде в Россию или... еще лучше в Иркутск... вы вспомните о том, что я говорил. Очень, оч-чень жаль, что важные дела мешают мне в настоящую минуту дать некоторые материалы... Но, впрочем, под пером талантливого человека и то, что вы видели и слышали... Всего, всего хорошего...

Он говорил любезно, но в голосе слышалась сильная озабоченность... Было видно, что преждевременное появление того человека, о котором говорил писарь, спутывало какие-то планы господина Кострова... V

В канцелярии, куда я вошел, было новое лицо и, пожалуй, новое настроение. У одного из столов стоял высокий человек в приискательском кафтане из верблюжьей шерсти, с узорно расшитыми полами. Кафтан был перетянут красным кушаком, концы которого были старательно расправлены и кинуты бахромой на боку. Одна пола была приподнята и заправлена за пояс, открывая широкие плисовые шаровары, вдетые в голенища высоких сапог. В руках он держал дорогую соболью шапку, из-за голенища торчала чеканная ручка нагайки. Все в этой фигуре отзывалось рассчитанным приискательским щегольством, а красивое смуглое лицо с неприятно полными и красными губами дышало уверенностью и самодовольством. По-видимому, то что он успел сказать здесь, в канцелярии, до моего прихода, доставило всему штату много развлечения и удовольствия. Писаря бросили писать, все улыбались, на всех лицах виднелось оживление.

Когда я вошел, новый пришелец двинулся навстречу и обменялся взглядом с шедшим за мною Карповым. Тот утвердительно кивнул головой, и Бурмакин уверенно направился к двери...

Этого человека я уже встречал...

Это было несколько дней назад, на дороге между двумя станками. Был серый, неприятный день с холодным пасмурным небом и пронизывающим ветром, наметавшим кое-где сугробы сухого снега и свистевшим в обнаженных придорожных кустах и деревьях. Мы ехали с раннего утра и уже устали от холода, пустынного ветра и пестрого мелькания снежных пятен и обнаженных скал.

В одном месте нас обогнали широкие пошевни, запряженные парой лошадей с колокольчиком. Они вынырнули на дорогу с проселка, в конце которого виднелись верхушки крыш небольшого поселения, расположенного у самой реки. Ямщик был сильно пьян и гнал лошадей без толку, то нахлестывая их кнутом, то задерживая вожжами. Сани мотались по ухабам, как будто тоже пьяные, а в них беспорядочно барахтались две фигуры. Один из седоков, молодой парень, откинув голову назад, тянул водку прямо из горлышка бутылки... Его кидало на ухабах, водка лилась мимо, и он глупо смеялся пьяным смехом. Другой, полулежа в широких пошевнях без всякой подстилки, то поощрял своего спутника, то толкал его под локоть; мне он показался значительно трезвее. В одном месте сани вдруг наклонились, и оба седока выкатились на дорогу.

Пока младший старался подняться, тыкаясь красными руками в холодный снег, другой встал на ноги и не совсем твердой походкой направился к нам.

— Здравствуйте, господа! Издалеча ли бог несет?.. — спросил он, внимательно оглядывая нас.

Мы ответили.

— А я — Бурмакин!.. — сказал он гордо.

Это имя было нам знакомо. Бурмакин был очень известный в тех местах глава спиртоносов, ежегодно снаряжавших в тайгу целую экспедицию хищников золота, устраивавших в глухих

притонах свои становища и скупавших у приисковых рабочих подъемное золото за деньги или за спирт. Промысел чрезвычайно опасный, требующий большой выносливости, решительности и сноровки, но и очень прибыльный. И каждый год в то время, когда большинство местных поселенцев, а иногда и крестьян, шло наниматься на прииски, — меньшинство, состоявшее из наиболее отчаянных удальцов, отправлялось к Бурмакину. Он выбирал из них самых подходящих и «давал задатки», как глава какой-нибудь известной фирмы...

Я с интересом взглянул на эту знаменитость, стоявшую перед нами на дороге. Бурмакин был в широкой дохе, распахнувшиеся полы которой трепал ветер. Лицо его было неприятно красное, набухшее как бы от продолжительного пьянства, но в глазах виднелась решительность и сила.

— Выпейте с Бурмакиным, ребята! — сказал он таким тоном, как будто был уверен, что мы сочтем это приглашение за великую честь. И, засунув руку в карман ватного кафтана, надетого под дохой, он вытащил оттуда непочатую бутылку...

Мы отказались...

— Ну, и черт с вами, — сказал он грубо. — Наплевать! Видно, не знаете, кто вас угощает... Эй, Сенька, дьявол!.. Вставай! Обночлежился, что ли, тут в снегу?..

Он подошел к саням, у которых все еще барахтался пьяный товарищ, и, подняв его, бросил в пошевни, точно мешок с мукой. Я слышал, как голова Сеньки стукнулась об обочину саней... Бурмакин опять выругался, но вдруг повернулся еще раз к нам и сделал несколько шагов.

Я приготовился к какой-нибудь неприятной сцене. «Знаменитый Бурмакин» показался мне просто пьяным нахалом, вроде загулявшего бахвала-фабричного. Но, взглянув на его лицо, я увидел, что теперь оно изменилось: черные глаза глядели серьезно и как будто печально.

— Извините, господа, — сказал он. — Выпивши я немного. Сколько время с этим народом катажусь... Вы вот из Якутска едете... что-нибудь про моих «ребят» слыхали?

Мы слыхали, что в якутской тюрьме сидело еще с прошлого года человек пятнадцать спиртоносов и в том числе правая рука Бурмакина, черкес Измаил Юнусов. Говорили, что Бурмакин сыпал деньгами, чтобы выручить товарищей, но «выгодное» для начальства дело затягивалось. «Бурмакинские ребята» уже около года томились в якутской тюрьме, — правда, благодаря бурмакинским деньгам им было довольно весело.

Мы рассказали Бурмакину, что знали о положении его товарищей. Он выслушал внимательно и серьезно и сказал:

— Ну, спасибо вам, господа... Э-эх! На всех бы наплевать, — Измаила жалко... Поверите, братцы, — за этого человека сейчас праву руку долой! Брат, — даром что нехристь!..

В его словах мне послышалось искреннее чувство и печаль. Но тотчас же этот проблеск исчез, как слабый луч в холодных облаках, и на лице Бурмакина опять появилось выражение бахвальства.

— Ну, да ничего! Выручу!.. Бурмакин, да чтоб не выручил... Слыхали, чай, про меня! Кто по здешнему месту первый человек?.. Бурмакин! Вот где у Бурмакина все...

Он поднял кверху сжатый кулак и вдруг вернулся опять к прежнему:

— Наливки хотите? Может, хересу?.. У меня тут все есть... Ну, не хотите как хотите... честь предложена... Эй ты, ямщик... желторотой... Чего стоишь... Пошел!

Сани уже тронулись, когда он грузно ввалился в них, рискуя задавить пьяного Сеньку, и вся группа бестолковым темным пятном опять понеслась вперед, вихляясь из стороны в сторону... Над широкой спинкой саней мелькали руки, спины, собольи шапки. Бурмакин с Сенькой возились, как два медведя, отымая друг у друга бутылку с водкой, которая весело мелькала на солнце... Неровно звенел колокольчик, и к нам доносились нелепые обрывки циничной приисковой песни.

Наш ямщик, молодой станочник, выросший по соседству с нелепой роскошью приисков, провожал удаляющуюся компанию завистливым взглядом.

— Фартовый народ! — сказал он, когда она исчезла за поворотом дороги. — Сани, что есть, и то пьяные — качаются.

И он принялся подробно рассказывать нам о Бурмакине, об его удальстве и удаче.

По его словам, Бурмакин снаряжает и на этот год в тайгу небывалую еще экспедицию в несколько десятков самых отчаянных головорезов поселенцев и сорок вьючных оленей. Ямщик говорил, где именно собираются по частям отряды и где будет переправа...

Мне запомнился навсегда простодушно-эпический тон этого рассказа и наивно-бесстрастное выражение синих глаз сибирского юноши. В тоне не было слышно ни одной ноты осуждения или хоть иронии, добрые глаза глядели ровно и с тем бесстрастным доброжелательством, с каким они смотрели на облака, на снежную дорогу, на сопки... Если бы развернуть это выражение в членораздельные звуки и связную речь, то оно значило бы, вероятно: есть на свете облака и солнце, и снег, и дорога, и камни. И есть маленькие холмики и огромные горы... И есть жалкие станочники и могущественные Бурмакины... И все это от века и навсегда...

— Теперь, не иначе, — к заседателю поедет... — прибавил он с таким выражением, как будто это тоже написано в предвечных законах этого холодного, каменистого мира...

Молодой ямщик не ошибся. Бурмакин действительно появился в резиденции. Владыка тайги перед экспедицией вступал, по-видимому, в какие-то дипломатические переговоры с владыкой «сибирской Швейцарии»... VI

Выйдя из канцелярии, я направился по улицам слободки к месту своего ночлега. В слободку, звеня колокольцами, въезжала почта на восьми тройках.

У черной въезжей стояла оседланная лошадь. Из ворот вышел Замятин и, остановив последнюю тройку, о чем-то пошептался с почталионом и сунул ему письмо. Когда почта проехала, он направился к своей лошади и встретился со мною. Сначала он отвернул свое выразительное лицо, как будто ему была неприятна встреча с свидетелем его недавнего унижения. Но затем посмотрел мне прямо в лицо своим тяжеловатым взглядом и улыбнулся. Его толстые несимметричные губы растянулись вкось самым удивительным образом. Вышла не улыбка, а какая-то зловещая гримаса.

— Ни-че-го! — сказал он фамильярно, как старому знакомому, кивнув мне головой. — Видали и не этаких коркодилов... Еще посмотрим!

Он довольно грузно взобрался на лошадь, оправил доху, уселся плотнее в высоком якутском седле и тронулся с места. Отдохнувший конек заиграл и быстро повернул в том направлении, откуда мы вчера приехали. Но Замятин хлестнул его нагайкой и повернул в противоположную сторону. Он лукаво кивнул мне с таким видом, точно мы были два заговорщика, связанные какую-то общию тайной, и поехал вдоль улицы. Сначала тихо, потом шибче, а затем, доехав до конца улицы, к выезду из слободы, — вдруг нахлестал лошадь и пустился в карьер. Полы его дохи развевались, по бокам седла метались переметы, и мелкий снег тучей нессся за

копытами коня...

Сначала я ничего не понял ни в этой мимике, ни в сумасшедшей скачке Замятина, но затем сообразил: он нарушил строгое приказание заседателя и ехал совсем не в Шушминскую волость, где его ждало унижительное заключение в каталажке... При этом он увозил с собой дипломатические тайны вражеского стана...

Почта была на этот раз экстренно велика, и нам пришлось поневоле остаться в резиденции до позднего вечера.

Днем мы спали, а перед вечером я отправился пройтись по слободке. Начинало темнеть. Сумерки наваливались на бревенчатые избы, нахлобученные шапками снега, на «резиденцию», на темные массы гор. В слободке зажигались огни... В одной избе стоял шум, слышались визгливые звуки гармоники, нестройный галдеж и песни...

Так как люди входили и выходили оттуда совершенно свободно, то вошел и я, привлеченный любопытством.

Никто не обратил на меня внимания в избе, тесно набитой народом. Воздух был пропитан запахом махорки, вина, овчины и оленьих мехов. За столом сидело несколько человек. Перед ними стояли початые бутылки и стаканы. На грязных тарелках лежали горой куски вареного мяса и рыбы. Какой-то парень «томился», положив на руки кудрявую белокурую голову и пачкая рукава нового азяма в пролитом вине и застывшем сале. Двое других, обнявшись за шеи, качались из стороны в сторону и тянули дикими голосами приисковую песню, сбиваясь и не обращая внимания друг на друга... Невдалеке от них совершенно трезвый сибиряк играл на гармонии и зорким, хищным взглядом искоса следил за певцами. Это не мешало ему добросовестно перебирать лады гармоники, резавшей ухо визгливой частушкой. Посередине просторной избы, среди тесной кучи зрителей, шел пляс. Танцующих не было видно, слышалось только уханье и частый тяжелый топот... По временам снаружи в избу входил кто-нибудь из местных жителей и, протискавшись к столу, без церемонии наливал себе стакан водки...

— Пейте, челдоньё, лакайте, дьяволы, не жалея, собаки, чужого добра!.. — выкрикивал один из певцов высоким тенором.

— Знай бурмакинску команду! — вторил могучим басом другой, и они опять принимались петь.

Вдруг сибиряк, игравший на гармонии, насторожился, и в его глазах мелькнула злая тревога. В соседней комнате, за запертой дверью, послышался шум. Музыкант поднялся и, не переставая играть, стал протискиваться через толпу. Когда он раздвинул ее, я увидел в центре зрителей пьяного танцора. Глаза его были бессмысленно выпучены, и он автоматически топал ногами с таким ожесточением, как будто навсегда потерял способность к движениям другого рода. Вокруг него «ходила» молодая девушка, почти ребенок, с налитым, красным лицом, выделывая нескромные «колена» безобразной пляски, которые зрители встречали поощрительным хохотом.

Вдруг гармония стихла. Музыкант, протолкавшись к запертой двери, рванул ее и раскрыл настежь... За ней мелькнуло возбужденное и пьяное лицо того самого Сеньки, которого я встретил на дороге с Бурмакиным. Против него стояла в воинственной позе старая женщина.

— Ты кого мне привела... Нет, ты кого привела! — кричал Сенька нелепым пьяным голосом.
— Думаешь, пьян... не замечу... Я тебе приказывал: доставь Малашу, никаких денег не пожалею. А ты мне свою лахудру подсудобила... Это есть ам-ман!

— Молчи, подлец, молчи, каторжна душа! — визгливо отвечала женщина, видимо тоже

пьяная. — Чем тебе наши девки плохи?.. Могешь ты моих дочек страмить?.. Жиган ничтожный, тля тюремная!..

— Ма-ма... Мама... — слезливо говорила молоденькая девушка и тянулась к матери.

— Не трог, Афрося, молчи, а ты... Я вот ему своим рукам...

Пляс приостановился. Толпа хлынула к открытым дверям, закрыв от моих глаз происходившую за ними сцену.

— Братцы, бурмакинские! Ам-ман... Аманывают наших, — кричал Сенька так отчаянно, точно его резали темной ночью на большой дороге. Певцы кинулись к нему. Молодой человек с кудрявой головой, томившийся за столом, вдруг вскочил, посмотрел вокруг осоловевшими, почти безумными глазами и толкнул стол, отчего бутылки и стаканы со звоном полетели на пол... Все перемешалось и зашумело...

С отуманенной головой, не отдавая и не желая отдавать себе полного отчета во всем происходящем, я выбрался из этого ада и вышел опять на улицу слободки.

Начинало темнеть, надвигалась туча. На слободку сыпался снежок, еще редкий, но уже закрывавший неясной пеленой далекие горы другого берега. Невдалеке на небольшой возвышенности виднелись каменные здания резиденции, белые и чистенькие. В них уже спокойно светились большие окна. Огоньки фонарей вспыхивали один за другим вдоль улицы, чистенькие, холодные и веселые.

За мной, в только что оставленной избе, стоял неясный шум, топот и крики. И мне казалось, что из этого содома доносится еще полудетский испуганный крик:

— Мама... ма-ама... VII

Снег шел неустанно и ровно всю ночь, и наутро мы выехали по пушистой, еще не укатанной дороге, на которой лежало лишь несколько глубоких свежих отпечатков полозьев и конских копыт...

У околицы, оглянувшись назад, я увидел только белые крыши резиденции, резко выступавшие на фоне густого и холодного сибирского морока, состоявшего из синего тумана и едва угадываемых очертаний горных громад.

Потом и крыши исчезли...

Начинался опять долгий и утомительный путь с бесконечными днями и неудобными ночлегами. Но мне уже хотелось окунуться в его тяжелое, бесстрастное однообразие, чтобы покрыть слишком яркие впечатления вчерашнего дня...

Первый за резиденцией станок был хотя не в яме, но тоже представлял временное помещение, наполовину бревенчатую избу, наполовину землянку. Ямщик» встретили нас с угрюмою враждебностью, пока не разъяснилось, что мы совсем не приискатели, а люди, едущие издалека и далеко. Тогда отношение резко изменилось, и ямщики вступили с нами в откровенные, почти задушевные разговоры. Эти люди не имели уже ничего общего ни с резиденцией, ни с приисками и глубоко их ненавидели... Они жаловались на то, что их замучили постоянной ездой, «нарочными», гоньбой этапов, отправлявших то и дело с приисков провинившихся или заболевших рабочих... Вот вчера, с вечера; проскакал как сумасшедший шуминский писарь, а сегодня, опять как сумасшедший, за ним промчался на паре гонец от заседателя... Гонец-казак ругается и говорит, что ему приказано «по касающему делу» непременно догнать писаря и воротить его под конвоем (из тех же ямщиков). Но писарь вчера тоже кричал, что едет по «касающему делу». Он требовал именем

исправника лучших лошадей, грозя, что из-за него все они «изноют в тюрьме, как ничтожная тля»... А они уже выбились из сил и не знают, кто и по какому праву может с них «требовать» и кто не может...

— Эх, золото, золото! — сказал один из них, с горечью качая головой. — Кому золото, а нам слезы кипучие...

Через два дня трудного пути мы уже забыли о резиденции. Ее «господская въезжая», ковры, цветы и зеркала, ее фонари, большие освещенные окна и музыка, будуар-канцелярия заседателя, управляющего «целым государством», — все это утонуло, затянутое однообразием новых впечатлений, как тонет дальний островок в туманном океане...

Опять только каменные горы, леса и река, по которой все так же лениво продвигаются белые пятна замедлившегося от снежных оттепелей ледохода...

Путь становился еще труднее. В одном месте река делает частые и крутые повороты в скалистых берегах. Кое-где эти скалы вступают прямо в воду. Жители называют их щеками. Летом под утесами есть все-таки узкая каменистая дорожка берегом. Весной и осенью приходится то подниматься на крутые вершины, то спускаться вниз.

Невидимое солнце начинало склоняться за туманными облаками, когда мы поднялись на первую гору. От лошадей валил пар. Люди холодными рукавами отирали крупные капли пота на покрасневшихся лицах. Пока они отдыхали, я отошел в сторону и, остановившись на краю утеса, залюбовался суровым видом.

Река здесь делала излучину. Она лежала так глубоко, что белые пятна ледохода, казалось, стоят без движения на свинцово-синей полосе стрежня. Шел редкий снег. Все казалось задумчивым, угрюмым и необычайно пустынным...

— Гляди-ка, гляди, ребята! — вскрикнул вдруг молодой ямщик, подошедший к обрыву вслед за мною. — Ведь это бурмакинский караван!

Ямщики оставили уставших лошадей и кинулись к нам, с любопытством глядя вниз на далекую реку.

Сначала я не видел никакого каравана... Река, утесы, тихое, незаметное движение ледохода, сетка снега, великое безмолвие пустыни... Но ямщики читали в этом угрюмом пейзаже как в открытой книге.

Благодаря их отрывистым пояснениям я тоже начал понемногу разбираться.

Большой мыс, белый от снега, вдавался с той стороны в темную полосу реки. На этом мысу чернели какие-то пятнышки, которые я сначала принял за разбросанные по берегу камни. Но теперь было заметно, что они шевелятся... На середине реки тоже осторожно пробирались между льдинами какие-то темные щепки. Это были два плота или парома. Зоркие глаза ямщиков различали людей и оленей.

Это Бурмакин, пользуясь последними днями перед полным ледоходом, переправлял свою экспедицию. Голова каравана была уже на той стороне и тянулась к горам, точно вереница черных мурашек по белой скатерти...

— Хитрый, варнак! — ухмыльнулся один из ямщиков. — Переправится теперь, а, глядишь, завтра-послезавтра лед пойдет ходом...

— Да еще станут заторы... Тут в трубе этой чего только будет... Гром пойдет.

— На неделю, а то и больше река-матушка ходу не даст...

— Лови его тогда... Хоть сам исправник...

Мы долго следили за опасной переправой. Она казалась отсюда, издали и сквозь сетку снега, какой-то далекой сказкой... Потом снег повалил гуще. Сквозь белую пелену помаячила еще река с белыми пятнами, мысок на том берегу... Каравана уже нельзя было разглядеть... Мы тронулись дальше...

На другую гору подниматься пришлось уже в сумерки... Это была почти отвесная скала, по уступам которой, как будто смелыми прыжками, взбиралась к вершине густая тайга. Мы шли кверху, опираясь на шесты, то и дело скользя и падая, а за нами отчаянно бились колокольцы поднимавшихся троек... Порой все стихало, и снизу доносилось только судорожное дыхание лошадей, отдыхавших на круче, пока ямщики сзади держали сани воткнутыми в снег шестами... Вершины деревьев, стоявших внизу, теперь виднелись далеко под нами. Откуда-то сбоку, от темной реки, слышался глухой далекий шум, всплески и сухой треск льдин, разбивавшихся о каменные бока утеса... Лошади опять отчаянно трогали вперед, срывались, храпели, в смертельном ужасе бились на месте... Ямщики на остановках крестились все вместе и произносили какие-то молитвы. Слова мне были незнакомы. По-видимому, своим происхождением они были обязаны ужасу этого места и этих опасных подъемов.

На вершине сделали продолжительную остановку. Было тихо. Звякали колокольцы, отфыркивались, мотая головами, смертельно усталые лошади. По верхушкам тайги шел тихий говор.

Ямщики вспоминали случаи, когда тройки срывались на крутых спусках и, несмотря на тормоза, безудержно мчались вниз, порой увлекая за собой и людей. Много ямщиков сложили здесь свои головы. Один раз лошади все убились, погиб и ямщик, а сани повисли на верхушке дерева. И никто не мог объяснить, как они туда попали...

А бывало и так: вдруг послышатся колокольцы, так что гром идет по ущельям.

Катят с горы тройки, как по ровному месту, гогот... звон... свист... Ямщики со станка выбегут навстречу, чают так, что губернатор... И нет никого... Звон, да крики, да свист пролетят с ветром мимо, только снег пылит... А никого, что есть — ни лошадей, ни человека не видно...

— Охо-хо-о... Владычице небесная, Никола милостивой... — закончил рассказчик. — Есть ли, господа расейские, еще где такая сторона на белом свете... Ну, ин, видно, трогать... Спуск, помни, еще труднее, а ночь-те темная.

И опять судорожно забились под дугами колокольчики, лошади всхрапывали, осаживаемые удилами... Среди темноты чувствовалось напряжение и опасность...

У конца трудного спуска произошла неожиданная остановка. По сторонам дорожки замелькали какие-то фигуры с винтовками за плечами, по-видимому, казаки. Ямщики едва удержали переднюю тройку. Задние лошади чуть не попали ногами в передние сани... храпели, бились, часто и тревожно звенели колокольцы и бубенчики...

— Стой!.. Стой!.. — кричали казаки.

Но передняя тройка уже рванулась вперед, за ней задняя. Ямщики ругались... Опасная работа спуска не позволяла неуказанной остановки, и казаки сами поняли это. Они дали ямщикам проехать и даже не задержали нас, только заглянув в лица...

Внизу, когда дорога выровнялась, один из ямщиков тихо сказал другому:

— Гляди, не пофартит Бурмакину.

— Да, будет склёка, — ответил тот, набивая трубку. — Исправник тоже парень фартовый... коса на камень.

— Нам-то што, — философски перебил третий. — Наше вот дело — знай трогай... Слава-те господи, живы остались... Садитесь, господа! Теперь ровно!

На станке, до которого нам пришлось проехать еще около пяти верст, мы увидели в разных местах оседланных лошадей, привязанных к коновязям. В широких сенях станции, с лавками по стенам и камином, сидело несколько сибирских казаков. Вид у них был мало воинственный; одеты они были в разнообразные меховые костюмы, с оленьими малахаями на головах, и в унты — местную якутскую обувь, за которую этих казаков зовут насмешливо «унтовым войском». Шашки были не у всех, только за плечами висели винтовки, а у пояса в ножнах небольшие ножи... Лица были большею частью молодые и очень добродушные.

В станционной комнате за столом сидел исправник, тот самый, о котором с таким презрением говорил Степан Осипович. Это был человек коренастый, приземистый, с очень густою растительностью на голове, но лишь с небольшими усами и бородкой. Вся фигура его напоминала среднего роста медведя, а манера держать голову на короткой шее и взгляд маленьких, но очень живых глаз еще усиливали это сходство. На нем была старая форменная тужурка, подбитая мехом, а на ногах большие теплые валенки.

Вообще в наружности предводителя было так же мало военного щегольства и удали, как и в унтовом войске. Зато в каждом его движении чувствовалось, что это человек, выросший среди этой суровой природы и ее людей...

Он велел позвать к себе наших ямщиков и быстро, глухим голосом, задал им несколько вопросов. Ямщики отвечали коротко и неохотно, но исправник и не требовал большего. Он понимал их положение среди воюющих сторон... Обменявшись с ними несколькими короткими фразами, он вдруг поднялся и отдал казачьему уряднику приказ садиться на лошадей, и стал одеваться. В теплой шубе и дохе, которую казак повязал поясом и шарфом, он стал еще более похож на медведя и, переваливаясь в тяжелых валенках, вышел на крыльцо, у которого его уже ждали сани... Через четверть часа весь отряд в беспорядке выехал из станка и потянулся по дороге, которая, змеясь под светом выглянувшей луны, ползла к темневшим за равниною скалам.

На станке о предстоящих событиях говорили мало. Все понимали, что где-то там, в глубине этой ночи, должны столкнуться разные силы и, значит, готовятся происшествия, от которых кому-нибудь может «пофартить», а кому-нибудь прийтись очень плохо. Но до станка это не касалось... Это был гром где-то в далеких тучах, перебрасывающихся зарницами в недосыгаемой высоте. Станок притаился внизу и ждал последствий.

Только станционный писарь, человек доступный высшим взглядам, сообщил нам, что генерал-губернатор действительно сменился, что с тем вместе менялись все местные отношения, и теперь Степану Осиповичу несдобровать.

— А господин какой... образованный, — прибавил он с почтением. — Ну, только неуживчив. Сам о себе слишком высоко понимал. Вот и нарвался... Умен, умен, а не все, видно, понимает.

Он прибавил, что, по его мнению, шушминский писаришка Замятин — большой дурак. Кто бы кого ни победил в этой войне, — ему все равно придется плохо.

— Известно: доказчику первый кнут.

Это было единственное определенное мнение, какое мне пришлось услышать на станке по поводу знаменательных событий, готовившихся «во владениях» гостеприимного Степана

Осиповича Кострова...

Уже в Иркутске я узнал, что Бурмакин был настигнут в тайге, потерпел полное поражение и большая часть его отряда арестована. Решительная ставка смелого авантюриста была бита. Степану Осиповичу предстояла отставка. Вместо него уже намечен человек, представленный исправником.

Кто при этих новых порядках занял впоследствии «должность» Бурмакина, — мне неизвестно, так как я все дальше уезжал из этих мест по направлению к России...

1904

Адъютант его превосходительства

Комментарий к недавнему событию

Кому не известно, что Сибирь — страна совершенно особенная. В ней зауряд, ежедневно и ежечасно совершаются самые удивительные вещи, и так как они совершаются именно ежедневно и ежечасно, то теряют даже свою «удивительность». Кого может удивлять то, что вошло в обычный обиход и попадает на глаза на каждом шагу. Таким образом, самые понятия о нормальном и выходящем из ряду вон — об удивительном и никого не удивляющем — получают совершенно своеобразный условный смысл: если чиновник гласно берет взятки, налагает дани на целые волости и округа, изобретает самолично источники обложения «в свою собственную пользу» — это обычно и не удивительно; но если его за это деликатнейшим образом уволят в отставку — это всех поражает изумлением. Если приближенная к какому-нибудь громовержцу особа выпалит без всякой видимой причины в мелкую сошку из револьвера — это тоже «оченно даже просто». Но если за это приближенную особу отдали бы под суд, то... впрочем, этого последнего обстоятельства, кажется, никогда не бывает...

Печально, скажете вы, — но сильно преувеличенно... Да, печально, отвечу я, но чтобы было преувеличенно... едва ли. Судите сами.

В № «Русских ведомостей» от 14 января я прочитал краткое, но выразительное известие, сообщавшее, что на одной из почтовых станций в Сибири адъютант приамурского генерал-губернатора А-ин выстрелом из револьвера убил наповал почтового смотрителя, оставившего после себя жену и детей...

Я имел причины (о которых ниже) обратить на это коротенькое известие особенное внимание и потому тщательно просматривал газеты, ища дальнейших комментариев этого события. Я имел основание догадываться, что полная фамилия, обозначенная буквами А-ин, — есть фамилия Алабина, что и оказалось действительно; я имел основание догадываться, что выстрел последовал без всякой видимой причины, без всякого вызова со стороны несчастной жертвы, — и это тоже оказалось в действительности; наконец, если бы даже в газетах не было сказано, что выстрел попал так метко, я все-таки имел бы основание предсказать это, так как мне известно, что г. Алабин давно уже упражняется в этом искусстве, причем даже палит из одного и того же оружия и в ту же самую цель...

Я расскажу ниже, почему я мог знать все это, а пока позволю себе восстановить событие в том виде, как оно выяснилось впоследствии из дальнейших газетных сообщений:

Господин Алабин ворвался на станцию «с шумом и боем», а смотритель позволил себе выйти к нему и попросить не шуметь. Положим, у смотрителя была к этому побудительная причина — в доме была больная, — но все же это ужасная дерзость, и покойный смотритель, видимо,

не имел достаточного понятия «о начальстве» и пределах его власти на глухой станции. Г-н Алабин вскипел, смотритель стал «разговаривать», престиж власти требовал энергичного поступка. И г-н Алабин остался на высоте этого требования. Грянул выстрел...

Вот и все.

Теперь то, что мне известно лично.

В 1881 году мне пришлось проехать по Лене. Дело было вскоре после всем памятного события 1 марта. По приленскому тракту недавно еще проскакал до Якутска и обратно курьер, который вез официальное извещение о кончине государя якутскому губернатору из Иркутска. Курьер этот был адъютантом (по-другим — чиновником особых поручений) при иркутском генерал-губернаторе. Фамилия его — Алабин.

Известие, которое вез курьер, конечно, очень живо интересовало всю Россию, Европу — весь читающий и даже нечитающий мир. Но, проезжая вскоре после этого по Ленскому тракту, я видел не без изумления, что в глазах обитателей этого несчастного забитого края, — личность и экстравагантные «поступки» курьера заслоняли значение и силу поразившего всю Россию события, известие о котором он вез с собою.

При каждой остановке, на каждой станции только и было речи, что о курьере. Рассказы о нем передавались из конца в конец с негодованием и ужасом, больше — с ужасом, как перед страшным бичом вроде египетской казни. Да и действительно — одна из египетских казней разразилась тогда на Лене — загнанные кони падали десятками, но это еще цветочки... Г-н Алабин был страшнее людям: бледный, возбужденный, с сверкающими глазами, ураганом врывался он на каждую станцию. Ему предшествовали — крик избиваемых ямщиков, испуганные вопли бегущих, всплески пощечин и яростный вопль самого грозного начальника. Все — озадачены, ошеломлены, в панике, а между тем нужно держать ухо востро: малейшая оплошность — и ярость грозного курьера переходит всякие пределы...

Трудно сказать, что это было такое. Казалось, высшее начальство края под влиянием рокового события растерялось и, вместо того чтобы послать человека, который тактом и сдержанностью ободрил бы ошеломленное население, внушив идею о спокойной власти и продолжающемся порядке, спустило с цепи какого-то маниака, который мчался, точно по завоеванному или мятежному краю, вселяя ужас, негодование... По городам он летел стрелой, в туче снежной пыли, вращая зрачками и размахивая красным флагом. В деревнях, по станкам ревел, неистовствовал и бил, бил, бил...

Бил кого попало и за что попало. В одном месте он гонялся за смотрителем с толстой книгой вокруг стола. На шум вбегает старуха — жена преследуемого, и книга летит с размаху в нее... женщина падает...

В другом — лошади поданы ранее, чем смотритель прописал бумаги, и, хотя законный срок не прошел, Алабин хватает бумаги со стола. На замечание смотрителя, что он не может отпустить лошадей без прописки, неистовый курьер выхватывает револьвер и целит в смотрителя. Если бы не счастливый случай, нынешняя жертва Алабина была бы жива, а погиб бы другой... На третьей станции он бьет беременную женщину; на четвертой — оборачивает револьвер и колотит писаря ручкой по голове.

И т. д., и т. д., и т. д.

Вообще в таких случаях в Сибири жалуются редко. Когда я расспрашивал, поданы ли жалобы начальству, во многих местах я слышал ответ: «Где нам! Такое лицо... Тут ведь сам-то заступится... Из России его с собой привез...» и т. д.

Многие из обиженных, слыша, что Алабин привезен из России самим, полагали не без

основания, что привезли его вовсе не затем, чтобы отдавать под суд... А затем ли, чтобы он «походя народ стрелял»? Пожалуй...

Тем не менее хотя, быть может, и половина деяний воинственного курьера не была официально заявлена, — все же жалоб оказалось столь необычное количество, они были так общи, так вопиющи, что возникло дело... Вмешалось почтовое начальство, началось расследование, обнаружившее еще одну интересную черту...

Находясь в состоянии какого-то экстаза ярости, пылая грозю, вообще — представляя нечто, очень близкое к состоянию ярого безумия и невменяемости, — г. Алабин вместе с тем проявил и удивительное благоразумие: по закону, курьер не имеет права ехать в своей повозке, а должен для легкости удовлетворяться небольшим перекладным экипажем. Между тем по общим рассказам, подтвержденным и при дознании, оказалось, что г. Алабин ехал в тяжелом собственном возке, в коем, наверное, не даром, вез некоего гражданина, пожелавшего проехать дешево и скоро. Черта благоразумия, говорят, сказывалась также и в том, что особенные взрывы ярости вспыхивали в тех местах, где можно было ожидать замечаний по этому предмету. Любопытно также, что платил г. Алабин не за то число лошадей, которое запрягалось действительно, и что в иных местах его начальническое негодование заставляло порой и вовсе забывать о прогонах...

Каковы же последствия как этих подвигов, так и жалоб на них?

Года через два мне опять пришлось проезжать теми же местами. Речи об Алабине все еще не стихли. «Вот в восемьдесят первом году курьер ехал»... все еще вспоминали по временам станочники, и опять начинались рассказы. Только главных пассивных участников курьерских батальонных по большей части не было уже на местах. Еще те, кто получил затрещину, пощечину, толчок, могли быть терпимы и остались при прежних должностях, но те, кто имел дерзость навлечь на себя более серьезные удары или против кого пущено было в ход огнестрельное оружие, как говорят, все удалены; смотритель, в которого стрелял Алабин, удален по 3-му пункту!..

А сам Алабин?..

Что же ответить на этот вопрос? Тогда в населении носились слухи, что и он удален с должности, но, очевидно, чтобы быть удаленным с должности «приближенного человека», мало было стрелять в смотрителей... надо было убить хоть одного. Теперь, быть может, г. Алабин действительно потеряет приятную возможность упражнять свое искусство на смотрителях почтовых станций, тем более, что...

Интересно, что же сделано с дознаниями о поступках г. Алабина на Лене и каким образом он всплыл столь внезапно на кровавом горизонте всероссийской известности — все в том же звании — «адъютанта его превосходительства».

Интересно также, знал ли г. Алабин, когда взводил свой курок перед роковым выстрелом, что г. Анучин отставлен от должности генерал-губернатора, и если бы знал, то не дрогнула ли бы при этом его молодецкая рука?

Не спорим, быть может, г. Алабин и действительно субъект невменяемый. Но тогда еще один интересный вопрос: на кого же должна пасть кровь, пролитая хотя бы маниаком, которому облегчали (да, именно!) возможность палить из пистолета до тех пор, пока выстрел не попал в человеческое сердце?..

Станочники

От Титаринской станции нам пришлось ехать на лодке.

Ямщик, которому довелось в очередь везти нас, оказался бедняком, у которого было только две лошади, а нас было трое. Он предложил нам ехать в лодке на гребях. Мы согласились, не подумав о том, что значит идти на гребях верст тридцать вверх по Лене.

Только мы успели оттолкнуться от берега, на одну из лодок, стоявших рядом на отмели, вбежала девушка и передала старику узелок.

— Что это?

— Так, ничего, посылка! — слукавил старик; оказалось, что это был чайник и хлеб.

Нам предстояло варить чай на острове. Выезжали мы со станка утром, а на другой могли попасть не ранее как к ночи. Гребцы — старик и молодой парень, привычными руками налегали на весла. Волны бурлили по бокам лодки, брызги и пена уносились назад, но лодка подавалась вперед тяжело. Переехав через так называемую курью (залив, где удобно ловить рыбу), мы пристали к песчаной отмели, и гребцы, выйдя на берег, потянули лодку на бечевой, лямками. Потом, обогнув отмель, они опять сели и направили лодку к острову. «На этом острове будем пить чай», — заявил нам старик. Только тогда мы поняли свое положение.

До острова, казалось, рукой подать, но плыть пришлось около часу. Между тем вверху на реке появился какой-то белесоватый столб, постепенно расширявшийся. Одну за другой охватывал он береговые скалы. Вот около нас закружились легкие, мелкие снежинки, заволакивая божий мир непроницаемой, холодной, белесоватой пеленой. Снежинки эти, кружась, падали на потемневшую реку и тотчас таяли в ней, но на смену валились новые и новые. Вот еще маячат причудливые очертания высоких камней, темнеет кое-где тайга на крутых склонах, но все это постепенно тонет в снеговом облаке, все более и более окутывающем землю. Вот еще выделились каким-то призраком очертания плывущей вниз, откуда-нибудь с приисковой Мачи, большой якутской лодки с парусом. Выделились на минуту и потонули в снежном хаосе.

Ничего, кроме воды под нашей лодкой и снега, — вверху, впереди, кругом. Гребцы вытирают по временам свои лица, по которым стекают струйки горячего пота и талого снега. Но вот и остров.

Через минуту на берегу затрещал костер, на согнутых талинах повисли наши чайники. Гребцы сели к огню.

— Эх, сторона наша, — говорит старик, — гиблое место. Отдал нас царь под якутов на веки вечные. Горе наше великое.

— Как так? Кто же вас под якутов отдавал? Вы люди вольные!

— Нет, отданы мы под них. Да как же, ты посмотри: чьи луга, чьи хлеба, речки чьи самолучшие — все ихние. А мы на камнях сидим, пестрые столбы караулим. С какой радости? Нет, брат: царь сам своих людей им отдал, потому что осердился...

— За что?

— Да ты эту историю-то не слыхал, видно. Погоди, я расскажу тебе.

— Раньше вся эта сторона якутская была. Дыкан был у них царь. Росту ба-альшого, между плечей печатная сажень, а с лица нашему царю как есть родной брат. Жил этот Дыкан — где ныне якутской город. Вот раз пришли к нему трое русских и стали жить в работниках. Живут, а

сами все смотрят и на бересте пишут: планты, значит. Вот раз ушли они в тайгу и две недели не приходили. Потом вернулись. Дыкан спрашивает: где, мол, были? А они говорят: пошли в тайгу и заблудились. Жена говорит Дыкану: что это русские все пишут? А он говорит: пушай. А русские-то, значит, к своим на низ ходили, планты снесли и велели башни строить. Потом вернулись. Малое время спустя просят у Дыкана: дай нам земли на одну воловью шкуру. Дыкан посмеялся: что, мол, они будут делать на эдаком месте? Ну и дал.

После того они опять скрылись и дня через три приплыли вместе со своими, порезали шкуру в тонкие ремешки и обвели кругом, где ныне город, да за ночь башни из срубов сложили.

Дыкан видит: обманули его. Давай воевать. А русские навешали на стены ситца всякие, сукна, красные товары. Якуты бросились хватать, а русские их из пушек — перебили страсть!.. А Дыкан долго не давался, однако и его взяли. Взяли его и повесили на виселице, на холмике — по сей день холмик тот есть. Висит он день — жив. Другой висит — жив. Третий висит — тоже жив. Что тут делать? Вот казак один приставил лестницу, влез туда к нему и ударил его... по лицу, сейчас он и умер. Сняли его и послали в Петербург к нашему царю. Посмотрел царь и говорит: как же вы смели убить его? Почему эдакого царя мне живьем не доставили? И осердился.

А между прочим, приехал в С.-Петербург Дыканов сын и явился к царю. Явился к царю да и говорит: как теперь ты, белый царь, нами владеешь, то пошли мне русских людей станки держать, потому моим якутам никак невозможно. Приедет начальник какой, говорит им что-нибудь по-русски, а они не понимают. Возьмут и разбегутся, а твои начальники сердятся. Царь и говорит: бери.

И стали тут, братец мой, русский народ в якутскую неволю гнать. Кого в зачет некрутчины, кого помещики ссылали за провинности, а которые сами от тесноты на новое место шли; начальники много дураков сманили: там, говорят, гор золотых много...

— Почему же ты говоришь про якутскую неволю?

— Как же не неволя, подумай: чьи пашни, чьи луга самолучшие, чьи выгоны? Вся под якутами земля. Из милости скот вместе с якутским ходит... Сено по двадцати рублей иную пору воз покупаем. Это ли не горе? А уйти — куда же уйдешь? Гоньбой только и кормимся, да и то платой ноне беда стеснили. Видят нужду — тут и плату сбавляют. Это ли не неволя? Э-эх!..

Старик закашлялся.

Омоллон

От Титаринской станции нам пришлось ехать на лодке.

Ямщик, которому довелось в очередь везти нас, оказался бедняком, у которого было только две лошади, а нас было трое. Он предложил нам ехать в лодке на гребях. Мы согласились, не подумав о том, что значит идти на гребях верст тридцать вверх по Лене.

Только мы успели оттолкнуться от берега, на одну из лодок, стоявших рядом на отмели, вбежала девушка и передала старику узелок.

— Что это?

— Так, ничего, посылка! — слукавил старик; оказалось, что это был чайник и хлеб.

Нам предстояло варить чай на острове. Выезжали мы со станка утром, а на другой могли попасть не ранее как к ночи. Гребцы — старик и молодой парень, привычными руками налегали на весла. Волны бурлили по бокам лодки, брызги и пена уносились назад, но лодка подавалась вперед тяжело. Переехав через так называемую курью (залив, где удобно ловить рыбу), мы пристали к песчаной отмели, и гребцы, выйдя на берег, потянули лодку на бечевой, лямками. Потом, обогнув отмель, они опять сели и направили лодку к острову. «На этом острове будем пить чай», — заявил нам старик. Только тогда мы поняли свое положение.

До острова, казалось, рукой подать, но плыть пришлось около часу. Между тем вверху на реке появился какой-то белесоватый столб, постепенно расширявшийся. Одну за другой охватывал он береговые скалы. Вот около нас закружились легкие, мелкие снежинки, завлакивая божий мир непроницаемой, холодной, белесоватой пеленой. Снежинки эти, кружась, падали на потемневшую реку и тотчас таяли в ней, но на смену валялись новые и новые. Вот еще маячат причудливые очертания высоких камней, темнеет кое-где тайга на крутых склонах, но все это постепенно тонет в снеговом облаке, все более и более окутывающем землю. Вот еще выделились каким-то призраком очертания плывущей вниз, откуда-нибудь с приисковой Мачи, большой якутской лодки с парусом. Выделились на минуту и потонули в снежном хаосе.

Ничего, кроме воды под нашей лодкой и снега, — вверху, впереди, кругом. Гребцы вытирают по временам свои лица, по которым стекают струйки горячего пота и талого снега. Но вот и остров.

Через минуту на берегу затрещал костер, на согнутых талинах повисли наши чайники. Гребцы сели к огню.

— Эх, сторона наша, — говорит старик, — гиблое место. Отдал нас царь под якутов на веки вечные. Горе наше великое.

— Как так? Кто же вас под якутов отдавал? Вы люди вольные!

— Нет, отданы мы под них. Да как же, ты посмотри: чьи луга, чьи хлеба, речки чьи самолучшие — все ихние. А мы на камнях сидим, пестрые столбы караулим. С какой радости? Нет, брат: царь сам своих людей им отдал, потому что осердился...

— За что?

— Да ты эту историю-то не слыхал, видно. Погоди, я расскажу тебе.

— Раньше вся эта сторона якутская была. Дыкан был у них царь. Росту ба-альшого, между плечей печатная сажень, а с лица нашему царю как есть родной брат. Жил этот Дыкан — где ныне якутской город. Вот раз пришли к нему трое русских и стали жить в работниках. Живут, а сами все смотрят и на бересте пишут: планты, значит. Вот раз ушли они в тайгу и две недели не приходили. Потом вернулись. Дыкан спрашивает: где, мол, были? А они говорят: пошли в тайгу и заблудились. Жена говорит Дыкану: что это русские все пишут? А он говорит: пушай. А русские-то, значит, к своим на низ ходили, планты снесли и велели башни строить. Потом вернулись. Малое время спустя просят у Дыкана: дай нам земли на одну воловью шкуру. Дыкан посмеялся: что, мол, они будут делать на эдаком месте? Ну и дал.

После того они опять скрылись и дня через три приплыли вместе со своими, порезали шкуру в тонкие ремешки и обвели кругом, где ныне город, да за ночь башни из срубов сложили.

Дыкан видит: обманули его. Давай воевать. А русские навешали на стены ситца всякие, сукна, красные товары. Якуты бросились хватать, а русские их из пушек — перебили страсть!.. А Дыкан долго не давался, однако и его взяли. Взяли его и повесили на виселице, на холмике — по сей день холмик тот есть. Висит он день — жив. Другой висит — жив. Третий

висит — тоже жив. Что тут делать? Вот казак один приставил лестницу, влез туда к нему и ударил его... по лицу, сейчас он и умер. Сняли его и послали в Петербург к нашему царю. Посмотрел царь и говорит: как же вы смели убить его? Почему этакого царя мне живьем не доставили? И осердился.

А между прочим, приехал в С.-Петербург Дыканов сын и явился к царю. Явился к царю да и говорит: как теперь ты, белый царь, нами владеешь, то пошли мне русских людей станки держать, потому моим якутам никак невозможно. Приедет начальник какой, говорит им что-нибудь по-русски, а они не понимают. Возьмут и разбегутся, а твои начальники сердятся. Царь и говорит: бери.

И стали тут, братец мой, русский народ в якутскую неволю гнать. Кого в зачет некрутчины, кого помещики ссылали за провинности, а которые сами от тесноты на новое место шли; начальники много дураков сманили: там, говорят, гор золотых много...

— Почему же ты говоришь про якутскую неволю?

— Как же не неволя, подумай: чьи пашни, чьи луга самолучшие, чьи выгоны? Вся под якутами земля. Из милости скот вместе с якутским ходит... Сено по двадцати рублей иную пору воз покупаем. Это ли не горе? А уйти — куда же уйдешь? Гоньбой только и кормимся, да и то платой ноне беда стеснили. Видят нужду — тут и плату сбавляют. Это ли не неволя? Э-эх!..

Старик закашлялся.

Обрывок

Этюд I

В небольшом кружке, собравшемся вечером за чайным столом, речь шла о предчувствиях. Между нами был молодой еще человек, нервный и впечатлительный, которого, по-видимому, очень интересовали высказываемые по этому вопросу мнения. Он молчал, внимательно прислушивался и быстро курил папиросу за папиросой.

— Бьюсь об заклад, — сказала хозяйка, — что NN мог бы нам порассказать кое-что сверхъестественное из собственной практики... Вы такой нервный, — добавила она, когда молодой человек вопросительно поглядел на нее...

Он отряхнул пепел со своей папироски и задумчиво ответил:

— Нет. Правда, со мной был довольно странный случай, но я сам объясняю его вовсе не предчувствием. Просто тонкая и почти бессознательная индукция...

— Ну, бог с ними, с объяснениями, — живо перебила хозяйка, — лучше расскажите самый случай.

— Пожалуй, — ответил молодой человек. — Хотя это и будет отклонение от прежней темы вашего разговора, но я думаю, что, и помимо «сверхъестественности» случай довольно интересен... II

— Так вот, — начал рассказчик, — это было в N-ской тюрьме. Меня привезли туда перед закатом солнца. Вошли мы сначала в небольшую комнатку, помещавшуюся в пристройке, примыкавшей к тюремной ограде, но ход был снаружи. Обыкновенно канцелярии при тюрьмах в Сибири устраиваются таким образом, чтобы можно было входить в них и выходить оттуда, не тревожа начальника караула. Дело было осенью. Ветреный, но ясный день сменялся таким же ясным холодным вечером. Уже давно, когда мы мчались по дороге,

залегавшей меж горами, я видел на небе слабо зарисованный серп молодого месяца. Из-за гор выбегали белые тучки, сначала по одной, потом целыми стаями, и быстро бежали по ясному небу, точно стаи испуганных птиц. На сердце у меня и без того было не особенно радостно, а тут еще эти молчаливые горы, дорога, широкими уступами скатывавшаяся в затуманенную долину, мороки в ущельях, унылый перезвон колокольчика и эти бесшумно летевшие по небу стаи облаков нагнали на меня какое-то особенно странное состояние духа. Как будто и тоска сжимала сердце, и жизнь среди этих бесцельных странствий надоела... Больше же всего надоело думать о том убежище, которое вот скоро уже ожидало меня там, в долине. Мы приближались к городу, а стало быть, мне предстояло ждать в тюрьме несколько дней, пока нарядят других провожатых.

Пыль или туман стояли над долиной, а быть может, и то и другое, только, вглядываясь в расстилавшееся подо мною пространство, я не мог разглядеть города. Что-то туманно-серое, грустное и неопределенное залегло на необозримое пространство у подножия гор, и наша повозка быстро катилась в это фантастическое море. Только глухой отдаленный звон доносился оттуда смутным гулом. Праздника не было ни в тот день, ни в следующий. Должно быть, кого-нибудь хоронили.

Я был не в духе. Мои провожатые, с которыми мы много и очень мирно беседовали дорогой, теперь притихли тоже, чувствуя, что мне не до разговоров, они понимали, по-видимому, что если есть в нашем взаимном положении что-либо не располагающее вообще к особенной дружбе, то теперь оно может сказаться резче, чем когда-либо.

«Господин, — заговорил наконец один из них с робким доброжелательством. — Вот скоро приедем в N-ск, уж вы, пожалуйста, там со зрителем поаккуратнее».

«А что?» — переспросил я неохотно и с безотчетной досадой.

«Да так... Характерный очень...»

«А, черт с ним, с его характером, — огрызнулся я. — Мне-то какое дело».

Провожатый смолк. Наша повозка ехала уже между какими-то повалившимися заборами, пустырями и покосившимися лачугами. Город оставался вправо, а мы держали путь прямо к тюремным воротам.

В небольшой камерке канцелярии засуетились. Какой-то субъект в штатском платье и еще два человека в арестантских халатах и с тузами составляли штат тюремной канцелярии. Не только в Сибири, но во многих местах и в России зрители тюрем употребляют арестантов на канцелярские работы. Обыкновенно это бывают какие-нибудь бывшие канцеляристы, посаженные «на сроки», которым, стало быть, незачем рисковать побегом. Порой это какой-нибудь «дворянин», «владеющий отлично пером» и прельстивший зрителя своими талантами.

Послали за зрителем. Писаря-арестанты как-то уныло и робко скрипели перьями, а штатский господин, с распухшей, очевидно, от водки физиогномией, тотчас же подошел к моим провожатым и завязал с ними беседу, стараясь выказать всю утонченность своих манер и своего слога. Я присел на скамейку у окна, облокотился на локоть и задумался.

То, что происходило теперь в канцелярии, как-то смутно проходило в моем сознании. В комнате становилось темновато, однообразно поскрипывали перья, тикали часы, жандармы переминались с ноги на ногу, позвякивая оружием, и по временам кто-нибудь из них зевал, прикрывая рот шапкой. Штатский господин свертывал себе из их табаку «гусара», а со двора слышалась охрипшая дробь барабана, давшего первую повестку к вечерней заре.

После второй повестки оба серых писца встали, аккуратно сложили бумаги и удалились,

причем один позвякивал цепями. Еще раньше я видел, что один из жандармов о чем-то спросил у штатского господина, но тот многозначительно мигнул в сторону арестантов и ничего не ответил. Теперь, когда они вышли, он только оглянулся на меня и начал что-то тихо рассказывать. Я мог бы заключить и тогда, что он рассказывает что-то интересное, и, пожалуй, в другое время даже наострил бы уши; но в ту минуту я и видел и слышал все точно сквозь сон; странное состояние апатии и тоски овладело здесь мною еще больше. Собственно говоря, я даже не должен бы вам рассказывать тех мелочей, которые я сейчас передал, так как в ту минуту они прошли для меня совершенно незамеченными, и только впоследствии дальнейшие события заставили меня оглянуться в памяти на эти минуты, и мне удалось с некоторым усилием восстановить в уме потускневшие воспоминания.

Один жандарм, высокий, черный и худощавый, стоял, опершись о стенку плечом, и с видом усталого равнодушия смотрел сверху вниз на небольшого человечка, который, озираясь и понижая голос до самого тихого шепота, что-то суетливо рассказывал. Другой жандарм, тот, который предупреждал меня в дороге, — высказывал более внимания; его лицо выражало любопытство. Все это довольно смутно рисуется теперь в моей памяти, однако и теперь еще я ясно помню одно мгновение, когда вся группа была проникнута особенной экспрессией. Рассказчик, очевидно, рассчитывая на эффект, как-то приподнялся на цыпочки, подался вперед, сказал какую-то фразу и опять откинулся, как будто любясь произведенным впечатлением. Действительно, оба слушателя отразили на себе одновременно одно чувство, которое мне трудно охарактеризовать одним словом. Более экспансивный из них, поменьше, — как-то тоже отдался назад, лицо его слегка вытянулось, губы чуть-чуть раскрылись. Высокий, более сдержанный, не проявил своего чувства ни одним движением, однако я очень ясно помню, что его фигура в эту минуту даже больше запечатлелась в моем уме: по его угрюмому лицу на мгновение пробежала какая-то тень.

Повторяю, в то время все эти впечатления проходили перед моими глазами, совершенно не касаясь сознания, и если теперь я могу передать их, то скорее благодаря свойству памяти сохранять даже бессознательные ощущения, как негатив сохраняет в течение известного времени дагерротипные образы. Не могу даже сказать, действительно ли я и тогда испытывал то неприятное ощущение при виде дальнейших жестов штатского господина, какое теперь неразрывно приурочивается для меня с этим воспоминанием. Сказав тихо еще несколько фраз, он подошел к окну, у которого стоял высокий жандарм, и, взяв рукой за решетку, провел затем той же рукой по воздуху каким-то странным жестом и затем присел у самой стены на корточки, склонив голову набок. Его фигура на корточках рисовалась на затененной стене каким-то очень неприятным пятном. Даже высокий жандарм слегка отодвинулся от окна. Быть может, впрочем, это движение объясняется просто желанием лучше видеть.

Примечания

1

Догор — друг, приятель. (Примеч. В.Г.Короленко.)

2

Якутская область в административном отношении разделяется на округа, соответствующие нашим уездам. Округ, в свою очередь, разделяется на улусы, а улусы подразделяются на наслеги. Если улус приравнять к русской волости, то наслег будет соответствовать отдельному обществу в среде волости. Деление это имеет характер отчасти родовой, отчасти административный. (Примеч. В.Г.Короленко.)

3

Учур — река, приток Алдана, впадающего в Лену. (Примеч. В.Г.Короленко.)

4

«Сделать крышку» — на арестантском жаргоне значит убить кого-либо в среде самой тюрьмы. При этом обыкновенно на голову жертвы накидывается халат с целью заглушить ее крики. Это и есть крышка. (Примеч. В.Г.Короленко.)

5

Презрительная кличка от слова «шпанка» (объяснение выше) (Примеч. В.Г.Короленко.)

6

Кобылой называют скамью особого вида, к которой привязывают наказываемого плетьюми (Примеч. В.Г.Короленко.)

7

Порт Дуэ, на западном берегу Сахалина. (Примеч. В.Г.Короленко.)

8

Вольную команду составляют каторжники, отбывшие положенный срок испытания. Они живут не в тюрьме, а на вольных квартирах, хотя все же и они лично, и их труд подвергаются

известному контролю и обусловлены известными правилами. (Примеч. В.Г.Короленко.)

9

Торговля водкой на приисках и вблизи приисков строго воспрещена, и потому в таежных приисках Ленской системы развился особый промысел — спиртоносов, доставляющих на прииски спирт в обмен на золото. Промысел чрезвычайно опасный, так как в наказание за это полагаются каторжные работы и, кроме того, дикая природа сама по себе представляет много трудностей. Множество спиртоносов гибнет в тайге от лишений и казачьих пуль, а нередко и под ножами своей же братии из других партий. Зато промысел этот выгоднее приисковой работы. (Примеч. В.Г.Короленко.)

10

От слова падь — долина (Примеч. В.Г.Короленко.)

11

«Милосердная» — арестантская песня с чрезвычайно унылым напевом. «Партионные» и бродяги запевают ее, проходя по улицам деревень и выпрашивая подаяния. (Примеч. В.Г.Короленко.)

12

Ат-Даван — станция на Лене, около трехсот верст выше Якутска. (Примеч. В.Г.Короленко.)

13

Пшеничка — золотой песок. «Торговать пшеничкой» — скупать тайным образом подъемное золото у приисковых рабочих.

14

Славнейший (лат.).